

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В О С Ь М А Я

А В Г У С Т

М О С К В А

4 . 9 . 2 . 7

При настоящей книге „Нового Мира“ всем подписчикам и читателям рассылается анкетный бланк, который по заполнению должен быть опущен (без наклейки почтовой марки) в любой почтовый ящик.

В случае неполучения анкеты просим затребовать такую непосредственно из редакции (Москва, Тверская, 20).

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Ал. ТОЛСТОЙ.—Хождение по мукам, <i>роман</i> , продолжение.	5
2. Осип КОЛЫЧЕВ.—Званка, <i>стихотворение</i>	18
3. Дм. ПЕТРОВСКИЙ.—Восстание поэмы, <i>стихотворение</i>	21
4. Федор ГЛАДКОВ.—Пьяное солнце, <i>повесть</i>	22
5. Вл. ВАСИЛЕНКО.—Ночь, <i>стихотворение</i>	59
6. Павел ДРУЖИНИН.—Песенка, <i>стихотворение</i>	60
7. Марк ТАРЛОВСКИЙ.—Путь, <i>стихотворение</i>	61
8. Вал. КАТАЕВ.—Гора, <i>рассказ</i>	62
9. Ник. БЕРЕНДГОФ.—В пути, <i>стихотворение</i>	68
10. Борис ПИЛЬНЯК.—Китайская повесть, окончание	69
11. Сергей АЛЫМОВ.—Здесь, в Китае, <i>стихотворение</i>	100
12. Вл. ЛИДИН.—Отступник, <i>роман</i> , окончание	101
13. Мих. ГОЛОДНЫЙ.—Приднепровье, <i>стихотворение</i>	136
14. Я. ШВЕДОВ.—Гребенка, <i>стихотворение</i>	137
—————	
15. Г. СЕРЕБРЯКОВА.—Женщины эпохи французской революции. I. Теруань-де-Мерикур	138
16. Проф. Г. Я. ГУРЕВИЧ.—Основы рационального питания	147

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

17. А. ВОРОНСКИЙ.—Заметки о художественном творчестве	160
18. А. ЛЕЖНЕВ.—О „Разгроме“ Фадеева	169
19. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.—Сорная трава бюрократизма	176
20. Вл. ВИЛЕНСКИЙ-СИБИРЯКОВ.—Америка на мировой арене	184
21. Бор. ГУБЕР.—Заговенье	190

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Ник. СМИРНОВ.—Вс. Иванов „Тайное тайных“; его же „Дыша- ние пустыни“	198
Н. С.—Вл. ЛИДИН „Пути и версты“	200
В. КРАСИЛЬНИКОВ.—Н. Ляшко „В разлом“	200
В. КРАСИЛЬНИКОВ.—Г. Венус „Самоубийство попугая“	201
Арк. ГЛАГОЛЕВ.—Михаил Карпов „Пятая любовь“	201
Вал. ДЫННИК.—Сергей Вашенцев „Поединок“	202
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—М. Светлов „Ночные встречи“	203
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.—Павел Антокольский „Третья книга“	204
В. ПЕРЕВЕРЗЕВ.—„Русский романтизм“	205
Г. ЛЕЛЕВИЧ.—С. В. Шувалов „Семь поэтов“	206
Феликс КОН.—В. Деготь „Под знаменем большевизма“	207

Хождение по мукам

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда добровольческая армия, взяв в опустевшей станице все, что оставалось с'естного, пристрелив пленных и запалив,—чтобы вперед помнили,—несколько самых видных построек, ушла дальше к югу,—Семена Красильникова подобрали на пашне казаки. Они вернулись с женами, детьми и скотом в станицу, едва только обозы „кадетов“ утонули за плоским горизонтом едва начинающей зеленеть степи.

Семен боялся умереть среди чужих людей. Деньги у него были с собой, и он упросил казака-кубанца отвезти его на телеге в Ростов. Оттуда он написал брату, что тяжело ранен в грудь и боится умереть среди чужих и еще написал, что хотел бы повидать Матрену. Письмо послал с земляком. Это было его первое ранение и первый крупный бой, в котором он участвовал. Его призвали в 15 году в Черноморский флот. Перед призывом он женился на красивой, доброй девушке, с нею он уже год, как спал. После обучения во флоте был зачислен в команду на „Георгия Победоносца“. Матрос он был не слишком бойкий, старательный, тихий. Скучал по деревенской работе, по жене.

В первые месяцы февральской революции в Черноморском флоте было сравнительно спокойно,—матросы шумели и волновались на митингах, но суда исправно выходили в море, хотя боевых заданий давать им побаивались. Командующим Черноморским флотом был тогда адмирал Колчак. Несмотря на ум, образованность и, как ему казалось, бескорыстную, искреннюю любовь к России,—Колчак ничего не понимал ни в том, что происходило, ни в том, что неизбежно должно было случиться. Он знал составы и вооружения всех флотов мира, мог безошибочно в бинокль угадать профиль любого военного судна, был лучшим знатоком минного дела, и одним из инициаторов поднятия боеспособности русского флота после Цусимы, но

¹) См. «Новый Мир», № 7 с. г.

если бы кто-нибудь (до 17 года) заговорил с ним о политике, он ответил бы, что политикой не интересуется, ничего в ней не понимает и думает, что политикой занимаются Алексей Сергеевич Суворин в „Новом Времени“, студенты, неопрятные (как женщины) курсистки и евреи. Россия, которую он горячо и преданно любил, представлялась ему дымящими в кильватерной колонне дредноутами (существующими и предполагаемыми) и андреевским флагом (белым с синим крестом), гордо,— на страх Германии,—веющим на флагмане, он любил строгий и чинный (в стиле великой империи) подъезд военного министерства со знакомым швейцаром (отечески каждый раз,— снимая пальто: „плохая погода-с изволит быть, Александр Васильевич“),—воспитанных, изящных товарищей по службе и замкнутый, дружный, как родная семья, дух офицерского собрания. Государь император был возглавлением этой системы, этих традиций.

Колчак, несомненно, любил и другую Россию, ту, которая выстраивалась на шканцах корабля,— в бескозырках с ленточками, широколицая, загорелая, крепкая. Она прекрасными голосами пела вечернюю молитву, когда на закате спускался флаг. Она „беззаветно“ умирала, когда ей приказывали умереть. Ею можно было гордиться.

В 17 году Колчак, не колеблясь, присягнул на верность Временному правительству и остался командовать Черноморским флотом. Это можно объяснить только его непримиримой, трудно понимаемой, ненавистью к немцам. С едкой горечью, как неизбежное, он перенес падение главы империи, стиснув зубы, принял матросские комитеты и революционный порядок, и все только для того, чтобы флот и Россия находились в состоянии войны с немцами. Если бы у него оставалась одна минная лодка, кажется, и тогда он продолжал бы воевать.

Он ходил в Севастополе на матросские митинги и, отвечая на задающие речи ораторов, приезжих и местных,— из рабочих,— говорил, что лично ему не нужны проливы,— Дарданеллы и Босфор,— так как у него нет ни земли, ни фабрик, и вывозить ему из России нечего, но он требует войны, войны, войны (до последнего живого солдата), не как наемник буржуазии (гадливая гримаса искажала его бритое англазированное лицо с сильным подбородком, женственно слабым ртом и глубоко запавшими глазами),— „я говорю это, как русский патриот“.

Матросы смеялись. Ужасно! Верные, готовые еще вчера в огонь и воду— за отечество и андреевский флаг,— они кричали своему адмиралу: „Долой патриотов!“ Он произносил эти слова: „русский патриот“, с силой, с открытым жестом, сам готовый беззаветно умереть в эту минуту, а матросы,— чорт их попутал,— слушали адмирала, будто он говорил на иностранном языке.

На этих митингах Семен Красильников слышал, что войну хотят продолжать не „русские патриоты“, а заводчики и крупные поме-

щики, загребающие на ней большие капиталы, а народу эта война не нужна, Семен думал: для его хозяйства нужно ему побить немцев? Действительно, как будто бы нужды особенной нет. Если бы они пришли в его село, взяли хлеб у него из амбарушки, порезали скотину, обидели бы Матрену,—ну, тогда бы он залютел на немцев. На митингах говорили, что немцы такие же мужики и рабочие, как и наши, и воюют по причине того, что обмануты своей кровавой буржуазией и меньшевиками. Семен дивился: буржую понятно зачем воевать,—толстое пузо, набитый бумажник,—природный кровососкабатчик. Но вот меньшевики, сукины гады,—маленькие, в очках,—этим зачем мужицкая кровь? И Семен, хотя и смиренный от природы, но, вместе с другими, лютел на митингах.

Однажды из Питера приехал видный агитатор, Василий Рублев, злой, как бешеный. И поставил вопрос: „Долго ли вам, братишки, ходить дураками, зубами лязгать на митингах? Керенский вас давно уже капиталистам продал. Дадут вам еще небольшое время погавкать, а потом контр-революционеры всем головы пооторвут, как перепелам. Покуда не опоздали, скидывайте скорее Колчака, берите флот в свои рабоче-крестьянские руки“...

На другой день с линейного корабля дано было радио: разоружить всех офицеров. Несколько человек застрелилось, другие отдали оружие. Колчак на флагмане „Георгий Победоносец“ велел свистать на верх всю команду. Матросы, посмеиваясь, вышли на шканцы. Адмирал Колчак стоял на мостике в полной парадной форме. „Матросы,—закричал он треснутым, высоким голосом,—случилась неправимая беда, враги народа, тайные агенты немцев, разоружили офицеров. Да какой же последний дурак может серьезно говорить об офицерском контр-революционном заговоре! Да и вообще, должен сказать,—никакой контр-революции нет, и в природе не существует“.

Тут адмирал забежал по мостику, гремя саблей, и стал отводить душу. Иные из матросов засопели, начали щетиниться.

— Все, что произошло, я рассматриваю прежде всего, как личное оскорбление мне, старшему из офицеров,—кричал адмирал,—и, конечно, командовать больше флотом не могу и не желаю, и сейчас же телеграфирую правительству—бросаю флот, ухожу. Довольно!..

Семен видел, как адмирал Колчак схватился за золотую саблю, сжал ее обеими руками, стал отстегивать, запутался, рванул,—даже губы у него посинели, глаза провалились.

—Каждый честный офицер должен поступить на моем месте так!..

Он поднял высоко саблю и бросил ее в море. Но и этот исторический жест, так же, как и слова о „русском патриотизме“, не произвел никакого впечатления на матросов.

С того времени пошли крутые события во флоте,—барометр упал на бурю. Матросы, „братва“, связанные тесною жизнью в море, здоровые физически, смелые и ловкие по профессии, выдавшие океаны и чужие земли, более развитые, чем простые солдаты, и более чув-

ствующие неизмеримую черту между офицерской кают-компанией и матросским кубриком,— были очень значительной и легко воспламеняемой силой. Ею, в первую голову, воспользовалась революция. „Братва“ со всею неизжитой страстью пошла в самое пекло борьбы, и сама разжигала силы противника, который, еще колеблясь, еще не решаясь, выжидал, подтягивался, накапливался.

Семену некогда было теперь думать о доме, о жене. В октябре кончились прекрасные слова, заговорила винтовка. Враг был на каждом шагу. В каждом взгляде, испуганном, ненавидящем, скрытном, таилась смерть. Россия от Балтийского моря до Тихого океана, от Белого до Черного морей волновалась мутно и зловеще. Семен перекинул через плечо винтовку, взял окопную лопату, сумку с патронами и пошел биться с „гидрой контр-революции“.

Рощин и Катя с узелком и чайником протискались через вшивую одичавшую толпу солдат на вокзале, вместе с человеческим потоком прошли через грозящую штыками заставу и побрели вверх по главной улице Ростова, Садовой, прямой и широкой, обсаженной двойными рядами деревьев.

Еще полтора месяца тому назад здесь теснился по магазинам цвет петербургского общества. Тротуары пестрели от гвардейских фуражек, щелкали шпоры, слышалась французская речь, изящные дамы прятали носики от сырой стужи в драгоценные меха. С неподавленным легкомыслием здесь собирались только перезимовать, чтобы к осенним дождям вернуться в уютный, полутемный Петроград, в свои квартиры и особняки с седыми швейцарами, колонными залами, коврами, пылающими каминами, вьюгой за окнами. Ах, Петроград! В конце концов, должно же все обойтись. Изящные дамы решительно ни в чем не были виноваты.

И вот, великий режиссер хлопнул в ладоши, все исчезло, как на вертящейся сцене. Декорация переменялась. Улицы Ростова — пустыни. Магазины заколочены, зеркальные стекла пробиты пулями. Дамы припрятали меха, подвязались платочками. Меньшая часть офицерства бежала с Корниловым, остальные с театральной быстротой превратились в безобидных мещан, в актеров, куплетистов, учителей танцев и прочее. И февральский ветер понес вороха мусора по тротуарам...

— Да, опоздали,— сказал Рощин. Он шел, опустив голову. Смертная тоска сжимала голову, было физически тошно. Ему казалось,— тело России разламывается на тысячи кусков. Единный свод, прикрывавший империю, разбит вдребезги. Народ становится стадом, история, великое прошлое, исчезает, как туманные завесы декорации. Обнажается голая, выжженная пустыня,— могилы, могилы... Конец России. Он чувствовал,— внутри его дробится и мучает анархией осколков что-то, что он сознавал в себе незыблемым, стержень его жизни... Спотыкаясь, он шел на шаг позади Кати. „Ростов пал, армия

Корнилова, этот последний бродячий клочок России, не сегодня-завтра будет уничтожена, и тогда — пулю в висок“.

Они шли наугад. Рошин помнил адреса кое-кого из товарищей по дивизии. Но, быть может, они убежали или расстреляны? Тогда — смерть на мостовой. Он поглядел на Катю. Она шла спокойно и скромно в стоптанных туфельках, в коротенькой драповой кофточке, в грязном оренбургском платке. Ее милое лицо, с большими серыми глазами, простодушно оборачивалось на содранные вывески, на выбитые витрины. Уголки ее губ чуть ли не улыбались. „Что она, — не понимает всего этого ужаса? Что это за всепрощение какое-то?“.. И жалость к ней была у Рошина и досада.

На углу стояла кучка безоружных солдат. Один, рябой, с заплывшим от кровоподтека глазом, держа серый хлеб под мышкой, не спеша отрывал кусок за куском, медленно жевал.

— Тут не разберешь — какая власть, чи советская, чи еще какая, — сказал ему другой, державший граммофонную трубу и поношенные валенки, связанные вместе. Тот, кто ел, ответил:

— Власть — товариш Войцеховский. Добейся до него, даст эшелон, уедем. А то век будем гнить в Ростове.

— Кто он такой? Какой чин?

— Кто его знает. Военный комиссар, что ли.

— Пойдем, ребята, к Войцеховскому. Что, в самом деле, растудыть твою...

Подойдя к солдатам, Рошин спросил, — как пройти по такому-то адресу. Один лениво, недоброжелательно ответил:

— Мы не здешние, не знаем.

Другой сказал:

— Не во-время ты, офицер, заехал на Дон.

Катя сейчас же дернула мужа за рукав, и они перешли на противоположный тротуар. Там, на сломанной скамейке под голым деревом, сидел старик в потертой шубе и соломенной шляпе. Положив щетинистый подбородок на крючок трости, он плакал. Из закрытых глаз его текли слезы по впалым щекам.

У Кати задрожало лицо. Тогда Рошин дернул ее за рукав:

— Идем, идем, всех не пережалеешь...

Они долго еще бродили по городу, покуда не нашли нужный им номер дома. Войдя в ворота, увидели короткого, толстоногого человека с голым, как яйцо, черепом. На нем была ватная солдатская безрукавка, до последней степени замазанная. Он нес котел, отворачивая лицо от вони. Это был однополчанин Рошина, армейский подполковник Тетькин. Он поставил котел на землю и поцеловался с Вадимом Петровичем, стукнув каблуками, пожал Кате руку:

— Вижу, вижу, и слов не говорите, устрою. Придется только в одной комнатке. Но зато гостиная, зеркало-трюмо и фикус. Жена моя, изволите видеть, ростовская. Сначала-то мы тут жили (он показал на кирпичный двухэтажный дом), а нынче, по-проле-

тарски, сюда перебрались (он показал на деревянный покосившийся флигелишко). Пожалуйте, всем, чем могу, рад служить... А я гуталин, как видите, варю. На бирже труда записался,—безработным... Если соседи не донесут, как-нибудь перетерпим. Люди мы русские, не при-выкать стать.

Открыв большой рот с превосходными зубами, он захохотал, оборвал, проговорил раздумчиво,— „да, вот какие дела творятся“,— и ладонью потер череп, вымазав его гуталином.

Супруга его, такая же низенькая и коренастая, певучим голосом приветствовала гостей, но по карим глазам было заметно, что не совсем довольна. Катю и Рощина устроили в низенькой комнатке с ободранными обоями. Здесь, действительно, стояло в углу, зеркалом к стене, плохонькое трюмо, фикус и железная кровать.

— Зеркальце мы для безопасности повернули, знаете—ценная вещь,—говорил Тетькин,—ну, придут с обыском, увидят свое отражение и сейчас же—стекло вдребезги. Лица своего не переносят.— Тетькин опять засмеялся, потер череп.— А, впрочем, я отчасти понимаю,— такая знаете идет ломка, а тут—зеркало,—конечно, разобьешь...

Супруга его чистенько накрыла на стол, но вилки—были ржавые, тарелки побитые, видимо—добро припрятали. Рощин и Катя с едким наслаждением ели вяленый рыбец, белый хлеб, яичницу с салом. Тетькин суетился, все подкладывал. Супруга его, сложив полные руки под грудью, жаловалась на жизнь:

— Такое кругом безобразие, притеснение, прямо—египетские казни. Я, знаете, второй месяц не выхожу со двора... Хоть бы уж короля нам какого-нибудь поставили. В столице насчет этого ничего не слышали?

— Ну, уж ты выпалишь—короля,—смущенно сказал Тетькин,— за такие слова тебя, знаешь, нынче не пожалеют, Софья Ивановна.

— И не буду молчать, расстреливайте,— у Софьи Ивановны глаза стали круглыми, крепко подхватила руки под грудью,—будет у нас король, и будет король немецкий... (Мужу, колыхнув грудью.) Один ты ничего не видишь...

Тетькин виновато сморщился. Когда супруга с досадой вышла, он заговорил шопотом:

— Не обращайтесь внимания, она душевный человек, превосходнейшая хозяйка, знаете, но от событий стала, как бы ненормальная. (Он поглядел на Катину, раскрасневшееся от чаю, лицо, на Рощина, удовлетворенно свертывающего папиросу)... Ах, Вадим Петрович, не просто это все... Нельзя—огулом—тяп да ляп... Приходится мне соприкасаться с людьми, много вижу... Бываю в Батайске,—на той стороне Дона,—там преимущественно—беднота, рабочие... Какие же они разбойники, Вадим Петрович,—нет, униженное, оскорбленное человечество... Как они ждали советскую власть!.. Вы только, ради бога, не подумайте, что я большевик какой-нибудь... (Он умоляюще приложил к груди коротенькие, волосатые руки, будто ужасно изви-

нясь). Высокомерные и не умные правители отдали Ростов советской власти... Посмотрели бы вы, что у нас делалось при атамане Каледине... По Садовой, знаете ли, блестящими вереницами разгуливали гвардейцы, распущенные, самоуверенные: „Мы эту сволочь загоним обратно в подвалы“... Вот что они говорили. А эта сволочь — весь русский народ-с... Он сопротивляется, в подвал итти не хочет. В декабре был я в Новочеркасске. Помните — там на главном проспекте, — что от собора до атаманского дворца, — стоит гауптвахта, чуть ли еще не атаман Платов соорудил при Александре благословенном, — небольшая постройка во вкусе ампира, портик с двумя колоннами, — направо, налево — караульные помещения. Закрываю глаза, Вадим Петрович, и как сейчас вижу ступени этого портика, залитые кровью... Проходил я тогда мимо, слышу страшный крик, такой, знаете, бывает крик, когда мучают человека... Среди белого дня, в центре столицы Дона... Подхожу. Около гауптвахты — толпа, спешенные казаки. Молчат, глядят, — у колонн происходит экзекуция, на страх населению. Из караулки выводят, по-двое, рабочих, арестованных за сочувствие к большевизму. Вы понимаете, — за сочувствие. Сейчас же руки им прикручивают к колоннам, и четверо крепеньких казачков, — с лампасами, в погонах, — бьют их нагайками по спине и по задус. Только — свист, рубахи, штаны летят клочками, мясо — в клочьях, и кровь, как из животных, льет на ступени... Трудно меня удивить, а тогда удивился, — кричали очень страшно... От одной физической боли так не кричат... Конечно, командует экзекуцией казачий офицер, впоследствии его расстрелял Голубов...

Рощин слушал, опустив глаза, пальцы его, державшие папироску, дрожали. Тетькин ковырял горчичное пятно на скатерти.

— Так вот, — уж атамана нет в живых, цвет казачьей знати закопан в овраге за городом, — кровь на ступенях возопила об отмщении... Власть бедноты... Персонально мне безразлично, — гуталин ли варить, или еще что другое... Вышел живым из мировой войны и ценю одно, — дыхание жизни, извините за сравнение: — в окопах много книг прочел и сравнения у меня литературные... Так вот... (Он оглянулся на дверь и понизил голос.) Примирюсь со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми... Не большевик, поймите, Вадим Петрович... (Опять руки — к груди.) Мне самому много не нужно: кусок хлеба, щепоть табаку да истинно душевное общение... (Он смущенно засмеялся.) Но в том-то и дело, что у нас рабочие ропщут, про обывателей и не говорю... О военном комиссаре, товарище Войцеховском, слышали? Мой совет, — увидите — мчится его автомобиль, прячьтесь. Выскочил он немедленно после взятия Ростова Сиверсом... Сам объявил себя высшей властью. Чуть что, — „меня, кричит, высоко ценит товарищ Ленин, я лично телеграфирую товарищу Ленину“... Окружил себя уголовным элементом, реквизиции, расстрелы. По ночам на улицах раздевают кого ни попало. Ведет себя, как бандит... Что же это такое? Куда идет реквизированное?.. И, знаете,

Ревком с ним поделаться ничего не может. В Ревкоме его боятся... Не верю я, чтобы он был идейным человеком... Пролетарской идее он больше вреда наделает, чем... (Но тут Тетькин, видя, что далеко зашел, отвернулся, сопнул и опять, уже без слов, стал прикладывать руки к груди.)

— Я вас не понимаю, господин подполковник, — проговорил Рощин холодно, — разные там Войцеховские и компания и есть советская власть девяносто шестой пробы... Их не оправдывать, — бороться с ними, не щадя живота...

— Во имя чего-с?

— Во имя Великой России, господин подполковник.

— А что это такое-с? Простите, я по-дурачки спрошу: Великая Россия—в чем, собственно, понимании? Я бы хотел точнее... В представлении петроградского высшего света? Это одно-с... Или в представлении 121 полка, который у нас с вами на глазах погиб на пулеметах во имя Великой России? Или с точки зрения московского торгового совещания, — помните—в Большом театре Рябушинский рыдал о Великой России? Это—уже дело третье. Или шахтового рабочего, воспринимающего Великую Россию по праздникам из грязной пивнушки?.. Или—ста миллионов мужиков, которые...

— Да, чорт вас возьми... (Катя быстро под столом сжала Рощину руку...) Простите, подполковник... До сих пор мне было известно, что Россией называлась территория в одну шестую часть земного шара, населенная народом, прожившим на ней великую историю... Может быть, по-большевистскому это и не так... Не знаю... (Он горько усмехнулся сквозь трудно подавленное раздражение...)

— Нет, именно—так-с... Горжусь... И лично я вполне удовлетворен, читая историю государства российского сочинения Сергея Соловьева. Но сто двадцать миллионов мужиков книг этих не читали. И не гордятся. Они желают иметь свою собственную историю, развернутую не в прошлые, а в будущие времена... Сытую историю... С этим ничего не поделаешь. К тому же у них вожди, — рабочий пролетарьят. Эти идут еще дальше, — дерзают творить, так сказать, мировую историю... С этим тоже ничего не поделаешь... Вы меня вините в большевизме, Вадим Петрович... Себя я виню в созерцательности, — тяжелый грех. Но извинение—в большой утомленности от окопной жизни. Со временем надеюсь стать более активным, и тогда, пожалуй, не возражу на ваше обвинение...

Словом, Тетькин ошетинился, покрасневший череп его покрылся каплями пота. Рощин торопливо, не попадая крючками в петли, застегивал шинель. Катя, вся сморщившись, глядела то на мужа, то на Тетькина. После тягостного молчания Рощин сказал:

— Сожалею, что потерял товарища. Покорно благодарю за гостеприимство...

Не подав руки, он пошел из комнаты. Тогда Катя, всегда молчаливая, — „овечка“, — почти крикнула, стиснув руки:

— Вадим, прошу тебя—подожди... (Он обернулся, подняв брови.) Вадим, ты сейчас не прав... (щеки у нее вспыхнули.) С таким настроением, с такими мыслями жить нельзя...

— Вот как,—угрожающе проговорил Рошин,—по-здра-вляю...

— Вадим, ты никогда не спрашивал меня, я не требовала, не вмешивалась в твои дела... Я тебе верила... Но пойми, Вадим, милый, то, что ты думаешь, — не верно. Я давно, давно хотела сказать... Нужно делать что-то совсем другое... Не то, зачем ты приехал сюда... Сначала нужно понять... И только тогда, если ты уверен... (опустив руки, от ужасного волнения она их все заламывала под столом...) Если ты так уверен, что можешь взять это на свою совесть,—тогда иди и убивай...

— Катя,—зло, как от удара, крикнул Рошин,—прошу тебя замолчать!..

— Нет!.. Я говорю так потому, что безумно тебя люблю... Ты не должен быть убийцей, не должен, не должен...

Тетькин, не смея кинуться ни к ней ни к нему, повторял шопотом:

— Друзья мои, друзья мои, давайте поговорим, договоримся...

Но договориться было уже нельзя. Все накипевшее в Рошине за последние месяцы взорвалось бешеной ненавистью. Он стоял в дверях, вытянув шею, показывая зубы. Катя глядела на него, и медленно стала поднимать руки к лицу, будто защищаясь от удара. Тетькин все шептал, неразборчиво.

— Ненавижу...—прошипел Рошин.—К чорту!.. с вашей любовью... Найдите себя жида... большевичка... К чорту!..

Он издал горлом тот же мучительный звук, как в вагоне, когда спал... Вот-вот, казалось, прыгнет, будет беда... (Тетькин двинулся даже, чтобы загородить Катю...) Но он медленно только, как рысь, зажмурился и вышел...

Катя продолжала сидеть, закрыв лицо руками.

Семен Красильников, сидя на лазаретной койке, хмуро слушал брата Алексея. Гостинцы, присланные Матреной,— сало, курятина, пироги,—лежали в ногах на койке. Семен на них не глядел. Был он худ, лицо нездоровое, небритое, волосы от долгого лежания стояли торчком, худы были ноги в желтых бязевых подштаниках. Он перекатывал из руки в руку красное яичко, сросшиеся брови его были сдвинуты. Брат Алексей, загорелый, здоровый, сидел на табуретке, расставив ноги в хороших сапогах, говорил приятно, ласково, а с каждым его словом сердце у Семена отчуждалось. А еще два года назад братья были, как одна душа.

— Крестьянская линия сама собой, браток, а рабочие — само собой,—говорил Алексей.—Вот у нас на руднике „Глубоком“ сунулись рабочие в шахту—она затоплена, машины не работают, инженеры все

разбежались. А жрать надо, так или нет? Рабочие все до одного ушли в Красную гвардию. Их интерес, значит, углублять революцию. Так, или нет? А наша, крестьянская революция—не глыбко,—всего шесть вершков чернозему. Наше углубление,—паши, сей, жни. Верно я говорю? Все пойдем воевать, а работать кто будет? Бабы? Им одним со скотиной дай бог справиться. А земля ведь любит уход, холю. Вот как, браток. Поедем домой, на своих харчах живее поправишься? Мне теперь—с землицей,—твоих пять десятин, да мои, да Матренины,—пятнадцать десятин под посев. Ну, пар мы без тебя кое-как вспахали. А боронить, сеять, а убирать,—разве мы одни с Матреной справимся? Кабанов у нас теперь восемнадцать штук, коровешку вторую присмотрел. На все нужны руки.

Алексей потащил из кармана шинели кисет с махоркой. Семен кивком головы отказался курить: „грудь еще больно“. Алексей, продолжая звать брата в деревню, перебрал гостинцы, взял пухлый пирог, потрогал его: „да ты с’ешь, тут масла одного Матрена фунтов десять загнала“.

— Вот что, Алексей Иванович,—сказал Семен,—не знаю, что вам и ответить. С’ездить домой—это даже с моим удовольствием, покуда рана не зажила. Но крестьянствовать сейчас не останусь, не надеюсь.

— Так. А спросить можно—почему?

— Не могу я, Алеша... (рот Семена свело, он пересилился...) Ну, пойми ты—не могу. Раны я своей не могу забыть... Не могу забыть, как они товарищей истязали... (он обернулся к окну с той же судорогой и глядел, не видя, залютевшими, потемневшими глазами...) Должен ты войти в мое положение... У меня одно на уме,—гадюк этих... (он прошептал что-то, затем—повышенно, стиснув в кулаке красное яичко...) Не успокоюсь... покуда по локоть руки в крови не намочу.

Алексей Иванович покачал головой. Поплевав, загасил окурочек между пальцами, оглянулся,—куда?—бросил под койку?

— Ну, что ж, Семен, дело твое, дело святое бороться с паразитами... Поедем домой поправляться. Удерживать силой не стану.

Едва Алексей Красильников вышел из лазарета,—повстречался земляк, Игнат Игнатов, фронтовик. Остановились, поздоровались. Спросили,—как живы? Игнат сказал, что работает шофером в Исполкоме.

— Идем в „Солейль“,—сказал Игнат,—оттуда ко мне ночевать.

— Это что ж такое?

— Кинематограф. Сегодня там будет бой. Про Войцеховского слышал? Ну, не знаю, как он сегодня вывернется. Ребята его такие шалуны,—город воем воет. Вчера днем, вон на том углу, двух мальчишек зарубили шашками, и ни за что,—гимназисты. Одному двенадцать, другому—четырнадцать. Сам видел: за молоком, за хлебом,

что ли, их послали. А эти, Войцеховского, четверо казаков, наскочили—пьяные, конечно, в доску: „Ага, вы еще живы, гадюки, паразиты!“... И один мальчишке шашкой как даст, тот упал, завертелся. Пони-маешь,—противно, я остановился у столба, стошнил...

Разговаривая, дошли до кинематографа „Солейль“. Красильников вошел вслед за Игнатом. Народу было много. Протолкались, стали около оркестра. На небольшой сцене перед столом, где сидел президиум (круглолицая женщина в солдатской шинели, рябой солдат с забинтованной грязною марлей головой, сухонький старичок-рабочий в очках и двое молодых в гимнастерках), ходил, мелко ступая, взад и вперед, как в клетке, очень бледный сутулый человек с копной черных волос. Говоря, однообразно помахивал слабым кулачком, другая рука его сжимала пачку газетных вырезок. Игнат шепнул Красильникову: „Учитель, меньшевик,—у нас в Совете“...

— ...мы не можем молчать... Мы не должны молчать... Разве у нас в городе советская власть, за которую вы боролись, товарищи?... у нас произвол... Деспотизм похуже царского... Врываются в дома к мирным обывателям... В сумерки нельзя выйти на улицу, раздевают... Грабят... На улицах убивают детей... Я говорил об этом в Исполнительном Комитете, говорил в Ревкоме... Они бессильны... Военный комиссар покрывает своей неограниченной властью все эти преступления... Товарищи... (Он судорожно ударил себя в грудь пачкой вырезок.) Зачем они убивают детей? Расстреливайте нас... Зачем вы расстреливаете детей?..

Последние слова его покрылись взволнованным гулом всего зала. Все переглядывались в страхе и возбуждении. Оратор сел к столу президиума, закрыл сморщенное лицо теми же вырезками. Председательствующий, рябой солдат, оглянулся на кулисы:

— Слово предоставляется начальнику Красной гвардии, товарищу Трифонову...

Весь зал зааплодировал. Хлопали, подняв руки. Несколько женских голосов из глубины закричало: „Просим, просим, товарищ Трифонов“. Чей-то бас рывкнул: „Даешь Трифонов!“ Тогда Алексей Красильников заметил, у самого оркестра, стоявшего, развалившись, спиной к залу, а теперь, как пружина, выпрямившегося, лицом к орущим,—рослого и стройного человека в щегольской кожаной куртке с офицерскими, крест-на-крест, ремнями снаряжения. Светло-стальные выпуклые глаза его насмешливо, холодно скользили по лицам,—и тотчас же руки опускались, головы втягивались в плечи, люди переставали аплодировать. Полная женщина в первом ряду воскликнула: „О, господи“. Кто-то, нагибаясь, быстро пошел к выходу.

Человек со стальными глазами презрительно усмехнулся. Коротким движением поправил на щегольской куртке кобур. У него было актерское, длинное, чисто выбритое лицо. Он опять повернулся к сцене, положил оба локтя на загородку оркестра. Игнат толкнул в бок Красильникова:

— Видел? Войцеховский. Вот, брат ты мой, взглянет, так страшно.

Из-за кулис, неловко ступая тяжелыми сапогами, вышел начальник Красной гвардии, Трифонов. Рукав байковой, заношенной его куртки был перевязан куском кумача. В руках он держал картуз, так же перевязанный по околышу красным. Весь он был коренастый, видимо, большой силы. Не спеша, подошел к краю сцены. Серая кожа на обритом черепе зашевелилась. Широкое лицо, смущенное от света рампы и приветствий, улыбалось. Он кивнул головой, улыбка исчезла, лицо стало твердым. Он поднял заскорузлую ладонь (настала тишина) и ладонью указал на стоявшего внизу Войцеховского:

— Вот, товарищи, здесь находится товарищ Войцеховский, военный комиссар. Очень хорошо. Пусть он нам ответит на вопрос. А не захочет отвечать—заставим...

— Ого,—угрожающе проговорил снизу Войцеховский.

— Да, заставим, потому что мы рабоче-крестьянская власть. И он обязан ей подчиняться. Время такое, товарищи, что во всем сразу трудно разобраться... Время мутное... А, как известно, дерьмо всегда наверху плавает... Отсюда мы заключаем, что к революции примазываются разные прохвосты...

— То-есть... Имя, имя назови,—крикнул Войцеховский с сильным польским акцентом...

— Дойдем и до имени, не спешите... Кровавыми усилиями рабочих и крестьян очистили мы, товарищи, город Ростов от белогвардейских гадов... Советская власть твердой ногой стоит на Дону. Почему же со всех сторон раздаются протесты? Рабочие протестуют, красногвардейцы недовольны... Бунтуют эшелоны,—зачем, мол, гноите нас на путях... Только что мы слышали здесь голос представителя мелкого мещанства (ладонью—на предыдущего оратора). В чем же дело? Как будто все недовольны советской властью. Говорят,—зачем вы грабите, зачем пьянствуете, зачем убиваете детей?. Предыдущий оратор даже сам предложил себя расстрелять... (Смех в двух-трех местах, несколько хлопков). Товарищи! Советская власть не грабит и не убивает детей. А вот разная сволочь, примазавшаяся к советской власти, грабит и убивает... И тем самым подрывает веру в советскую власть, и тем самым дает нашим врагам в руки беспощадное оружие... (Пауза, тишина, не слышно дыхания сотен людей.) Вот я и хочу задать товарищу Войцеховскому вопрос... Известно ли ему о вчерашнем убийстве двух подростков?

Ледяной голос снизу:

— Да, известно.

— Очень хорошо. А известно ему о ночных грабежах, о поголовном пьянстве в гостинице „Палас“? Известно ему, в чьи руки попадают реквизированные товары? Известно ему, какое впечатление производят подобные действия в городе, где прочно утвердилась советская власть? Молчите, товарищ Войцеховский? Вам нечего отвечать.

Так я отвечаю за вас. Никто вам власти в Ростове не давал, и ваш мандат подложный, и ваши ссылки на Москву, тем паче на товарища Ленина,—наглая ложь...

Войцеховский стоял теперь выпрямившись. По красивому, побледневшему лицу его пробежали судороги. Внезапно он кинулся вбок, где стоял, разинув рот, белобрысый парень-армеец,—схватил его за шинель и, указывая на Трифонова, крикнул страшным голосом:

— Застрели его, подлеца!

Парень сделал зверское лицо, потащил со спины винтовку. Трифонов стоял неподвижно, только нагнул голову бычьим движением. Выскочив из-за кулисы, около него появился рабочий, торопливо щелкая затвором, сейчас же—другой, третий, и вся сцена зачернела от курток, бекеш, шинелей, зазвенели, сталкиваясь штыки. Тогда председатель влез на стол и, поправляя лезущую на глаза марлю, закричал простуженным голосом:

— Товарищи, прошу не вносить паники, ничего непредвиденного не случилось. Там, назади, закройте двери. Товарищ Трифонов в полной безопасности. Слово предоставляю товарищу Войцеховскому.

Но Войцеховский исчез. Один белобородый армеец продолжал стоять у оркестра, изумленно разинув рот, с винтовкой на перевес.

(Продолжение следует)

З в а н к а

ОСИП КОЛЫЧЕВ

А. Н. Крылов

Званка. Станция Званка.
Блуждай, дожидайся рассвета.
Половина зимы —
По наивному календарю.
Стукни мелкой монетой
О скользкий прилавок буфета
И малиновым чаем
Полярную чествуй зарю.
Эта злая заря...
Эта фосфорисценция снега...
Мой запойный маршрут,
Я тебя сочинил целиком!
Выхожу на платформу.
Кокарды.
Фонарики.
С неба
Слету валится вальдшнеп,
О хвою цепляясь крылом.
Безыменной кликушею
В самое сердце защелкан,
Я не слышу призывов
Железнодорожной трубы.
Только —
Волчьим угодем волнуется пасмурный Волхов.
Только —
Ржавым нутром телеграфные ноют столбы.
Долго ль странствовать нам,
Постепенно стареющий Осип,
И на жестких матрацах
В дешевых гостиницах спать,
Долго ль странствовать нам
И молиться на русые косы,
И мальчишеским почерком
Глупые письма писать.
Посмотри на себя:
Выбивается чуб из-под шляпы,
По зеленым глазам
Пролетает огонь голубой.

В расщепленном сердце...
 Какой-то двустворчатый клапан
 Нехорошие шутки
 Минутами шутит с тобой.
 Званка. Станция Званка.
 Спросонья — мужицкая ругань.
 Ночь и —
 Третьего класса карболкой опрыснутый зал.

.....
 Здесь, на этой земле,
 Одержимой прозрачным недугом,
 Престарелый Державин
 Блистательный век доживал.
 Вот он весь предо мною:
 Поэт, подхалим и подагрик,
 От медлительных пят
 До всклокоченных жестких седин.
 Зло косматятся брови и —
 Императрицын подарок —
 Плотно шапка соболья
 На темени славном сидит.
 Он — читает Руссо.
 Он — в ерошки играет с лакеем.
 Он — брюзгою и мямлей
 Хворает в осеннюю склежь.
 — Боже, что за оказия!
 Даже под пряным шалфеем
 Ноет корень зубной...
 Хоть бы ты пощадила, мигрень!..

.....
 Званка. Станция Званка.
 Болезненны тени рассвета.
 Нежен дым папиросный,
 И дым паровозный кудлат.
 Разрастается гиканье, щелканье, хлопанье...
 Это —
 Волхов волчьим угодем волнуется с Ладогой
 в лад.

Это —
 В приступах стали,
 Бетона,
 Железа
 И цинка
 Тыщи жилистых рук
 Напрягаются кольцами змей.
 Здесь работают шведы.
 Сюда наезжает Дзержинский —
 Задышаться над хаосом
 Судорожных чертежей.

И в крестьянской избе,
Где вчера еще пела лучина,
Загораются звезды —
В 16 и больше — свечей.
Только я —
Не расстанусь
Под натиском ночи совиной
С керосиновой лампой —
Осенней подругой своей.

.....
— Шура, что со мной, где я?..
Метелица в поле чудесна.
Вабудораженный Волхов
В отлогие бьет берега.
Неужель это правда, что
Перпеваются песни,
Переводится молодость,
Перегорает пурга.

1926 г.

Восстание поэмы

ДМ. ПЕТРОВСКИЙ

Я—сотнями слышанных песен,
Я—руганью черных кварталов
Готовлю поэму к восстанью,
Себя для пролога повесив.

Сбегайтесь же, верфи и доки,
Сбегайтесь, квартиры и тюрьмы,
Кто жив в карантинах глубоких,
И—кто в подземельях не умер.

Я праздную первую строчку
Марсельцев прелестного гимна:
— Бегите из людных гостиных,
Все те, кто родились в сорочках.

Я дрожь расправляю в плечах,
Как ношу, как прожитый возраст.
И жду:—вот сигнал палачам,—
И рушатся в кровь мою звезды.

Но—рухнут они, чтоб восстать,
Но—станут они для возмездия,
Не звезды, а люди в созвездья

Сойдутся, сливая уста
Моею последнею песней:
Я гимном свободы их стал,
Я в тысячах песен воскресну.

Пьяное солнце

Повесть

ФЕДОР ГЛАДКОВ

«...Ищут они в колебаниях
путей своей жизни».

Луcretий

Как обычно, в это утро Маруся встала ровно в семь и, не умываясь, с растрепанными волосами, вышла на балкон. Софья Петровна лежала у противоположной стены вверх лицом и была бледна, бездыханна от крепкого утреннего сна. Маруся взглянула на нее искоса, украдкой, и удивилась—какая она худая и старая: кожа на лице и груди—блеклая, измятая, точно покрыта пылью, нос заострился клювом, и зубы мертво поблескивали сухой желтизной из полуоткрытых губ. Только губы у нее были странно сочные, полные, по-девичьи наивные. Живут они в этой палате уже около двух недель и сразу с первого же дня слюбились, как милые подруги: одна—семнадцатилетняя комсомолка, а другая—старая партийка с двадцатилетним стажем.

Чтобы не разбудить Софьи Петровны, Маруся по-воровски отворила дверь на балкон и опять затворила за собою так же тихо и крадучись. И сразу же ее опьянил солнечный воздух, синее вымытое за ночь небо, такое ядреное и молодое, и немного затуманенный, вспыхивающий ослепительными искрами, залив. Реяли в воздухе розовые чайки. Недалеко, за обрывом, шумело водопадом море, вздыхало, звенело галькой и раковинами, и от этого казалось, что где-то глубоко совершается незримая огромная работа земли. И от лазурного шума, и прозрачно-золотого неба, и огненного воздуха, насыщенного морем—хмельным запахом водорослей и моллюсков—было необычайно легко,—хотелось взмахнуть руками и, замирая, лететь между небом и морем.

Прямо, внизу, широким треугольником золотилась площадь с черным памятником посредине, позеленевшим от старости, а за пло-

шадью террасами легко и красиво вползали на гору уютные белые и голубые домики.

Между тротуаром и балконом волновалась воздушная глубина. У Маруси закружилась голова, и внутри заняла тошнотно-сладостная струна. Около скамейки сидел чистильщик сапог, седой, грязный армянин в опорках и тоже ныл пискливо, как струна, в ожидании работы. И сверху он казался тоже смешным—уродливым, разбухшим обрубком.

Три молочницы шли мимо со жбанами на коромыслах. Одна из них споткнулась и брякнулась на мостовую. Жбаны с дряблым грохотом покатались по камням. Молоко разлилось потоками, и они образовали на земле причудливые пятна, как моря и океаны на географической карте. Баба захохла, запричитала, засморкалась—села и закачалась из стороны в сторону. Ее товарки оглянулись, постояли, засмеялись и пошли дальше. Она в отчаянии схватила коромысло и злобно стала бить им о камни. А армянин невозмутимо сидел около скамейки и лениво курлыкал:

— Зачём бедным палкам бьешь?.. с ума сашол.. Бей своим башкам—больно будет... Ффа!..

Маруся хохотала, хохотало вместе с ней и море, и горячий воздух, и чайки. И были уморительны и эта баба, и этот добродушный армянин. Чувствовала Маруся, что она летит где-то высоко, в самой синеве, и замирает от полета и пернатой легкости. И не жаль ни бабы, ни разлитого молока—совсем это было не важно, а важно было это золотое утро, эти белые чайки, как летающие цветы, этот вкусный воздух в запахах моря, густой и янтарный.

Из-под балкона выбежал по-мальчишески Яша Мазин, в вязёнке на голом теле. Сквозь сетку материи темнела коричневая кожа, а руки казались непомерно большими и необычно черными от загара. Рыжая шевелюра пересыпалась искрами. Каждое утро в этот самый час он выбегал на улицу и кричал ей вверх, на балкон, приставляя рупором ладони ко рту:

— Маруська! Куриная слепота! Катись кренделем с нашести, а то солнце сбежало.

Яша подбежал к молочнице, подхватил ее под мышки и поднял на ноги, как девочку.

— Гек! Вставай, тетка... Вот тебе жбан, а вот тебе—другой. Иди домой—твоим молоком полакомилось солнце. Это — к счастью.

Молочница топталась со жбанами на коромыслах, злобно смотрела на санаторий и голосила на всю площадь:

— Ироды! сволочи!.. Понагнали вас сюда на нашу шею, бездельников... Лопаются от жиру на казенных харчах...

Яша расставил ноги ножницами и смеялся, ошпаренный солнцем. Зубы его светились, щеки играли молодыми складками.

А армянин все еще курлыкал внизу:

— Ффа, какой глупый баба!.. Зачём малако даром портыл? Землям бил — людей трэвожил?.. Ффа!..

Маруся нарочно не подавала голоса и ждала, что будет с ним, когда ее увидит Мазин.

— Марусенция. Ты—уже? Ах, ты каналья! Прыгай сюда!— ну?

На балконе было тесно, а хотелось бегать и смеяться. И купаться хотелось. Броситься в зеленую глубину в небесных пятнах и солнечных искрах и плыть—далеко, на сколько хватит сил и никогда не возвращаться на берег. Маруся с размаху отворила дверь в палату и вошла в комнату вместе с утренним небом, с солнечным воздухом, с далеким шумом прибоя, похожим на шум проливного дождя. И как только почувствовала в комнате терпкий запах ночи и сна, испугалась: она, Маруся, — просто бешеная: как всегда, она сейчас беспокоит Софью Петровну.

— Я не сплю, Марусенька. Не стесняйся.

Софья Петровна улыбалась, как мать,—ласково и лукаво.

— Я—дура набитая, Софья Петровна. Ты меня не распускай — держи в ежовых рукавицах.

— Опять Мазин скovyрнул тебя с постели? Ох, уж этот Мазин! Больно уж что-то ты чутка к его призывам.

Маруся брезгливо со скрытым смехом покосилась на дверь, и сердитая гримаса никак не могла застыть на лице.

— Очень мне он нужен. Ни ума, ни серьезности, ни виду. Просто — мальчишка, шелолай. А туда же — нервно больной...

И передразнила его презрительно и певуче:

— У меня — невра-сте-ния... пе-ре-утом-ле-ние... от непосильной работы... зав-агит-пропом комсомола.

Софья Петровна засмеялась тихо, любовно и лукаво, и опять она была похожа на мать.

По широким мраморным ступеням стекала длинная ковровая дорожка, а по краям ступеней крылато сплетались листьями фикусы и пальмы. Маруся сходила по ступеням в мягких туфлях, и ковер скрипел под ногами и уползл, как живой. Снизу до самой крыши был широкий воздушный пролет между лестницами, а крыша была стеклянная и невыносимо горела солнцем и небом. От крыши немного наискось опаловыми полосами дымились лучи, и стена ослепительно пылала огненными узорами, а листья фикуса жирно таяли воском. Вихри золотых пылинок искрились в солнечных полосах и переливались перламутром.

Маруся крылато спускалась по ступеням, и ей казалось, что где-то очень далеко, на улице, играет музыка, и куда-то торопливо и по-утреннему бодро идет большая толпа.

В вестибюле, около мраморного фонтана, стояло несколько человек: в сумеречной прохладе их нельзя было узнать — это были только серые силуэты. Звенела и цыкала вода, и тонкая струя наливалась наверху прозрачным цветком, сразу же дробилась на брызги и падала

звездами в круглый бассейн. Перед нею вытянулся по-военному высокий, костлявый, с огромными хвостатыми усами, Кособрюх. Он взял своей толстой палкой, украшенной золотыми арматурками, на караул, и выпучил угарные глаза.

— Кра-асат-та!..

Он всегда и во всех случаях проникновенно выкрикивал это слово, и оно играло у него всегда по-разному, полнокровное, богатое значениями и чувством.

Маруся браво тряхнула кудрями и сделала ему пионерский салют.

Навстречу ей в упор смотрел новый человек. Он повернулся спиной к фонтану и, засунув руки в карманы брюк, не спускал с нее черных глаз в черных бровях. Голова у него—бритая, круглая, в шишках, и от бритья—синяя, а лицо—тоже бритое, налитое, загорелое до отлива бронзы, скуластое, с квадратным подбородком. И от этого он будто насмешливо и вызывающе улыбался. Ворот белой рубахи был открыт, и грудь посредине густо шерстилась черными волосами. Весь он был тяжелый, властный и обособленный, и ей казалось, что он заполняет собою все пространство вестибюля. Таких людей она видела и раньше, у себя дома: это были администраторы, банковские ответработники и хозяйственники. Она их всегда боялась и никак не могла к ним подойти. В глазах этого человека она почувствовала что-то жадное, хищное, животное, и от того, что они были металлические и мертвые,—этот их пристальный упор был непонятный и жуткий. Очнулась она уже на улице и сразу ослепла от солнца и неба.

Мазина она увидела только в тот миг, когда он сразбегу подхватил ее под руку. Он не удержал ее, и она грудь с грудью столкнулась с Мезенцевым. Этот старый комсомолец всегда стеснял ее, и в его присутствии она терялась, не могла с ним говорить, и внутри у нее ныла мутная тоска. Он никогда не улыбался, всегда был деловито сосредоточен, бычился и смотрел на всех так, точно все, кроме него, были набитые дураки. Говорил он больше с пожилыми людьми, всегда скучно, толково, и Маруся видела, что всем было тоскливо с ним, и все старались от него поскорее отделаться. Он был нечистоплотен, белобрыс, с худым лицом, в пыльном налете. Вот и сейчас он осторожно и сосредоточенно посторонился и посмотрел на нее со строгим безразличием, как на пустое место. Повернувшись к ней боком, он вплотную подошел к Мазину и стал теребить его вязёнку.

— Мы, комсомольцы, не должны рассуждать. От критики впадают в уклон. Партия дает готовую формулу. За нас думает партия. Оппозиция, это—уклон. Уклоны расшатывают партию. Чтобы не впасть в уклон, надо каждую букву резолюций помнить даже во сне.

Мазин беспомощно смотрел через его плечо, пожимал Марусину руку, будто искал в ней защиты, и покорно молчал. Потом у него дернулась голова и плечо, и глаза стали злыми и маленькими. Он побледнел и облизал губы сухим языком. Марусе невыносимо было

слушать тягучий голос Мезенцева, его казенные слова, и она страдала от ненависти к нему.

— А я даже ни слова не помню, что написано в резолюциях. Мезенцев тупо посмотрел на нее, потом в гневе отступил назад.

— Как? Ты—комсомолка—и так относишься к постановлениям нашей партии?

Мезенцев тупо и пристально смотрел на нее и, пораженный, боком отодвигался к крыльцу.

И как только она опять почувствовала нагретую солнцем руку Мазина и его самого,—вытянутого, худого, угловатого,—душа у нее опять развернулась подсолнечником. Позади них, недалеко, необъятно шумел ливень, и хотя Маруся знала, что это морской прибой, она оглянулась.

— Чайки. Будто сам воздух летает. Ты, Мазя, совсем не понимаешь, что такое чайки. Ты еще не дорос до понимания красоты.

Он грубо и сильно повернул ее к себе и сурово отчеканил каждое слово:

— Что значат твои чайки, Маруся? Они уже миллионы лет глупо вылупляются из яиц, а тут—индустрия. Корабли. Гидропланы. Гавань. Порт. А что будет при развернутом социализме? Ну?

А она стряхивала его руки и гримасничала.

— Умничаешь, сударь. Что бы ни было, а чайки все-таки будут, и в небе облака будут... и душа вместе с солнцем будет...

— Ах, уноси мою душу в ту синюю даль...—пронзительным фальцетом продекламировал Яша и стал в позу одержимого поэта.—Твоя идеология, Марусенция, стала простоквашей. Кушай на здоровье.

Было тепло и парно, пахло землей, зеленью и цветами из приморского сада, за санаторием, а над садом кудрявилось облаками небо. Было еще по-утреннему пусто на улицах: и вправо, и влево от памятника они расходились под прямым углом, ровненькие и чистенькие, как на раскрашенных фотографиях. Прогромыхал мимо трамвай, весь сквозной, с подвязанными холстинками у столбиков. Он качался вперед и назад, повизгивал, и Марусе казалось, что он был похож на поросенка. Каждое утро они вдвоем взбирались в верхнюю часть города по узеньким переулочкам, как по каменным коридорчикам, со ступеньчатыми тротуарчиками. Домики здесь были тоже маленькие и карабкались на гору, опираясь один на другой тоже в виде ступеней. Улица вся была засыпана камнями, скалилась щербатыми желтыми плитами и исполосована ветвистыми вымоинами от дождевых потоков.

Когда они, усталые, поднялись на гору, сразу же распахнулась перед ними прямая широкая улица. Она была ровная, очень спокойная, и совсем не думалось, что идет она по верхушке горы, что по обе стороны—крутые спуски и глубокие каменные овраги, по которым висят друг над другом домики с черепичными крышами. Все дома по той и другой стороне были из серого пузырчатого камня, как грецкая губка, все опрятные, старинные, кубические, в прямых очень

четких линиях. Мостовая была запущена: проросла травой, и было похоже, что по ней уже давно не ездят, и все эти домики обезлюдели. Концом улица упиралась в небо, зеркалилась и дрожала маревом, и казалось, что это — не небо, а море, очень спокойное в безбрежности. На стенах домов ярко белели мутные от времени мраморные доски с полинявшими золотыми надписями. Отдыхали они обычно на восточной стороне старой церкви, которая была похожа на легенду. И чудилось, что это была не церковь, а античный храм. Самое здание скрывалось за дорическими колоннами, а колонны подпирали крышу. И когда они, одинокие, бродили по коридору, между колоннами и стенами здания, настоящее таяло, оставалось где-то там, внизу, в стенах санатория, а они плыли куда-то в туманы прошлого, и через сердце мягко плескались волны смутных сказочных образов, похожих на сны.

Снизу этот храм, горящий солнцем, был прозрачный, и стройные стволы колонн казались мраморными, а каменные ступени изломанных лестниц в обрывах горы, между убогими хибарками, были похожи на развалины древних пропилеев. И эти строгие ряды желтых колонн и крылатый карниз широким треугольником успокоенно и величаво расцветали над городом и будили забытые образы минувших тысячелетий.

А Маруся и Яша стояли между солнечными колоннами, смотрели на город, на бесчисленные крыши, сползающие вниз, на зеркальный залив в опаловой дымке, на далекие голые холмы и были слишком сегодняшние, чужие этим старинным колоннам, изъеденным временем. Мазин держал Марусю за руку (так они ходили в последние дни) и чувствовал, как в него переливается теплота Маруси и будто впервые в жизни ощущал, как ответно замирало его сердце от далеких и очень близких толчков крови в мягкой и упругой ее ладони. И в эти минуты обычные судороги, которые дергали его плечо и шею, а голову толкали в сторону, становились надоедными и мучительными. Он изо всех сил старался остановить их, а они как нарочно, не слушались его и рвали мускулы настойчиво и глупо. И ему было стыдно, что Маруся видит это и смотрит на него с тревогой и сожалением.

А Марусе все казалось воздушным, все было в полете, как в тот миг, как она вышла на балкон. Внизу, над заливом, голубым и бездонным, как небо, вспыхивали розовые чайки. Они легкокрыло трепетали в вихрях, реяли, падали вниз, нежно касались воды в кипящих ослепительных искрах и опять поднимались, купаясь в дымно-золотом воздухе. Всюду, по всей линии залива, стояли бурыми теньями военные корабли в дремотной неподвижности. Где-то внизу, сдваивая, зазвякали склянки. Очень далеко им ответили дряблым хрипом другие, и в утренних дымах долго мерещилась невнятная музыка. Маруся смотрела на залив, и волосы ее, взбитые кудрями, золотисто горели на солнце и паутинками шевелились в воздухе, а большие глаза в длинных ресницах были прозрачны, как вода, и в них было только любопыт-

ство и радостное удивление, как у ребенка. И юбочка белая в синих полосках, была коротенькая, до коленок, как ночная рубашка. А ноги были голые, в красных чувячках. И вся она была маленькая, совсем девочка, и курчавой головой она была только по плечо Яше. А он, Яша, рядом с ней—длинный, костлявый дылда, с тяжелыми руками, с сильными челюстями, с бронзовыми шишками над бровями.

— Ведь вот ты фигура какая, орешки каленые! До чего же разбирает печенки эта природища. Терпеть не могу. Природа, Марусенция,—вреднейшая мелко-буржуазная стихия. Нужно ее прибрать к рукам, а то она шибко захлестывает нашего брата, пролетария.

Маруся вырвала руку из горячей лапы Мазина и взглянула на него так, точно была выше его.

— Ты—балбес, товарищ Мазин,—сухая корка, старый сапог, деревянный идол.

— Вво, это—я понимаю. Крой дальше, накачивай без передышки. После этого ты будешь спорить, что женщина не раба природы?

Маруся беспомощно взмахнула руками, как крыльями, и застонала.

— Ну, что ты с ним поделаешь, с болваном? Товарищи мужчины всегда грубы и несуразны, как грузовики.

— Ох, где ж угнаться грузовику за мотоциклом!..

Маруся схватила его за плечи, повернула к себе спиною и стала шлепать его между лопатками.

— Ой, чортова Марусенция! Не кусай комариком — убью и не найду над чем поплакать. Марусяка!

А Маруся заливалась хохотом, и Яше казалось, что вместе с Марусей хохочет золотом и солнце, и этот воздух, дрожащий небом и золотыми нитями. Маруся птицей мелькнула между колонн и слетела со ступеней. Она взмахивала руками, вскидывала платьишко выше коленок, оглядывалась на Яшу, и лицо ее играло в неудержимой радости — каждый мускул трепетал по-своему, а глаза были большие и вспыхивали на солнце, как всплески воды. И вся она была необычайная — горячая, в искрах, насыщенная кровью, близкая и родная. С сердцем, замирающим от восторга, задыхаясь от крика, Яша ринулся вслед за Марусей. Все было необ'ятно и пламенно, и земля, и небо гремели волнами, как море. Маруся летала впереди птицей и кричала, как птица, и Яша носился за нею по площадке перед раскаленными колоннами храма, пьяный от неиспытанной радости. Все было необычно и волшебно, как в сказке—и это зеркальное небо, и воздух в опаловых волнах, и эти дымно-лиловые горные дали, плавающие в море, как в опрокинутых небесах.

Яша шел широкими шагами рядом с Марусей и говорил с деловитой серьезностью:

— Для комсомола море—хорошая закалка. Мне—девятнадцать лет. Я тоже пойду во флот. Еще два года и—„по морям, по морям, нынче здесь—завтра там“... На суше—в нашей толчее, в учреждениях, в номерах—молодежь чахнет, растрчивает свои силы вдрызг, и к моменту

перехода в партию—вся измотана, издергана, все—неврастеники. Выживают только наиболее крепкие. Слишком большая нагрузка на нашего брата—требуется больше, чем можем дать. Надо хоть немножко воздуха, игры, хорошей песни, музыки и художественной литературы.

Маруся пристально и лукаво взглянула на него снизу вверх и засмеялась тепло и ласково.

— Откуда это у тебя, товарищ Мазин? От мелко-буржуазной природы? Я очень рада—браво!

Он опять смутился и засмеялся, беспричинно громко и раскатисто. И в тот же момент плечо его дрогнуло и прыгнуло к уху, а голова крунулась и дернулась назад. Маруся не раз хотела спросить у него, что у него за болезнь, но не решалась, и теперь неспросила: вероятно, ему будет неприятно и больно. Она только с участием взглянула на него и прижала к себе его руку.

— Чорт бы ее побрал! Это—верно. Самая гнусная стихия, это—природа. Она разлагает самого выдержанного и стопроцентного коммуниста. Ежели бы мы поддавались красоте природы, мы проиграли бы революцию, и у нас не было бы диктатуры пролетариата. Если начал строить социализм—природу к чорту в зубы.

Лицо Маруси застыло вдруг на одной мысли, только глаза углубленно глядели не то в даль, не то сами в себя.

— Нет, я никогда не соглашусь, Яша, никогда. Социализм—не есть грубая машина: социализм—это борьба за уничтожение противоречий между людьми и природой. Бесклассовый человек—уже не раб природы. Не нужно, Яша, быть таким сухим бревном. То, что ты хочешь, я не могу вынести...

Она внезапно озлилась, и верхняя губа покрылась потом.

— Это—вредный цех... и больше ничего.

Яша слушал ее, и голос и слова ее волновались музыкой в его душе. И он опять чувствовал, что она, Маруся, вливается в него без остатка, такая родная, солнечная и простая. Он тихо пожимал ее руку и ласково смеялся.

— Ах, ты, Марусенция, Марусенция!.. Не про тебя ли сказал Владимир Ильич: „революционер должен мечтать, если он не безнадежный филистер“.

Лицо Маруси опять заиграло причудливой радостью.

— Ага! вот то-то и есть. Социализм, брат, это—сказка будущего. А твой вредный цех, это—не сказка, а гнусные будни плохого настоящего.

— Тебе нужно быть поэтессой, Маруся: ты недурно владеешь пером.

Внизу, за крышами домов, где-то гулко рассыпал дряблую дробь барабан. Потом налево, в разрыве крыш, заколыхались вороха круглых головок. Мелькнуло красным крылом знамя и исчезло.

— Пионеры, пионеры! Бежим скорее, ну?.. Это же пионерчики!..

Маруся вырвала руку и, вся в полете, побежала со всех ног по каменистому спуску. За ней катились камешки, и огненно дымилась

желтая пыль. Яша, не отрываясь, смотрел на этот белый полет и прислушивался к мутной сладостной боли внутри. Ему почему-то хотелось кричать на весь город от восторга, побежать к этим пионерам, взять знамя, поднять его высоко и петь песни, которые не пелись никогда. Но сейчас же в мозгу остро и холодно оскалилась мысль: глупости, товарищ Мазин, сантименты. Распустил слюни перед девчонкой, как мякотелый интеллигентик. Работенку забыл, а ее—непочатый угол. Любовной антимионией увлекся, а еще называешься—завагитпропом. Перерождаешься, парень. Надо подтянуться, товарищ,—бросать эту пустую канитель...

И он вспомнил, что по дороге сюда он решил здесь, на досуге, разработать тезисы по борьбе с хулиганством в комсомоле и обдумать некоторые новые пункты в плане культпросветработы.

II

За завтраком неожиданно сел рядом с Марусей тот самый черный человек, которого она встретила в вестибюле. Она увидела его еще издали: он шел в пролете между столами, между шеренгами многочисленных голов, медленно, важно, с военной выправкой, но увесисто, с сознанием своей силы. Круглая голова в синем глянцево-бритые, почти без шеи, немного бычилась, и черные глаза под черными бровями были неестественно пристальны и зорки, с лихорадочным блеском от переутомления. Здесь, среди этих пестрых рядов мужчин и женщин, прижатых к длинным столам спинками стульев—этот человек, чужой всем, особый и заметный, был одинок и крепко замкнут. И когда он шел между горбатыми спинами людей, многие с любопытством смотрели на него и долго провожали глазами, забыв о пище. Белоснежная сестра милосердия услужливо, ласково, по привычке ухаживать за больными, нежным движением подтолкнула его под руку и указала место около Маруси. А Маруся сначала испугалась, и ей вдруг стало душно и тягостно. Она отодвинулась на край стула, вплотную к Софье Петровне, низко нагнулась над столом и онемела. А он осторожно, мягко, бесшумно отодвинул стул и сел, тихо, легко и упруго. И было странно, что от него запахло одеколоном.

Яша сидел напротив, жадно ел яйцо, набивая рот хлебом, и пристально всматривался в новичка коротким упором глаз. Плечо и голова у него раз за разом дергались необычными рывками. И когда этот человек спокойно, мягкими движениями, взял яйцо и стал чистить скорлупу, Маруся заметила, что руки его были хоть и крупные, покрытые волосами, но красивые, нерабочие, женственно-чистоплотные. Софья Петровна бранчливым басом пропела ей в ухо, и Маруся знала, что она улыбается.

— Ну, ты, Марусенька, скоро сядешь мне на коленки. Хоть ты еще деточка, но, право же, не следует преуменьшать ни своего возраста, ни объема, ни килограммов.

А сосед совсем просто, по-родственному, точно знал ее очень давно, сказал с приветливой шуткой:

— Не беспокойтесь, Маруся: ваша территория в полнейшей безопасности. Я—враг всякой интервенции.

Он взглянул на нее черным блеском пристальных глаз, и они внезапно стали другими—усталыми и грустными. И улыбка была неожиданно яркой, привлекающей, совсем ребячьей.

Маруся строго взглянула ни него сбоку и пренебрежительно опустила уголки рта:

— Ну, вот... Сразу—и Маруся, и территория, и интервенция... Не много ли для первого раза?

— Вот тебе раз! А разве я для вас не такой же равноправный сосед и товарищ, как другие? Вы—комсомолка, я—партиец: значит, все условия налицо, чтобы быть друзьями. Вас зовут Маруся, а у меня имя каторжное—Акатуев.

Незаметно для себя Маруся села на свой стул, и вместе с неясным беспокойством, которое мутило ее с первой встречи с ним, заиграло в ней любопытство и ребячье озорство.

— Вы еще не успели показать нос, а уже выпячиваете свой гонор. Меня вы видите впервые, а уже—на-тебе! с места в карьер: ты—комсомолка. Подумаешь, какой вещун!..

Он опять улыбнулся, но на нее не взглянул.

— А разве я ошибся, Маруся? У меня, кажется, не плохая наблюдательность,—глаз хорошо наметан.

Она громко, почти горласто крикнула:

— Ну, а вы-то что за фигура? Должно быть, какая-нибудь ответственная шишка—не иначе...

Все засмеялись за столом,—иные в тарелки, иные в пристальном взгляде на Марусю. Мордых—рабочий с уральского завода, весь костлявый, с мокрыми усами и грязными провалами на щеках—злорадно смотрел на новичка и заливался пискливо, с наслаждением, точно его мучили щекоткой.

Яша не смеялся и все дергал плечом. Не отрываясь от Акатуева, он отпивал чай мелкими глотками и думал о чем-то своем, потом шлепнул ладонями и угрюмо промычал:

— Bravo, Маруся, жарь!

Софья Петровна, старомодная, кроткая, спокойная, умно улыбалась одними морщинками глаз и, не отрываясь от еды, по-матерински потрепала по плечу Марусю.

— Не зарывайся, Маруся. Нельзя делать очень резких переходов от обороны к нападению. Будь осторожней, девочка. Как бы не треснуться носом.

И опять поразили Марусю ее пухлые девичьи губы,—очень свежие и юные. Она оттолкнулась плечом от руки Софьи Петровны и всею грудью повернулась к Акатуеву. В сердце плеснула горячая волна задора.

Горласто хохотала Чайкина в красной повязке, скуластая, по-мужичьи широкая костью. Она шлепала ладонью по столу и орала на всю столовую:

— Так, Маруся! Молодчина, кудлатая! Глуши их, шерстобитов,— бей в хвост и гриву!..

Акатуев откинулся на спинку стула и улыбнулся, но улыбка у него была уже другая—нутряная, спрятанная, замкнутая.

— Вы угадали, Маруся. Когда человек отрешается от себя, работа становится его властителем. Он становится непохожим на других людей. Таким людям не следует смотреться в зеркало. Я не люблю себя в отражении.

Яша вдруг занервничал, встал со стула и порывисто протянул руку к Марусе:

— Она—эта женщина, идеологически неустойчивый элемент: она, если хотите знать, мистически преклоняется перед природой и тем самым разлагающе действует на других.

Маруся тоже вскочила и тоже ткнула в него пальцем.

— Ага! на воре шапка горит. Bravo!

И увидела, что в глазах Яши блеснула радость. Акатуев опять улыбнулся.

— Боюсь, что я с удовольствием буду разлагаться под ее влиянием. Я понимаю Марусю, и такой ее мистический уклон приемлю безоговорочно. Я бы хотел, чтобы вы были моим руководителем, Маруся.

— Не желаю. У меня и без вас есть обуза—этот оболтус Мазя.

— Убью, Маруся! Ты меня вывела из строя и загубила мою жизнь.

Посмеялись. Акатуев жадно, с неугасающей яркой улыбкой, смотрел на Марусю и загорался радостным изумлением и молодым восторгом.

Подошел быковатый Мезенцев тяжелым деловым шагом и посмотрел на всех строго, тупым взглядом занятого человека.

— Вы говорите об идеологии. Но вся программа нашей партии есть в сущности та же идеология. Вопросы идеологии надо касаться осторожно, чтобы не впасть в оппортунизм.

Акатуев с удивлением взглянул на Мезенцева и вдруг опять сделался замкнутым и пристально холодным. Яша вышел из-за стола и быстро зашагал к двери. Маруся с ненавистью уставилась на Мезенцева.

— Пошел ты к чорту с своей идеологией. Мумия!

Мезенцев быком взглянул на нее, как на пустое место, и не понимал, в чем дело.

— Как?

Встал и Акатуев. Мезенцев пошел рядом с ним и заговорил о чем-то деловито, обстоятельно и скучно.

А Мордых весь трепыхался от возбуждения и никак не мог успокоиться. Пристально глядел злыми глазами на пустое место, где сидел Акатуев, посмеивался и ворчал:

— Я их хорошо знаю, этих червонных валетов. Сопатка—ягодка, башка—кубышка, а грудь—колесом. Труба! Стоит дылдой и плюется копотью. Вельможи!.. Не догадаешься, какую думку держит—весь отшлифован: блестит и ничего не видеть. Форс! Власть! Вот оно как. Слова нельзя сказать. А ляпнешь как-нибудь от души, сейчас:—товарищ, ты—бузотер! Душу режут, живодавы. Вот она где—наша беда и несчастье.

И глаза его дрожали, как студень.

Все молчали и нагнулись над тарелками—притворялись глухими и равнодушными. Так было с Мордых каждый день. Его пискливый режущий голосок слышен был всюду—и в столовой, и в коридорах, и в комнате отдыха, и на улице. Весь серый, незаметный, юркий, маленький, он назойливо шмыгал всюду, где были люди, и всегда тревожил всех своей скрипучей беспокойной злостью. И все отмалчивались на его назойливый хохоток, смотрели мимо его лица или в собственные ноги, чувствовали неловкость, и у каждого портилось настроение.

Только Софья Петровна обычно строго и пристально смотрела на него и обрывала его ласковым упреком. Он не сердился на нее, сразу добрел и успокаивался.

Так же, как и всегда, она и теперь остановила на нем свои глаза и, отхлебывая чай, спокойно и ласково скомандовала:

— Ну-ка, товарищ Мордых: поел и иди из-за стола. Свою порцию отбарабанил и—шабаш. Хватит. Все у тебя выходит хорошо, голубчик; но плохо то, что вместе с хорошими словами бормочешь ты всякую ерунду. Человек ты славный и партиец крепкий, а подумают, что ты—склочник, дрянь и грязная тряпка. Нехорошо это, дружок.

Мордых, укрощенный, радостно захихикал, встал со стула и в восторге протянул через стол ей свою руку, изуродованную работой.

— Петровна! руку! дай мне свою руку! Такого человека, как ты, не найти во веки веков. Таких людей, как ты, беречь надо пуще глаза, а мы мнем, толчем, не придаем им никакой цены. Петровна, не чувствуем мы человека, и каждый из нас друг другу—барaban.

— Ну, будет, намолол, останови свою мельницу. Пойдем-ка лучше с тобой на процедуры.

Она встала и молча, спокойно, немного сутулая, пошла между столами, сосредоточенная в себе, вся ласковая, мягкая и светлая.

III

В вестибюле былолюдно: группами и в одиночку шли с белыми свертками в руках больные на процедуры. Хотелось близко подойти к фонтану и смотреть, как он бросал кверху, над чашей, хрустальные осколки. На диванах темными рядами сидели мужчины и женщины и громко смеялись—„жали масло“, и лица у всех были немного угарные, и в глазах влажно играли блудливые намеки. Жен-

щины были телесно доступны, в белых платьицах, похожих на ночные рубашки, и у некоторых колени были голые. Тут сидели и молодые, почти девочки, и пожилые, с блеклой кожей на лице. Все были стриженные, с голыми шеями, и шеи у одних лоснились от жира, а у других были тонкие и жилистые. И почему-то на эти шеи обратила внимание Маруся, они показались ей бесстыдными и отвратительными.

Маруся побежала по лестнице вверх, шагая через одну ступеньку, мимо людей с белыми свертками в руках. Несколько парней-комсомольцев, в брюках—клев, в белых рубахах с широким отворотом на груди, подняли навстречу ей руки, загородили дорогу и заорали, как бешеные.

— Ура, ребята! Бери на abordаж!.. Она гуляет с одним Мазиным... Не допускать! Нюхай, чем она сейчас пахнет. Жми там, где мягче. Выпаривай из нее мещанство.

Они сразу спутали ее руками, придавили и забарахтались, задыхаясь и рыча ей в лицо. Несколько грубых рук вцепились ей в бока, в грудь, кто-то больно толкнул в бедро. На мгновение она увидела очень близко потное безбровое лицо с оскаленными зубами и лягушьиные глаза.

И сразу, как только они смяли ее, ей стало душно до дурноты. Она рванулась, но ее сдавили еще сильнее и задыхали ей в лицо. В отчаянии она крикнула пискливо и беспомощно. И от этого своего крика сразу пришла в себя. Сначала было ослепительно-ярко, и фонтаном брызгали в глазах пальмы по сторонам. Потом все померкло и за клубилось красным туманом. Почти без сознания, только в одном бурном порыве, она изо всей силы ударила кого-то по голове и рванулась вперед. И когда очнулась, сразу же услышала свой надорванный хриплый крик:

— Я вам покажу, мерзавцы! Я вам морды побью. Посмейте только. Тоже—комсомольцы!.. Шпана поганая!..

И вдруг стала легкой, свободной, оторванной от людей. Опять свет и фонтаны зелени ослепительно заблестали в глазах, и от этого света и зелени в потоках солнца ей вдруг стало смешно и бодро.. Кучка парней сгрудилась внизу на лестнице и галдела, не поймешь что. Те, что стояли ниже всех, медленно, не оглядываясь, спускались по ступеням, тяжело падая на пятки и вздрагивая при каждом шаге.

И только передний молча ощупывал ее с затаенной злостью и никак не мог тронуться с места, приликая ладонями к мраморному барьеру лестницы.

— Под-думаешь... какая фря! Тоже—выкидывает фортели...

Маруся смеялась, тяжело дышала и поправляла гребенкой волосы.

— Дураки! Скоты! Оболтусы!

— Не кирпичись, Марусенция. Чего ты лаешься, как сапожник?

И по голосу и по руке, которая стиснула ее плечо, она почувствовала близость Яши. Она быстро повернулась к нему и увидела

его вместе с Акатуевым. Они, должно быть, продолжали интересный разговор и живо прислушивались друг к другу. Говорил Мазин.

— Многие активисты переживают очень болезненный кризис. Некоторые, очертя голову, запьянствовали и потеряли интерес к работе. Страшное нервное перенапряжение... Очень многие требуют серьезного ремонта... Ставятся, например, вопросы об индустриализации, о режиме экономии, вопросы культуры, а они на заседаниях пишут стихи или спорят по вопросам пола. Был хороший парень, а глядишь—бьет стекла в клубе и по ночам безобразничает на улице: сшибает шапки с прохожих, обрезает юбки у девочек в кино, не дает им проходить. Чорт знает, что...

И уже снизу, из вестибюля, твердо и уверенно пробасил голос Акатуева:

— Это пройдет. Молодежи сейчас очень трудно жить. Надо изменить методы работы.

По коридору, навстречу Марусе, прошли женщины и мужчины с узелками. За ними, прижимаясь друг к другу, не стесняясь ее, невнятно мурлыкая, затаенно и нежно, медленно проплыла пара. Они ничего не видели, кроме себя. Он весь круглый, выпуклый—и щеки, и лоб, и нос, и грудь. Имени его она не знала, но запомнила хорошо с первых же дней. В разговоре—во время ли игры в шахматы, в случайных ли беседах—всегда говорил, как оратор, и никого не слушал. И из этих его речей она слышала каждый день по нескольку раз одно и то же:

— Рассуждая диалектически... Мы, как большевики, должны мыслить диалектически...

Женщина была маленькая, бледная, костлявая, с подкрашенными глазами и губами и смотрела на всех, как близорукая,—вприщурку точно всех презирала.

Когда Маруся проходила мимо них, женщина посмотрела на нее через презрительную прищурку, и ноздри ее побелели от усмешки. А, он, почти шопотом, говорил ей какую-то тягучую речь, и Маруся услышала опять:

— Строя свою мысль строго диалектически, я неизбежно должен отвергнуть в так называемой любви ту идеалистическую сущность, какую приписывали ей идеологи буржуазии...

Маруся брезгливо фыркнула, и лицо ее дернулось гримасой.

Она вошла в палату и сразу же успокоилась от привычного уюта, от солнечного воздуха, который полыхал и волновался в открытую дверь на балкон. Далекий рукав небесно-голубого залива, с вихрями вспыхивающих чаек и дымчато-серыми громадами военных судов, был почти рядом—сейчас же за ослепительно белым парапетом балкона. И опять сразу стало легко, и мир опять стал крылатым, чудесным и радостным.

Софья Петровна, склонившись над кроватью, заворачивала в простыню белье. Ее седые волосы сползали на лоб и рассыпались сере-

бром. Она была задумчива, тревожна и совсем не взглянула на Марусю.

— Здесь и солнце какое-то пьяное. Точно все с ума сошли. Какие же это будут работники, когда они раз'едутся по своим местам? Сорвались с цепи, изленились, все потеряли внутренний стержень. Их нужно потом опять приучать к работе. Чорт знает, что делается. Ах, не отравись, девочка, берегись!..

Маруся, взволнованная, злая, свирепо размахивала руками.

— Это же бесстыдство, Софья Петровна. Пакость. Эти голые коленки у баб, лапанье, а мимо курилки нельзя пройти—сплошной мат. Прямо одна тошнота...

Софья Петровна задумчиво смотрела в дверь на балкон и, улыбаясь, нюхала воздух.

— У человека бывают срывы. Это бывало и раньше—в нашей подпольной среде. Но эти срывы долго не забывались и производили большой душевный переворот. А теперь — не то. Теперь какая-то эпидемия блудливости. Я понимаю—борьба с предрассудками. Но это—длительная, тяжелая работа над переустройством морали. Не знаю, может быть, я устарела и ничего не понимаю в новых отношениях. Я—староверка, это—верно. Но грязь остается грязью, и хулиганство, какие бы оно революционные формы ни принимало, — все-таки хулиганство. Мое революционное прошлое—подполье и тюрьма—мне кажется самой радостной полосой моей жизни. Мне жаль моего прошлого.

— Ну, не пой панихиды, Софья Петровна, и так душно. Возьму вот и уеду к своим пионерам—чорт с вами!

Софья Петровна будто не слышала Маруси и молчала. Потом засмеялась и встала.

— Не умеем мы еще справиться, девочка, со многими важнейшими сторонами нашей жизни. Почему мы так легко отравляемся гнилью, которая осталась от буржуазии? Почему гниль и гнусность так желанны и привлекательны, что люди купаются в них в безумном упоении? Берегись, дружок.

Маруся озлилась и дерзко взмахнула кулаком.

— Чорта с два! Меня не возьмешь голыми руками. Пусть попробуют.

Софья Петровна по-матерински обняла ее и поцеловала.

IV

За эти две недели Маруся не могла еще привыкнуть к городу. Он казался ей необычным—непохожим на другие города. На скверах и площадях громоздились на высоких постаментах огромные памятники каким-то неизвестным ей генералам. Они по-военному строго и гордо стояли, одинокие, черно-зеленые, в эполетах, с орденами на груди, и всегда вызывали в ней тревогу, вражду и недоумение: на какой чорт нужна эта белогвардейщина, когда время ее прошло, когда теперь—советская власть?..

Никак она не могла привыкнуть и к морю. Она долго бродила по берегу, смотрела на странно-живую громаду воды и изумлялась: эту водяную поверхность, такую блистающую и неземную, нельзя было запомнить. Она вся была в пленках, и пленки летали по ней, кипели, причудливо сталкивались и вспыхивали невиданными цветами. И от недостижимо далекого горизонта, где море сливалось с небом, и было так же воздушно, как небо, шла неумирающая, густая и плавная зыбь и стонала вдали глубокими жалобными вздохами. Это мычал маяк-ревун на рейде, а Марусе чудилось, что это стонало море своей глубиной, усталое от какой-то великой неведомой работы, которая совершается где-то в лазурных нечеловеческих далях. Этот неумолкаемый утробный стон она слышала всегда — и днем, и ночью, и когда вставала по утрам, и когда ложилась спать, и по ночам в прорывы глубокого сна. И, через этот глубокий стон, она всегда чувствовала море, его живую необъятную пучину, которая льется зыбью к каменным берегам. Когда она бывала одна, ей было грустно и немного страшно, и в эти мгновения она смутно и непривычно думала о неизвестных далях, которых она не достигнет никогда. А хорошо было наблюдать за волнами, которые хлестали о берег: они были простыя, нарядные, в пене и брызгах, и очень наивные и смешные. И когда почти рядом, упруго загибаясь в наплеске, заливали сами себя пеной и брызгами, Марусе казалось, что они хохочут, как толпы детишек. Очарованная, она вся пела вместе с волнами, смеялась нутром, забывала о себе, о санатории, о людях, о том, что где-то далеко есть тоже город, и в этом городе — комсомолка Маруся, которую нельзя было найти в толпе таких же комсомолок-активисток. Вон там, на той стороне залива, в дымке воздушной дали, на пустынных прибрежных взгорьях, древними башнями желтеют развалины столетних крепостей с рядами черных амбразур. А вправо, тоже за заливом, дымятся горы, и в их скалах мерещутся тоже развалины стройных колоннад. Там позади, в дыму и копоти, громоздится грязными зданиями, беспорядочно и чумазо, военный порт. И Марусе казалось, что она переживает какую-то волнующую сказку, и эта сказка — без конца. Даже это вот здание, где она проходила процедуры, тоже расцветало легендой, преображенной в жизнь. Оно встречало Марусю стройными рядами точеных колонн с причудливыми капителями, с орнаментами на карнизах, со статуями по обе стороны ступеней, со статуями по краям крыши. И площадь с цветочным садом посредине и фонтаном в вихрях радуги, и море, которое плескалось сейчас же внизу и плавилось на солнце зеленой блистающей зыбью, — все это было не похоже на ту будничную жизнь, сотканную из одноликих дней, через которые проходила она со своей работой, надорвавшей ее уже в семнадцать лет.

В вестибюле она еще издали увидела Акатуева. Он только что отошел от стола контроля и наполовину белый, с открытой грудью, наполовину черный, смотрел на нее с пристальным ожиданием.

Этот пристальный, испытующий взгляд и неподвижная фигура опять смутили ее своей тяжестью. Вестибюль широко раздвигал стены, и сумеречные пространства в отшлифованных белых колоннах густо рокотали шагами, говором, смехом, прохладным воздухом, насыщенным неугасающим запахом креозота. Хотелось легко по-ребячьи скользить по льдистой глади изразцового пола и не думать о том, что все эти люди—и стриженные женщины, и бритые мужчины, блуждающие от безделья,—нервно-больные, что все они пришли сюда лечиться и водой, и электричеством. Но грузная фигура Акатуева и его черный поджидающий взгляд заполняли весь зал и загромождали дорогу Марусе. Она хотела притвориться слепой и пройти мимо него равнодушной и чужой. Но как только сравнялась с ним, не выдержала, взглянула ему в глаза и беспомощно улыбнулась. А он стоял, спокойный и непосильно могучий, с крепкой круглой головой, с шишками по краям лба и выпирающими надбровницами.

И опять было необычно странно: он улыбался ей ярко, молодо, дружески-ласково. И пока она дожидалась очереди у контрольного стола, Акатуев, сосредоточенный в себе, новый здесь, браво ходил по диагонали зала, глубоко засунув руки в карманы брюк. Маруся не утерпела и оглянулась на него. Она не хотела оглядываться, не побороть неудержимого влечения к нему не могла. Его глаза в черном блеске опять пристально и испытующе глядели на нее, и опять она увидела в них непереносную усталость и что-то другое, похожее на ожидание. Этот неизвестный ей человек, может быть, управлял целым краем, может быть, держал в своих руках огромные аппараты, и слово его, может быть, звучало непререкаемой мощью. А вот она, Маруся, вдруг оказалась тоже силой, которая столкнулась с силой этого большого человека, и он не может перешагнуть через нее. С Яшей Мазиным она была иная—легкая, как птица: она не знала, есть ли у нее какая-нибудь сила, потому что не знала Яшиной силы: оба они были юны, равны и открыты, оба бессознательно переливались друг в друга и оба одинаково смеялись солнцу. Когда они были вместе, они не замечали себя, а когда расставались—им было скучно, их тянуло друг к другу, как детей. А встречались они тоже по-ребячьи—смеялись еще издали, потом играли и ходили вдвоем рука в руку—привычка, которая пришла к ним незаметно.

Маруся рысцой побежала наперерез Акатуеву в отделение электротерапии. Совсем просто, с юношеской гибкостью, с яркой улыбкой, он загородил ей путь и широко раскинул руки.

— Стоп, стоп, Маруся! Я здесь совсем беспомощен, и вы должны помочь мне отыскать врачей.

— А где же вы потеряли Мазина? Ведь, кажется, он взялся быть вашим поводырем?

Он опять испытующе остро взглянул на нее и усмехнулся сам себе.

— Мазин, кажется, очень хороший парнишка. Он, стервец, бросил меня еще по дороге сюда. Скрылся куда-то за угол.

— Пойдем по этому коридору.

Она поскользился рысцей по глянцевым изразцам в сумеречную дыру узкого коридора. Очень далеко, в самом конце, частыми переплетами горело солнцем огромное окно в цветных стеклах, и пол от них дымился мутной радугой. Где-то за стенами шипели и трещали скрытые разряды, и в воздухе пахло серой и фосфором.

— Вы—предисполком?

Акатуев опять усмехнулся и почему-то наклонился к самой кудрявой голове Маруси.

— Почему же вы думаете, что я предисполком?

— Потому что очень похожи на администратора. У нас теперь все имеют свое лицо: администраторы—один облик, профсоюзники—другой, партработники—третий. Я каждого могу определить безошибочно.

— Вы угадали: я—администратор, но только не предисполком. А вы—наблюдательны, Маруся, и умница.

Маруся взмахнула руками и заливчато расхохоталась, и ее хохот певуче зазвенел по всему коридору.

— Ну, вот, извольте, пожалуйста! Когда же шалавы бывают умницами?

Он взял ее за руку выше локтя, и рука его показалась Марусе огромной—больше ее самой. На миг она даже испугалась: стоит этой руке подняться, и Маруся перышком взлетит до самого потолка. Но рука его ласково и бережно, почти неслышно, грела ее предплечье, и она отчетливо и растерянно чувствовала упругие мускулы на его боку, и мускулы эти перекачивались при каждом шаге.

— Вы умница, Маруся. И эти слова, как „шалава“, вы сплунете со своего языка—они к вам не идут. Наш комсомол почему-то усвоил себе хулиганский и блатной жаргон. Эти бесчисленные—„шамать“, „амба“, „шалава“, „буза“ и т. д.—просто оскорбительны для достоинства нашей молодежи. Это свидетельствует о нашей чудовищной некультурности и неуважении к себе. А ведь это—полное противоречие всей нашей политике по строению социализма в нашей стране. Социализм же, это—высочайшая ступень культуры, которую мы призваны строить.

Маруся сконфузилась, совсем растерялась и онемела. Она покорно шла рядом с Акатуевым, и ей казалось, что она тает, стекает вниз и скоро исчезнет.

— Ну, так куда же мне итти? Мы, кажется, уткнулись в тупик.

Его слова били ее с неиспытанной силой, и она впервые узнала, что самые обыкновенные человеческие слова обладают физической мощностью удара, который убивает на месте. Ослепшая и растерянная, она обалдело огляделась и ничего не увидела, кроме гладких стен и разноцветных размытых пятен гигантского окна, которое валилось на нее со стены. Маруся пролепетала что-то невнятное и сама не поняла себя. И в то же мгновение увидела в стене плотно закрытую дверь.

— Вот... сюда... И по лестнице—вверх...

Очнулась она уже в конце коридора от собственного полета: она бежала со всех ног, точно спасалась от преследования. И потому, что она была свободна, и дышала глубоко и размашисто, ей опять стало легко, и люди, и стены, и обстановка стали обычными, простыми, привычными, как в прошлые дни. Она упала в кресло между двумя колоннами и почувствовала изнурительную усталость. Не было сил пошевелиться, а в душе была странная, мутная боль: не то гнетущее беспокойство, не то стыд, не то тяжелая обида. Она, Маруся, никогда до сих пор не переживала ничего подобного: никогда ни перед кем не терялась так позорно и глупо, и жизнь ее шла ровно, привычно, несложно—в заседаниях, совещаниях, в кружках, в возне с пионерами. В своей работе ей часто приходилось иметь дело с партийными и советскими ответработниками. Люди иногда приезжали из центра и приносили с собою дыхание Москвы—какую-то праздничную необычность—они казались сложнее и больше всех, с кем она имела общение в работе и никогда она не терялась в их присутствии. А когда говорила с ними, они сразу становились обыкновенными, слишком будничными—совсем такими же, как все окружающие товарищи. Однажды даже вышло совсем смешно. Приехал какой-то ответственный паре́зь из краевого комсомола—белобрысый, чванливый, похожий на чучело: на ребят не смотрел, веки были тяжелые от важности, в руках—большой пузатый портфель. Когда говорил с ней, то стоял к ней боком и поглядывал на нее из-за плеча, немного поднимая бровь, и она видела только угол его глаза. Она не выдержала, захохотала от злости и показала ему язык. Потом плюнула под ноги, растерла и ушла под хохот ребят, гордо и независимо. А вот теперь этот Акатуев—такой простой и пристальный к ней—вдруг вышиб ее из самое себя, и все спуталось, и весь мир потерял свою устойчивость.

Напротив, в углу, на широком диване, сидели рядом две пары. Мужчины были крупные, мясистые, а дамы—разные: одна—черненькая, маленькая еврейка, смуглая от загара, с подкрашенными губами, в шелковых чулках; другая—в золотых завитых волосах, вся в пудре, худая, длиннолицая. Обе обнимали своих мужчин и томно лежали на их плечах.

Прошла мимо Софья Петровна разбитым больным шагом, но не заметила ее, и она тоже показалась ей чужой и далекой.

С горластым смехом, путаясь друг в друге, захулиганили сами с собою те парни, которые встретили ее на лестнице. Они увидели ее, замяукали и по-дурацки заломались. Но и они расплывались тенями где-то очень далеко. Потом они прошли мимо нее. Что-то пролаяли ей в упор (слышала какие-то дурацкие слова, а—не запомни́да), скалили зубы и бросали ей в лицо измятые и блеклые цветы сирени. Тенями прошли куда-то направо и исчезли.

И вдруг стало легко и бодро, точно перед ней распахнулась невидимая дверь, и навстречу ей хлынул свежий, ядреный воздух.

Перед парочками остановился Мордых со свертком под мышкой. С обычным скрипучим надломом в горле, с ехидной вежливостью спросил:

— Позвольте, товарищи, так сказать... Вы ответственные будете, часом?

Разваливаясь на диване, оба с ленивым недоумением ощупывали Мордых и молчали. Один из них с обрюзглым лицом свернул на сторону рот и раздул ноздри от усмешки. Дамочки испуганно прижались к их плечам еще плотнее в младенческой беспомощности. А Мордых все ехидничал и играл с ними в почтительность.

— А я гляжу кой день на ваши личности... и в умственности мечтаю: буквально, так сказать, ответственные... Ибо по дамочкам тоже есть примечанье... Буржуев во владении санатории как бы не предвидится—местность не таковская... а видимость ваша очень даже отчетливая... Ибо дай, думаю, в дополнение из'ясню социальное положение...

Человек с белокурой дамочкой пристально наливал слезью глаза и ресницы его, желтые и пыльные, вздрагивали от насмешливого презрения.

— Па-ш-шел вон, шан-тра-па!..

Мордых с пристальным изумлением засеменил на месте, и голос его дрогнул от радостного волнения:

— То-есть, как это так—шантрапа?

А человек в матросской фуражке, спокойно и небрежно промямлил, не поднимая головы от спинки дивана.

— То-есть шантрапа и больше ничего. Шагай, пока цел, а то разобью мордоплюю... Брысь!

Дамочки занервничали и совсем прилипли к мужчинам. Они испуганно по-детски зацарапали пальчиками их плечи и, задыхаясь, шептали:

— Ну, не надо... не надо же... Ну, оставьте же. Ну, зачем этот ужас?

Другой человек зятряс мясом на щеках и подбородке и всхлипнул от смеха. Глаза его заискрились злобой и лукавством.

— Чего ты треплешься здесь, товарищ дорогой? Уходи по добру, по здорову, а то мой сосед очень любит производить иногда опыты по физике. Хоть ты и пролетарий, но мы тоже из этой благородной породы.

А Мордых точно был глухой: наклонялся к ним все ближе и настойчиво повторял одно и то же, как дурачок.

— То-есть как это так—шантрапа? Из'ясните мне отчетливо, что есть такое—шантрапа.

И смеялся им в лицо ехидным хриплым смехом. Один из мужчин рыхло поднялся, побледнел и замахнулся на Мордых кулаком. Дамочки взвизгнули. И вдруг неизвестно откуда врезался между Мордых и мужчиной Кособрюх. Он вытянулся по-военному, сделал свирепое лицо,

поднял свою палку наравне с шапкой, как милиционер и пронзительно пропел, как петух:

— Крра-асат-та-а...

V

В зале электротерапии было пусто и пыльно. Пахло сыростью, серой и вчерашним перегаром табака. На диванах лежали и сидели вразвалку немые женщины и тупо смотрели в скучные пустоты зала. Из открытой двери в узкий коридорчик, из глубины, просачивались пронзительно-колющие шорохи, дробный треск и мычанье толстой струны, которую все время настраивали и никак не могли настроить.

Где-то распахнули дверь—и сразу волною ворвалось в зал оглушительное хрипенье, вой и треск, и Марусе казалось, что там, в глубине, спрятана огромная кухня, где целые толпы поваров жарят что-то на раскаленных сковородах, звенят посудой, и кипит вода в огромных котлах. Две молоденьких санитарки в белом—одна черненькая, с усиками, другая—рыженькая, курносая и кругленькая, кукольная,—толкая одна другую, вытягивали шеи в зал и кричали певуче, по-птичьи, путаясь в выкриках:

— Кому—на гальванизацию?

— Ледюк.

— Франклин.

— Диатермия.

Маруся прорвалась первой между санитарками и рысцой побегала по узенькому коридорчику. Она распахнула дверь, и ее сразу обдало ослепительным светом и оглушительным электрическим треском и воем. Полуголые женщины с отвислыми грудями сидели в креслах, лежали на диванах, и женщины в белом вращали над ними металлические грибы. Перед ними стояли тяжелые причудливые аппараты, и в их утробе, за стеклами, огненными ручьями лились и трепетали искры.

Она пробежала в другую комнату. Здесь от окон к полу голубели дымные снопы. Приторно пахло фосфором и аптекой. Тут уже было тихо: треск и гул опять были где-то далеко и проваливались в мягкую пустоту. Опять в разных местах, на стульях и на диванах, вразвалку и скорчившись, сидели полуголые женщины, ушедшие в себя, молчаливые, убаюканные. Шелестели электромоторы и вимсгорсты, и белые санитарки, тоже немые и дремотные, поглаживали спины и груди пациенток. Стриженная скуластая девица сидела на стуле на помосте и растерянно улыбалась: волосы у нее тарачились помелом вверх, к металлическому кругу в шипах. И эти волосы в вихре, и эта глупая улыбка поразили Марусю. Она вытаращила глаза и засмеялась.

Кто-то рядом строго шикнул на нее:

— Тише, вы! Нельзя нарушать тишины. С ума вы сошли?

Маруся подошла к свободному стулу, скинула платяшко и лифчик и спиной села к санитарке.

... В гидротерапию Маруся вошла вместе с теми двумя дамочками, которые прилипали к плечам двух мясистых ответработников в нижнем зале отдыха. Как и всегда, они ходили вместе, не расставаясь, всегда под ручку, интимно прижимаясь друг к другу. Они были обособлены от всех, заметные в толпе других женщин—больше работниц и партиек,—и за столом тоже сидели рядом на узком конце. К ним все относились враждебно и смотрели с насмешливым презрением.

Кабинки уборной были все заполнены. В зале гидротерапии свистела и плескалась вода. Визги и смех, выкрики санитарок пели и рокотали спутанным эхом в огромных просторах зала, насыщенного влагой и брызгами. Из кабинок выходили туго завернутые женщины, стучали об изразцовый пол деревянными сандалиями и, зябко скорчившись, вздрагивая торсами, исчезали в дверях зала. Оттуда торопливо выползали, с посиневшими дрожащими губами и ослепшими глазами, измученные изуродованные куклы. Они шагали неуверенно и зыбко, точно боялись упасть, бесстыдно оголяя груди и животы в красных пятнах, в струйках воды и вспыхивающих каплях. Маруся заняла место у кабинки, в которую юркнула Чайкина. Обтянутая мокрой простыней, она была по-девичьи упруга, красиво округла и насыщена жизнью. Только голова была необычно чужой, не женской, а лицо—по-мужски грубо и скуласто, да голос был горласто-зычный и хохотал барабанно и нагло. В санатории прозвали ее „жеребенком“.

— Маруся, ты что же это, чертовка? Использовала Мазина,—теперь льнешь к этому черномазому? Смотри, брат: этот английский битюг сомнет тебя и искалечит.

Маруся растерялась и со страхом смотрела на Чайкину. Рядом в кабинках раскололись хохотом. Захлебываясь от радости, где-то рядом взвизгнул незнакомый голос:

— Наши комсомолочки—не простые пешки: раз-раз и—в дамки.

Эти голые бабы стали противны Марусе. В их рыхлых торсах, в грудях и складках животов было что-то похотливое, животное, и банный запах уборной пряно и влажно мутил ей голову запахом женского пота и дурной плоти.

Кто-то детским голоском пропел шаловливо:

Комсомолки-девочки—
Шустрые ткачихи:
Растеряли цевочки?
Чохи-чахи-чихи...

Замирая от обиды и гнева, Маруся ударила кулаком в стенку кабинки и так же горласто, как Чайкина, крикнула:

— Молчите вы, хавалды. Я не позволю оскорблять мой комсомол.

Чайкина высунула из кабинки круглую голову и голую грудь и в упор уткнулась сдвинутыми бровями в Марусю. Глаза у нее стали озорными и влажными.

— Га-га-га!..

— Я не позволю, товарищ Чайкина. И без тебя достаточно охляют молодежь. Стыдно!

И глаза ее залились слезами, а в легких не хватило воздуха. Кабинки визгливо лаяли и дребезжали от хохота.

Чайкина вдруг опять сурово сдвинула брови и стала оглядывать Марусю с головы до ног.

— Ты это что, Маруська? Какой тебя чорт укусил за ляжку?

А Маруся с криком в глазах, с лицом, набухшим кровью, уже не видела Чайкиной. Она была в толпе врагов, и с этими врагами нужно было драться изо всех сил.

— Да, не позволю. Вы всякую грязь готовы вылить на наши головы, потому что вы сами в грязи и не выходите из нее, как свиньи.

Чайкина рванула ее в кабинку и толкнула на диванчик.

— Ты с ума сошла, девка? Подумаешь, какая чистюга. Недотрога-барышня!.. Чего дерешь глотку, как собака?

В кабинках уже не смеялись, а лаяли. Маруся смутно слышала голоса женщин, но не понимала, о чем они кричали.

Чайкина стояла перед ней, высокая, молодая, и тело ее вздрагивало и гибко напрягалось мускулами.

— Сядь и не рычи. Не больно страшно. Ты не понимаешь шуток, девка. Я люблю комсомол не меньше тебя и цену ему знаю. И ежели бы кто ляпнул на него мерзоту, я сумела бы защитить его получше тебя. Раздевайся. Нечего строить из себя недотрогу. Ты еще не крепко стоишь на ногах, а лишний толчок заставит лучше упираться пятками. Ты еще дура, девка: теряешься от чоха. Этот черномазый будет похлеще моего горлана. С ним нужно защищать не комсомол, а только—себя. Я хорошо знаю этих ответственных умников: они привыкли только командовать. Ты и не заметишь, как он положит тебя под ноготь. А лапы их привыкли к власти. Не успел еще чаю выпить, а ты уже присосалась к нему. В чем дело?

— Ты, пожалуйста, Чайкина, не заливай. Я ничего не знаю, и ты, пожалуйста, меня не тревожь. Не валяй дурака.

— Ну, хорошо. Ежели что—зови на помощь. Вон... гляди на этих цац...

Она ткнула пальцем в отверстие кабинки, и Маруся увидела опять двух дамочек. Совсем голые, они гибко и жеманно, стуча сандалиями, шли вместе к весам, сплетаясь детскими руками. Тела у них были хрупкие, нежно-белые, атласные и казались совсем легкими, прозрачными. Чайкина с гадливостью смотрела на них и сжимала пальцы от ненависти.

— Это—дохлые крысы, падаль, на которую теперь большой спрос. В них кишат блохи и разносят чуму. Вот в чем—тяжелая болезнь. Время! Это—жены наших верховодов. Паразитная зараза. Это они несут с собою подлое прошлое. Теперь контр-революция скрывается

в красивых, подмалеванных глазах и женственной нежности. Мой муж тоже подхватил себе такую, а меня—под зад коленом...

Она злобно, рывком, надевала на себя белье, и рубашка трещала в ее руках.

— Никому не верь. И Мазину не верь. Беспощадная борьба, гражданская война против них. И теперь, как и всегда, у власти—они, только они... К чорту! Придет время, и на них будет свирепая чека.

— Какая ты злая, Чайкина!

— Погоди, расчешут тебе кудри—и ты будешь собакой.

— Товарищ Чайкина, а равенство полов? Ты хочешь господства только женщины. Это—не по-коммунистически.

Чайкина дрогнула, и глаза у ней блеснули в глубине, как у волчицы. Она рвала на себе одежду, и полотно лопалось по швам под ее мужскими руками.

— Равенства? Пока у власти—мужчина, не может быть равенства. Они сами кричат—равенство! а топчут нас еще мерзее, чем при царском режиме. Душу топчут! издеваются над человеком! калечат на всю жизнь! Им нужны куклы, ангельская нежность, воркующая голубка, изобретательная самка, которая постоянно возбуждала бы их похоть. Им не товарищ по работе нужен в женщине—дудки! Какая же женщина и мать—та, которая занята общественной работой? Она ни баба, ни мужик—бесполоя. Вон какие им нужны—вон эти самые! (Она опять бросила руку в сторону дамочек.) Реакционеры! Душители! Кричат: долой проституцию! а сами плодят ее под видом домашнего очага, уютной обстановочки. Вонючие мещане!

Она с размаху бросила полотенце на плечо, хрипло засмеялась и широким, размашистым шагом пошла между кабинок. У весов она споткнулась на шаге и брезгливо оглядела голых дамочек. Оскалив зубы, она и ту и другую ткнула пальцем в бедра. Дамочки взвизгнули и в ужасе изогнулись, как змеи.

— Это что за дикие выходки? Поосторожнее, пожалуйста. Что за хулиганство?

Чайкина горласто хохотала и с наслаждением тыкала пальцем в их бедра и животы.

— Да что же это за безобразие? Хулиганка!

— Ах, какая женственность! Ах, небесные создания в роли проституточек! От каких вы болезней лечитесь, самочки? От какого это переутомления? Га-га-га!..

Она смачно плюнула им в ноги и рванулась к двери, злая и непримиримая. Дамочки в ужасе побежали к себе в кабинку.

Лежа в ванне, Маруся с наслаждением отдавалась в руки массажистки. Упираясь локтями в дно ванны, Маруся пристально смотрела на рыженькую, конопатую фельдшерницу с водянистым лицом и мутными старушечьими глазами. Как и все массажистки, она была молчалива, замкнута, безразлична, и было видно, что ей до смерти надоела эта работа, и выносит она ее потому, что заставляет нужда.

И она, Маруся, и все, кого она массирует, ненавистны ей и противны, как трупы. Ежедневно через ее руки проходят целые десятки, а за год тысячи таких вот, как Маруся, — молодых и старых, красивых и безобразных,—и она уже не замечает их, как живых людей, и все они мелькают перед нею, одинаково голые, распластанные, покорные, одноликие и бесконечно чужие. Она широкими привычными взмахами рук разглаживала ноги Маруси, и вода бурлила под ее руками и вихрем брызг разлеталась в стороны, на стенки ванны. И от каждого ее взмаха Маруся чувствовала истомные волны внутри тела, точно кровь ее тоже плескалась в ногах, как вода.

— Какой у вас утомительный и скучный труд, товарищ!

Фельдшерица рассеянно скользнула по ней невидящими глазами и ответила не сразу. Голос у нее был тоже слепой и тусклый.

— Какой уж есть. Не издыхать же с голоду.

— Почему вы все такие молчаливые? Ведь есть о чем поговорить с людьми. Есть очень интересные. Может быть, через ваши руки прошли люди, известные на весь мир.

Фельдшерица уже не взглянула на нее и торопливо массировала ей бока.

— Тут некогда разговаривать: нужно выполнить норму выработки. Гонишь, высуня язык. Вам хорошо плавать в ванночке и играть с водичкой, а тут нужно пропустить тридцать человек. Придешь домой—ни рук, ни ног, и все люди кажутся голыми, плавают в воде, будто утопленники. О чем разговаривать?

Она подняла Марусю за шею и стала с той же торопливостью натирать ей спину. Потом бросила ее и ушла куда-то в рокочущую пустоту, дрожащую от всплесков и фонтанных струй. Маруся знала, что массажистка пошла готовить ей душ. Ей было жаль фельдшерицу и хотелось сказать ей хорошее, задушевное слово. Массажистка возилась с кранами и с трубой, из которой молочной струей била вода и взрывно, с хриплым визгом, пылью разлеталась на изразцах. А фельдшерица была попрежнему замкнута, мертва, с тусклыми глазами старухи.

Рядом с Марусей другие, такие же тусклые, фельдшерицы, полуголые в мокрых прилипающих к ногам фартуках, с водянковыми лицами и дряблым телом, склонялись над ваннами и работали руками в воде над телами больных. Неподалеку стояла голая женщина, обрюзгая, вся в складках,—особенно на животе и на боках,—а фельдшерица с размаху окатывала ее водою из ведер. Пробежали в дверь две скрюченные фигуры в простынях с темными мокрыми пятнами.

Фельдшерица кивнула Марусе головой, и голос ее пропел далеко и глухо:

— Готово!

Маруся выпрыгнула из ванны и заплясала над деревянными сандалиями. Щелкая ими по полу, она с неудержимым смехом побежала к молочному фонтану брызг. Подставляя спину под веер брызг,

она оглушительно взвизгнула раньше, чем брызги жгучими иглами вонзились ей в тело. Ей чудилось, что эти брызги—не брызги, а песок, который бросали в нее в детстве, когда она купалась в своей родной Волге.

— Грудью!

Она поворачивалась кругом и слепла от фонтанной пыли. Иглы вонзались в грудь, в живот, в ноги, и было мучительно приятно и радостно.

— Руку!.. Другую!.. Кругом!..

И сразу все умолкало, и она вдруг ощущала мягкую, теплую пустоту, а тело вдруг растаяло и стало стекать вниз. На голову и на спину мягко упала горячая простыня, и руки фельдшерицы ласково скользнули по спине и по рукам и тихонько подтолкнули вперед. Маруся обернулась к ней, и сердце у нее дрогнуло от нежности к этой усталой женщине с глазами старушки.

— Товарищ, можно вас поцеловать?

И впервые она увидела в глазах фельдшерицы изумленную вспышку. Щеки у нее вздрогнули от улыбки и вдруг на них затрепетали ямочки.

— Ну, вот еще... что за нежности?

— Мне хочется. Я вас очень люблю.

— Почему это? Вы же меня совсем не знаете. А впрочем, спасибо...

И сама первая наклонилась к ней и обняла мокрыми руками. Маруся крепко чмокнула ее в губы и засмеялась. Засмеялась и фельдшерица, и Маруся увидела, как глаза ее заиграли слезами и стали совсем молодыми и яркими, как у девочки.

VI

Как обычно, длинные столы, горящие серебристыми скатертями и рядами глянцевых тарелок под матовыми электрическими полушариями, кишели людьми, и они по-галчиному непоседливо ворошились, хороводно кричали и смеялись. И в туманной белизне стен, с пальмами и цветами в разных местах, столовая была похожа на ресторан, где справляется многолюдный банкет. Так и казалось, что сейчас вот встанет кто-нибудь из гущи этого человеческого месива, поднимет бокал и заговорит певуче и торжественно. Но не было чопорных официантов, не было той хмельной развязности, которая свойственна ресторанной толпе. Вместо официантов мягко и зыбко скользили вдоль столов „няни“ в белых изоляционных халатах и, молча, с ласковой покорностью разносили в огромных блюдах отваренную рыбу с картофелем.

Мордых злыми глазами жадно смотрел на нянь, и багровое щербатое лицо его подергивалось судорогой. А няни, как нарочно, проходили с блюдами мимо стола, и казалось, что стол, за которым сидел Мордых, они забыли, и что помнят они и видят только вон тех

барынь, которые строят глазки бритоголовым ответработникам, и вон тех интеллигентов с серебристой щетиной на голове, которые едят плавно, неторопливо, с чистоплотным изяществом. Вот, и за их столом стараются подать прежде всего не Мордых, а другим — более видимым людям, похожим на новую буржуазию.

Маруся всегда неотрывно наблюдала эту нервную игру на жухлом рабочем лице Мордых и без ошибки читала его колючие мысли.

Где-то далеко горласто спорила Чайкина, и голос ее был жесткий, злой и непримиримый.

Говорил Акатуев очень близко, Маруся ощущала, как струною дрожал стул под нею от его нутряного баса.

— Социалистическое строительство требует, товарищ Мазин, не только осторожности, осмотрительности, мелочной бережливости и педантизма, но и другого важнейшего условия—энтузиазма, пламенной веры, героизма—того пафоса, который насыщал эпоху гражданской войны. К сожалению, этого пафоса я не вижу сейчас среди наших масс и вождей.

Мазин вдруг вырос на стуле, и в глазах его вспыхнуло изумление и протест.

— Это — неверно, товарищ Акатуев. Это — совершенно нелепо. Вы — старый революционер и опытный хозяйственник, а этого не видите. Как вы можете отрицать огромную сознательность масс и их пыл хотя бы в проведении в жизнь режима экономии. А их активность в производственных совещаниях, в изобретательстве, в кооперации и т. д.?

По лицу Акатуева неуловимой тенью прошла затаенная улыбка.

— Вы говорите о другом, товарищ Мазин. Мы слишком сейчас утонули в буднях, в кропотливой деловитости. А это обстоятельство гасит внутренний огонь. Энтузиазм питается не поденной работой, а конкретными и волнующими образами будущего. А мы живем сейчас только буднями, а будни превратились в утомительную, серую трудовую повинность. Мы сейчас больше интересуемся трудовыми расценками, заработной платой и собственным гнездом. Откуда эти прогулы, пьянство, уличный мордобой, хулиганство, наплевательство и аполитизм? Угасла революционная мечта и романтика.

— Это неверно, товарищ Акатуев. Вы же не можете отрицать того под'ема масс, который был проявлен в борьбе с оппозицией.

— Неубедительное доказательство, товарищ Мазин. Я бы, в свою очередь, мог спросить вас: отрицаете ли вы наличие всеобщей массовой усталости? Чем объяснить огромное число нервных больных и опять—то же пьянство, прогулы, хулиганство и мещанское обростание? Вы еще очень юный человек, а откуда у вас эти судороги плеч и головы?

Мазин вдруг с'ежился, осовело поглядел на него и ослеп. В сердце Маруси заняла жалость к Мазину. Он стал ей еще ближе и роднее, и ей хотелось защитить его и увидеть обычную его маль-

чишечью улыбку. Но то, что говорил Акатуев, казалось ей непроверяемым: он давил ее, был огромен в своем опыте и дышал какой-то особой силой, которая угнетала его самого. Изнемогая от порыва к борьбе, она побледнела и откинулась на спинку стула.

— Чепуха, товарищ Акатуев. Я решительно протестую. Мечта и энтузиазм есть.

— У кого?

Акатуев не обернулся к ней, и в улыбке скосил в ее сторону глаза.

— У меня.

Справа засмеялась Софья Петровна, и этот смех был, как у матери, которая забавляется ребенком, вообразившим себя взрослым.

Акатуев быстро повернул к ней свое лицо, и оно загорелось юношеской сочной радостью.

— Я это знаю. Вы—вся в мечте и полете, Маруся. Против вас я не имею оружия.

Маруся уже чувствовала, что внутри у нее—бунт, и сердце не успевает бороться с кровью.

— Да, да. Есть и мечты и энтузиазм. Не только у меня, но и у всей молодежи. Возьмите Яшу Мазина. В нем столько огня и веры, что он зажжет многих, подобных вам. Вот.

Мазин не глядел ни на кого и сидел разбитый, больной, серый, судорожно дергаясь головой и плечами.

А Софья Петровна вдруг строго и учительно погладила ее по плечу.

— Ну, насчет молодежи ты, Марусенька, лучше помолчи. Слишком большую ответственность берешь на себя.

Маруся зло отмахнулась от нее и вытянулась в струну.

— Я привыкла отвечать не только за себя, но и за всех. Я знаю молодежь и горжусь ею. Вот.

Акатуев весело, совсем молодо, засмеялся и захопал в ладоши.

— Браво, Маруся. Я совсем обезоружен. Совершенно серьезно. Верно, я не знаю молодежи. Я вообще мало знаю массы. Мы, ответработники, отгорожены от масс непроницаемыми стенами. В этом—наша трагедия.

Неожиданно барабанно задрезжал хохоток Мордых. Все в недоумении притихли.

— Вот, вот. Так, так. Вожди! Вот у меня где сидят эти генералы. Власть! Вот ты приехал сюда—бурхан бурханом, и несет от тебя этим державным духом от самых дверей. И сопатка у тебя—холеная, надушенная, такая благородная, и постав—барский, хоть мундир напяливай. А я вот три года бился, чтобы послали—полечиться: мне места нет, а наши заводские вожди по два раза в год прохлаждаются. А как начал в рожи тыкать—сейчас: склочник, бузотер, махновец...

Акатуев невозмутимо и ясно посмотрел на него в упор и сказал просто и спокойно:

— Да, я тоже думаю, что ты—бузотер, товарищ Мордых. Бузотер и махновец.

Мордых подпрыгнул над стулом и весь нацелился на Акатуева—прищурился, оскалил зубы и изуродовал лицо смешливой гримасой.

— Это я—бузотер? я? И ты смеешь мне говорить—рабочему человеку? И ты позволяешь себе плевать в харю мне, пролетарию? Ах, ты бородавка!

Софья Петровна уставилась на него широко раскрытыми глазами, и потом поднялась со стула и мягко отшатнулась.

— Я не могу больше, товарищ Мордых. Нет сил терпеть. Мне больно, как ты себя унижаешь.

Мордых в испуге подавился криком и растерянно цеплялся за нее взглядом. Сел и стал озираться, как затравленный.

— Молчок, Петровна,—шабаш! Нутро болит, Петровна. Нынче утром такой губошлеп на меня руку поднял. Как же мне теперь после этого?.. Война у меня с этими генералами, Петровна. Режь меня, жги меня, а воевать буду. На всю жизнь. Садись, Петровна.

Она опять села на стул и вздохнула:

— Не дают нам что-то покушать.

Мордых опять вскочил со стула, тогда его подтолкнули в ребро.

— Эй, вы, шилохвостки! Волоки сюда эти самые блюда. Это холуйство ваше перед ответработниками и ихними барышнешками я живо выбью с пухом и брызгами. Подавай сюда. Подавай сию же минуту.

— Товарищ Мордых, ты меня окончательно прогонишь из-за стола. Прямо мочи нет. Что-то уж ты разоряешься сегодня. Нехорошо, голубчик.

— Петровна, мамаша! Прямо загоняют в хомут нашего брата. Что же это такое? Как же мне не бунтовать? За что же боролись, Петровна?

Маруся не могла больше сдерживаться. Она закинула назад голову и громко, на весь зал, залихватно захохотала.

Мазин угрюмо бычился, а когда засмеялась Маруся, посмотрел в глубину залы тупым, жестким взглядом.

— Я—на стороне Мордых. Он—прав. Если бы рабочий не защищал своих прав, ему бы давно сели на шею. Если говорить о привилегиях, то всеми привилегиями должен пользоваться среди нас только Мордых.

Акатуев затаенно улыбался. А Маруся непоседливо скрипела стулом и смеялась.

— Почему—один Мордых? Ничего подобного. Я не выношу привилегий и буду бунтовать. Что это за новоявленный барин такой? Я тоже требую привилегий...

Няни подошли с блюдами к столу и с молчаливой услужливостью стали по краям стола—одна с одного конца, другая—с другого.

— Давай сюда.

Мордых зазвякал ножом о тарелку, и лицо его исказилось гневом.

— Давай сюда... Мне!

Няня кротко взглянула на него и сказала ласково:

— И до вас дойдет очередь, товарищ Мордых. Всем хватит.

— Что? К чортовой матери очереди! Я знаю вашу очередь. Вас тянет туда, где духами пахнет. Давай сюда!

Няня покорно подняла блюдо и пошла к Мордых.

— Стойте!

В сердце Маруси играла озорная кровь. Все за столом были подавлены криками Мордых, а ей было вѣсело. Хотелось выкинуть какое-то неожиданное коленце на зло Мордых и сделать больно и ему и Мазину. Она чувствовала, что ею любуются Акатуев: от него исходила какая-то странная сила, которая поднимала ее, как волны, и впервые она жутко испытывала, что она связана с ним, и эта сила поглощает ее без остатка. А Софья Петровна была тревожна—ждала неизбежного скандала и все теребила Марусю за платье.

— Ах, сядь ты, чечотка! Что за сумасшедший дом...

— Стойте! Не ломайте очереди. Я не допущу. Мордых и Мазину—после всех. Это—азаньки. К чорту—самодуров. Подумаешь—какие чванливые хозяева!..

Софья Петровна молча и деловито взяла блюдо из рук няни, поставила его на стол и строго крикнула с необычной твердостью:

— Ешьте! Теперь некому ухаживать—берите сами.

Мордых совсем неожиданно радостно задрезжал воробьиным хохотком и ударил ладонями о стол.

— Петровна! Мамаша милая! Цены тебе нет... Ведь вот кто ты—незаменимая ты женщина... не проживем мы без тебя, ни в какую...

Маруся села и почувствовала, как рука Акатуева любовно пожала ее локоть. И от этого прикосновения его руки через ее сердце прошла глубокая поющая волна.

VII

После ужина одни уходили в кино, другие—бродить по берегу моря в приморский сад, а те, кто оставался в санатории, заполняли обе комнаты отдыха на втором и третьем этаже.

В одной комнате рассаживались за столиками и играли в карты, в шахматы, в шашки, в домино. В другой, где стояло пианино, сбивались в густую, потную гущу и орали песни. Открытые окна, горящие густым светом, долго ревели хороводными голосами под яростный гром пианино, и горласто сметали в саду и на берегу сумеречную лазоревую тишину, влажно и устало плывущую с моря.

Маруся бродила по этажам одна, и ее одиночество, такое необычное и странное, ныло в сердце слезами и болью. Впервые за эти дни она вдруг почувствовала, что она стала маленькая, беспомощная, оторванная от всех, и где-то внутри отравной мутью дымилась тоска. Софья Петровна, как обычно, сидела на балконе и покоила свои

больные ноги, и ее одиночество было для нее желанным и прекрасным. Она сама охраняла его привередливо и сурово: садилась в плетеное кресло, окутывала ноги одеялом и оглядывалась назад и по сторонам с подозрительной боязливостью — нет ли кого рядом с нею. И если в палате была Маруся, она кричала с капризным нетерпением:

— Марусенька, улетай, голубка, подальше — не мешай мне, родная.

А теперь Маруся даже не заходила в свою палату и, выбиваясь из сил, искала кого-то близкого, дорогого, без кого жизнь ее теряла в эту минуту всякое содержание. Наверху орала надсадно толпа: и мужские и женские голоса изо всех сил выли надоедненькие „Кирпичики“, и пустоты коридоров и лестниц невыносимо грохотали сумасшедшим хохотом и плачем.

Она отворила дверь и, оглохшая, смятая толпою, ослепшей и одержимой собственным ревом, с отчаянием увидела бесконечно чужих людей, которым нет до нее никакого дела. А в комнате, где [сутуло прилипали к столикам игроки, тоже все были слепые, и в душной тишине и самозабвении люди слушали только сами себя, щелканье костей и шелест карт.

В вестибюле по-собачьи лаяли и визжали люди, и стулья трубили и падали в предчувствии скандала. Маруся кубарем скатилась вниз и с замирающим сердцем утонула в толпе, с горящими головами от ослепительного электрического света.

У мраморного, льдисто-белого круглого стола сидел человек в матроске, похожий на цыгана, с угластыми глянцевыми шишками на скулах, с клочковатыми вихрами, грязными и маслянистыми от пота. Выпучив белки, наглые и безумно-пьяные, он стучал кулаком по столу и лез на него грудью, раздувая ноздри.

— Мы, брат, этих мерзавцев-интеллигентиков быстро пришивали в строчку. Я не буду за ним ухаживать, как за цацей. Мне подай его сюда сию минуту: я ему покажу, где раки зимуют. Я их целыми пачками отправлял, как падаль, рыбам на жратву. Они еще долго будут помнить братишек-матросов, вольных корсаров. Подавай сюда зава, этого подлого докторишку — я живо поставлю ему шах королю. Я — больной человек — у меня нервная горячка. Мне еще никакая сволочь не смела вставить пробку и сказать — туба. Против меня, героя и стрелка, еще никто [не стоял. Я с 18-го года привык командовать и упорно бить рожи золотопогонщикам и интеллигентам.

Он выпученными [красными глазами уставился на Мордых и, надувая жилы на шее, опять стукнул кулаком по столу.

— Мурло, облезлый барбос, тащи ко мне его, мерзавца-докторишку, — я ему рожу буду увечить! Я покажу ему, какой я есть герой-вояка и храбрый браконьер. Он хорошо помнит меня по прошлым годам — матроса-братишку Ромаря..

Мордых смешливо морщил жухлое лицо, и зеленые его глазки остро кололи матроса. Был он устало спокоен и неподвижно стоял против матроса, уютно сложив руки на груди.

— Братишка, гляжу я вот на твою личность и вижу тебя наскрозь: бродяга ты и живодер. Разложить бы тебя, шарлатана, спустить штаны и выпороть, как сидорову козу. Что ты здесь разоряешься на три копейки? Командир! и без тебя, голова, много командиров и генералов.

Матрос с грохотом отбросил стул и вскочил на ноги. Мускулистый, налитый силой и звериной кровью, он с зловещей угрозой пристально прилип кровавыми глазами к Мордых, и пальцы его, до белизны сломавшиеся в суставах, защелкали в хрящах от тяжести его тела.

— Меня? Чортово мурло, — меня? Я тебя изувечу, чахлая обезьяна, и выброшу собакам. Меня еще никакая сила не брала за горло и никакая власть не смела перебить мне позвонки.

Он ловко, как фокусник, выхватил откуда-то кинжал и блеснул им в широком взмахе над головами толпы. Люди густо отхлынули в стороны и расширили круглую пустоту около стола.

— Вво, видал, чем мы выпускаем кишки, га-га-га!..

Мордых попрежнему стоял неподвижно, сложив руки на груди, и комкал лицо смешливыми морщинами.

— Дурак! Хулиган ты, бродяга! Оболтус ты и дармоед!

Произошло это внезапно и тихо, и многие даже не поняли, что случилось. А Маруся видела, как Акатуев спокойно шагнул сзади к матросу, широким взмахом левой руки схватил за горло, а правой — за руку с кинжалом и круто вывернул ее за спину. Матрос с хрипом упал ему на грудь, и лицо его ослепло и налилось кровью. Акатуев тихо, почти буднично, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Возьмите кинжал.

Все застыли в паническом молчании и никто не шевельнулся, прикованные страхом.

Маруся подпрыгнула к матросу и дрожащими руками взяла кинжал. Сгоряча она даже не заметила, что кинжал выскользнул из руки матроса сам собою, и не удивилась этому. Она юркнула в толпу и, не сознавая, что делает, села на кресло около лестницы, у колонны, и стала с тревогой и любопытством рассматривать блестящий металл.

Широкими шагами прошел мимо старший врач во френче с круглой большой головой без шеи. Как и всегда, она падала у него к правому плечу, точно когда-то оглушительно дал ему кто-то по уху.

— Эти летуны достаточно нам надоели. Они терроризируют все санатории Союза.

Матроса связали, положили на пол, а он корчился, храпел и выл осатанелый мат.

С улицы в открытые двери из дымно-фиолетовой тьмы вошли трое милиционеров.

После процедур Яша до ужина ходил по городу. Был в райкоме комсомола и долго говорил с товарищами о культурботе, об участии

молодежи в кампании по проведению режима экономии, по снижению цен, по работе в деревне и кооперации. В комнате бездельно толпились парни и девчата, орали, взрывно хохотали, утопали в табачном дыму и глушили беседу. Член бюро, похожий на южного татарина, рыхло сидел за столом и смотрел на него быком, нелюдимо, со скрытой настороженной мыслью. Много залетает сюда всяких стригачей, и все они смахивают один на другого: держат себя, как непрошенные ревизоры, наводят критику и кичатся собственными достижениями. С ними он привык быть глухим и тусклым. Развалившись на стуле, сидела у стола стриженная девчонка, курила и сердито мерила Яшу с ног до головы. Ядовито дергала губами и переглядывалась с парнем насмешливо и понимающе. Раза два она недружелюбно била Яшу злыми словами:

— Нам некогда, товарищ, заниматься пустыми разговорами.

Или:

— Вы бездельничаете в санатории и от дикой скуки приходите сюда поточить лясы. Возьмите и впрягитесь лучше в нашу работу...

Он ушел из райкома под насмешливые взгляды этих товарищей и чувствовал себя неловко и глупо.

Потом был на военных судах, у военморов. Там приняли его шумно, бодро, по-товарищески просто. Все время он был в густой толпе матросов-комсомольцев, которые водили его по всем закоулкам корабля — показывали машины, пушки, минометы. Вместе с ними пообедал за общим столом, и ему было хорошо и весело. Провел с ними политчас, а потом долго упражнялся физкультурой. И эти здоровые, загорелые ребята с морскими глазами, заразили его своей кровью, и ему страшно захотелось остаться с ними и напялить на голову их бескозырку.

За ужином он опять почувствовал себя плохо. В Марусе он увидел что то новое и обидное. Ему было больно, что она теряет себя — пьянеет от близости Акатуева, и он чувствовал, что между ними, Яшей, и ею — рвется какая-то дорогая струна и кровью обжигает сердце. Этот Акатуев встал между ними тяжелой глыбой, навалился на них и раздавил своей машиной. И впервые он, Яша, одурманился мутной ненавистью к этому человеку. Ах, Маруська, Маруська! неужели ты такая же, как все девчата, которые слюняво присасываются к самцам? Ах, Марусенция, где же твои родные глаза, в которых играет родник в солнечный день?

Одинокий, грустный, он вышел в вестибюль, и ему было противно смотреть на диваны, где елозили парочки и лапались, похотливо и бесстыдно. Ему даже почудилось, что от них воняет терпким запахом пота. Он прошел в курилку и сразу же обалдел от густого, грязного, удушливого дыма. Люди толпились в горластой, ералашной свалке, хохоте и невыговорном мате. В этом дурманном тумане все люди были однолики, бледны, только глаза их блестели от возбужде-

ния. Некоторые из них замкнуто, молчаливо, безучастно бродили в гуще тел и были чужие здесь, глухие, занятые своими мыслями. И в этом сплошном горлане и хохоте было то же, что и — в вестибюле, в коридорах и комнатах отдыха, но там это бесстыдство было скрыто в углах, в полушопотах, в обособленных парочках. Здесь же, в этой закрытой комнате, отравленной едучим дымом, люди распоясывались и неудержимо барахтались в сумасшедшей оголенности. И Майзин с омерзением чувствовал, что он задыхается, и кровь его густеет от какой-то тягучей слизи.

Где-то рядом рассказывали анекдоты и ревели от хохота.

Яша бессильно боролся со спазмами в горле: чувствовал — пройдет еще мгновение — бросится он на этих людей с кулаками и будет бить их в остервенении.

Он не помнил, как это случилось. Он напирал на стол, будо-ражно буйнил с оскаленными зубами.

— Я не допущу этого безобразия... Это — мерзость... Вы — гнусы, а не граждане Советской России... Я поставлю это на общее собрание...

Потом запомнил, что кто-то держал его за руки, кто-то вцепился в шею и с хохотом толкал к двери.

...На улице Маруся сразу утонула в сиреневой вечерней тишине, и эта густая тишина была иная, чем дома, в степных просторах: она не ложилась на землю вечерней придорожной пылью, не темнела на заре далекими перелесками, не баюкала хмельным запахом зеленых ржей и дряблым кряканьем дергача. Эта тишина была живая, глубокая, волнующая невнятной музыкой, которой Маруся не знала никогда.

Невиданным огнем горело небо, и зеркальным перламутром дышало море. А воздух был густой, прозрачный, огненно-фиолетовый, в пряных запахах моллюсков, водорослей и остывающей каменной гари. Прямо, на западе, на огненной лазури, город на горе громоздился до самого неба, и груды домов в террасах и сбросах, в бесчисленных крышах и острых углах дымились пеплом, а наверху четко резались развалинами, башнями и острыми карнизами. Налево, в глубине залива, похожего на широкую реку, в черных и рыжих струях, портовое и железнодорожное предместье, засеянное мерцающими созвездиями огней, туманилось призрачными дворцами, о которых она читала в стареньких книжках, когда была маленькой девочкой.

Она остановилась на углу здания, и перед ней распахнулось небо и море, и было непонятно, где зыбилось море и где горело небо — будто и моря и неба не было, а густо и жирно струился воздух радужным внутренним мерцанием. Прямо, на том берегу, вспыхивал зеленым и оранжевым огнем маяк и играл разноцветными ручьями в воде. Недалеко от берега плыла лодка с двумя черными силуэтами.

Весла хлюпали в уключинах, и всплески их звенели и шлепали очень отчетливо и близко. Все было воздушно: и горы вдали, похожие на пепельные облака, и близкие прибрежные холмы на этой стороне залива, и эта голубая колоннада на пристани, как сказочные пропилеи, и она сама, Маруся, пернатая, невесомая, как чайка. Пролетел где-то рядом, свистя крыльями, баклан, и Маруся, слушая полет, взглянула почему-то на небо. Стонал на рейде маяк-ревун, а далеко и близко, на кораблях, спрятанных в сумерках, отбивали склянки.

Площадь была пустынна, и черный памятник посредине стоял огромной жуткой тенью. А за памятником, портал морского клуба расточительно пламенел электричеством. Ресницами дрожали всюду по городу оранжевые огни. И от того, что Маруся была одна, и тишина была такая зыбкая, воздушная, поющая морем и небом, вздыхающая глубокими земными вздохами, — Марусе было хорошо, спокойно и грустно. И опять, как утром, сердце ее распахнулось этим лиловым просторам и опять чувствовала она всем существом, что жизнь хороша и чудесна, что в жизни ничего нет, кроме радости, счастья и молодости. И в этом мире, среди бесконечного ряда жизней, она, Маруся, одна из тех огненных пылинок, которая горит не напрасно, и ей тоже предназначен свой путь, полный глубокого волнующего смысла.

Ласковая рука сжала ей предплечье. Она не испугалась и не удивилась. Чувствовала, что обязательно сейчас подойдет к ней кто-то родной и близкий и прижмется к ней тепло и нежно. Она обернулась и встретилась с взволнованной улыбкой Яши Мазина.

— Под волшебной властью природы Марусенция мечтает о воздушных замках, где царствует прекрасная любовь. Пойдем в сад и послушаем, о чем поют волны.

Не оглянувшись и ничего не сказала, будто не чувствовала близости Яши и не слышала его слов. Мазин робко и тепло прижался к ее плечу.

— Да, чорт подери, это — верно. Природа здорово дает себя знать. Она убивает волю и превращает человека в бездельника и лирика... Это — наш беспощадный и самый страшный враг: он нас убивает своей красотой и личиной тайны. С ним надо бороться огнем и железом. Мы строим социализм — освобождаем человека от власти природы и из природы делаем паровозы и электростанции.

Он прижимал к себе ее руку, и она чувствовала, как теплота его крови переливается в нее, а он ощущал, как под пальцами движутся ее горячие ребрышки.

Они прошли по широкой аллее к берегу и стали у баллюстрады из серого гранита.

Море густой пучиной наливалось между ними и далекими холмами на той стороне и было жирно, как масло. Медленно и устало, без всплесков и гребней, огромными полукругами по всему размаху залива шла упругая зыбь. Далеко к горизонту море было миражно-

воздушное, небесно-пустынное, а там, в горных ковшах, — дымно-лиловое, мутно-зеркальное, в черных и рыжих пленках, призрачно летающих по поверхности.

Чихая и захлебываясь, вздыбленный на носу, поднимаясь и опускаясь на зыби, живой и ходкий, бежал катер на ту сторону. Три голоса тихо и задушевно пели грустную песню. И от этой песни Марусе хотелось молчать и смотреть на волны, которые прозрачно накатывались на прибрежные камни и разрывались со звоном и пеной. Голоса широко и свободно взлетели высоко, сразу вдруг оборвались и разлетелись молодым смехом. И от этого Маруся глубоко вздохнула и посмотрела на небо. Оно тоже было густое, как нефть.

— Сегодня я был у военморов. Наша комсомольская братва. Осматривал машины и пушки. Боевые ребята, и кровь у них насыщена солнцем. И такой мне душевной и бесцветной показалась наша работа в учреждениях и организациях, запертых в душных коробках, что я чуть не умер от тоски: как-никак, а придется возвращаться домой и впрягаться в работу.

— То-то ты пропадал целый день. Почему не взял меня с собою? Я злилась на тебя до чортиков.

Мазин усмехнулся и пожал плечами.

— Ты была занята.

— Это еще что за новости?

Яша смотрел на море и не мог сдержать своего волнения.

— Как тебе нравится товарищ Акатуев?

Вот. Маруся всем нутром почувствовала, что в этих словах — Яшина боль. Глупый Яша, он не знает, как она любит его и как он сейчас дорог и близок. Ей хотелось шалить с ним и мучить его своею любовью.

— Ах, Яша, если бы ты знал, какой он умница! В нем — какая-то огромная сила, и я не могу бороться против нее. Я не знаю, что происходит со мною.

— Ну, конечно. Все бабы таковы: грубая сила для них — все.

Маруся строго наморщила брови и сурово крикнула:

— Ну, не балди, пожалуйста.

А он прижимал ее крепко, до боли.

— Чорт знает, откуда это, Марусенция... Я впервые в жизни испытываю, что любовь к девчонке не ерунда. Бывают же неожиданности! Ведь до сих пор все девчонки казались мне марафетками, а работа с ними — кукольной комедией. А ты вот меня сбила с панталыку, и без тебя я брожу, как вареный дурак.

Горячим наплеском захлестнула Марусю огромная волна, и она с криком восторга и наслаждения ухнула в ее глубину. Вся в бесильном порыве, она выросла в него всем телом и на мгновение замерла у него на груди.

Позади, за их плечами, по-жеребьячи заржала толпа. Трое комсомольцев, которые донимали Марусю сегодня, стояли около них,

глубоко засунув руки в карманы брюк, рычали от хохота, подражая дерущимся лошадям. Начиная один, подхватывал другой, третий. Видно было, что они издевались и старались вызвать скандал.

Мазин побледнел, осунулся, и голова его начала дрожать судорожно и часто.

— Ребята, бросьте хулиганить!..

Маруся сначала испуганно и робко спряталась за спину Яши. В первое мгновение ей почудилось, что парни бросятся на них, сшибут с ног и будут бить их с остервенением громил. Но они стояли твердо и вызывающе, широко расставив ноги. И только орали и уродовали лица наглыми гримасами озорников. Парень в клетчатой кепке, большеротый, с крупными зубами, с бронзовой грудью, деловито командовал:

— Ну-ка, отшивайся, Мазин! Левое плечо вперед! Попользовался и — хватит. Теперь — наша очередь. Ребра поломаем. Мазин, шагай!

Маруся ощутила холодную дурноту в сердце и животе. Впервые она ослабела от какой-то тошнотной истомы. Она не могла пошевелиться — не могла ни шагнуть, ни поднять головы, ни крикнуть. Точно ее кто-то ударил по голове, и она оглохла, и очумела от страха. В голове не было ничего, кроме мутной пустоты, и в этой пустоте пищал и бился по-птичьему младенческий крик о помощи. Ждала: пройдет еще одно мгновение — и совершится что-то ужасное, нелепое, непоправимое, и она погибнет, растоптанная в грязи. Чувствовала около себя Мазина — вздрагивающего и ослабшего, и бессознательно прижималась к нему, как беззащитный ребенок. И как сквозь сон, слышала его рваный голос.

— Вот что, друзья. Я этого не оставлю. Таких мерзавцев надо немедленно вышвырнуть из санатория. Я сейчас же соберу партийцев, и мы сумеем вас обезвредить.

Опять — лошадиный хохот, и голос Мазина был жалким и трусливым.

— Бей его, ребята!.. Считай ему ребра, отламывай жабры!.. Бери его на бокс!..

Сквозь деревья Маруся увидела огонь в ослепительных ресничках. Этот огонек — на втором этаже, в комнате отдыха. А рядом четко и стройно взлетела к небу упругая мачта радиотелеграфа. И как только она увидела эту мачту и огонек в окне, она сразу же пришла в себя, и ноги ее твердо стали на место. Уже не было страха, а сердце бурно рванулось злобной силой. Она взмахнула руками и, вся в одном порыве, бросилась вперед.

— Ах, вы, мерзавцы! Шелопаи! Я вам морды побью, сволочи!

С искаженным лицом, с неиспытанной силой летела, как птица, и будто не руки у нея были, а крылья.

Внезапно она почувствовала, что около нее была пустота, и ни парней, ни Мазина не было. Она стояла посередине аллеи. Мачта и огонек исчезли, а недалеко, расплываясь в сумерках, шоркали ногами

три смутные фигуры, хохотали и дурашливо выкрикивали невнятные призывы.

Ее подхватила рука Мазина, и ласковый его голос опять мягко коснулся души.

— Маруся... не надо... не обращай внимания на идиотов.. Я еще с ними буду иметь разговор... Успокойся...

И вел ее, прижимая к себе ласково и сильно.

(Окончание следует)

Н о ч ь

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕНКО

Ни из'яна в небе, ни урона.
Млечный путь прозрачен и высок,
И гигантский Пояс Ориона—
Как девичий узкий поясок.
Мирный Овен и Дракон свирепый,
Процион и желтый Алтаир
В эту ночь, как золотые скрепы,
С двух концов поддерживают мир.
Ночь колышет черными крылами,
Звезды спят, как пастухи пустынь,
А вверху, над звездами, над нами,
Мир глубок, неисчислим и синь.

Песенка

ПАВЕЛ ДРУЖИНИН

Огневые зори,
Голубые дали
Душу разбудили
И зачаровали.

В голове мужицкой
Закипела дума,
Захотелось песен,
Захотелось шума.

Все, что пережито
Долгими годами,
Людям не расскажешь
Звонкими стихами.

Но в душе так много
Боли накопилось,
Что сама невольно
Песенка сложилась.

Огневые зори,
Голубые дали,
Унесите дальше
Прежние печали.

Буйнокрылый ветер,
Размечи по полю
Мужика-поэта
Серенькую долю.

Пусть тяжелым камнем
Канут на дно моря
Прежние невзгоды
Да былое горе.

Пусть сверкают ярче
Думы молодые,
Как на небе зори,
Зори огневые!

П у т ь

МАРК ТАРЛОВСКИЙ

Путь и путь и путь
без конца...

О, ночная жуть
бубенца,

Топот по путям
от копыт,

Волк-от по пятам,
следопыт!

Полевая пыль
улеглась,

Ямщикова быль,
с козел слазы!

Русь уже не та—
поезда!—

Ни тебе кнута,
ни хвоста.

Поезда в пути
на мази,

Только знай гуди—
тормози!

Я на койке спал—
не слышал—

Много тысяч шпал
отмахал.

Ночью за окном
голоса—

Путь охвачен сном
полчаса,

Где-то крик—«беги,
с кипятком!»,

Да внизу шаги
с молотком...

А потом опять—
толкотня,

Можно снова спать
до полдня—

Буфера вперед
и назад,

И в окно плывет
палисад,—

Водокачка, дом,
огород.

Сонным чередом—
и вперед!

От версты наш путь
до версты,

Тошнота и муть
от езды.

Если волки нас
не страшат,

Злые сны сейчас
сторожат:

Может быть, за тьмой
уж давно

Бедный поезд мой
ждет бревно,

Или гладкий стык
пилит вор,

Или мрак настиг
семафор...

Мутный сон и дрожь
и гудок—

И стремится рожь
на восток,

И томится путь
без конца

За ночную жуть
бубенца...



Гора

Рассказ

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Автомобиль, уже покрытый белой крымской пылью, вынес нас из Ялты. Узкое шоссе—настолько узкое, что на нем трудно было раз'ехаться двум машинам—круто свернуло влево назад и, не успев как следует выправиться, бросилось снова вправо вперед, неуклонно восходя в гору. Погода была сомнительна. Утром в горах шел дождь. Водопад Учан-Су, еще вчера казавшийся издали сухой, светлой трещиной среди беспокойного нагромождения камня, теперь падал и тек и снова падал и тянул каңительную сказку о том, что, мол, по усам текло, а в рот не попало. Высокий уровень серого моря по мере нашего под'ема не только не падал, но, наоборот—все повышался, отмечая свою высоту на кривой горного склона белыми зазубринами верхнего и нижнего шоссе.

За под'емом последовал такой же крутой, извилистый спуск; затем снова под'ем. Справа, слева, сзади передвигались, меняя топографию, горбы, плоскогорья и долины, кудряво-поросшие кустарником, густо напудренным вблизи шоссе меловой пылью. Впереди поднимался горный хребет, весь в мелкой мерлушке растительности. Мы должны были его преодолеть.

Иногда дорога подходила вплотную к круглому боку горы и, огибая его, шла в свисте свисающей сверху лозы, в полете слабой тени, в мельканьи точильного камня, в то время, как под правыми колесами машины плыла, падая глубоко вниз, как в обморок, кудрявая пустота насыщенной синевой котловины. Там белели игрушечные улицы, кипарисики и дома Ялты; на рейде качались сложившие оружие яхты; серый мол лежал поперек моря; подошва горы отражалась почти черной зеленью под сваями поплавков; вокруг маяка в воздухе плавали чайки, и короткая радуга перпендикулярно висела, как арбузная корка, выше земли и ниже горы, упираясь бенгальским зелено-бело-красным дымом в плоскую крышу дворца эмира бухарского.

До Ливадии мимо нас пронеслось назад множество встречных и поперечных машин. Они возникали вдруг, из-за резких поворотов, каменели на какую-то часть секунды рядом с нами во всех своих по-

дробностях и, отброшенные назад, туманно отставали в облаке оставленного нами чада. Нас не обогнал никто.

Море синело на ветру. Ветер рвал шляпу. Мне пришлось ее снять и положить в ноги. Жаркий воздух радиатора подхватил волосы, высушил их мгновенно, вздул, распушил, поднял дыбом. Вздернутая движением моя голова, казалось, висела на летящих волосах, как на парашюте. Укрывшись от ветра за спиной шофера, мне удалось, ломая спички, зажечь папиросу, но она с быстротой порохового шнура сгорела до тла и взорвалась, прежде чем я успел дважды затянуться. Я бросил опустошенный окурочок на ветер и не успел рассмотреть, что с ним стало; возможно, что он сделался спутником земли и остался туманно висеть за поворотом, над неподвижными рогами волов, запряженных в длинную татарскую мажару с круглым полотняным верхом, возле вделанной в стену львиной головы, из пасти которой вытекала в раковину неподвижная вода. Потом пошел лес. Стволы сосен закрутились за передними стеклами машины, как карандаши, циркулирующие за прилавком писчебумажного магазина. Кочковатая дорога, пересеченная корнями, то и дело, казалось, заходила в тупик чащи, из которой нет выхода. Однако как-то так все обходилось и, повернув в неожиданную сторону, она выносила нас вдруг ярусом выше, поверх вершины, ранее казавшейся непревзойдимой. Все более и более ярчавшее море шло в голову с нами, не опускаясь, и катер, огибающий Ай-Тодор, уже казался заводной мухой, ползущей по самому извилистому носу мыса. Море было необыкновенно велико. Даже небо в сравнении с ним бледнело, переливаясь через горный хребет холодным дымом зависти, и падало, как пульс.

Воздух, чем выше, тем становился туманнее, ветреннее и холоднее, в то время, как внизу, там, куда еще не дошла синяя тень Ай-Петри, подробно горели теплые краски крымского послеобеда. Туман обстигал нас со всех сторон. В последний раз я увидел внизу прекрасную зелено-синюю панораму южного берега Крыма, обнаженную высотой, по крайней мере, на семьдесят километров. Теперь вдоль моря одновременно были видны и Алупка, и Массандра, и Ялта, и Никитский сад, и Гурзуф со своей знаменитой горой Медведь, которая отсюда казалась не больше маленькой ушастой мышки, лакающей из блюдца голубовато-морщинистое молоко залива. Холодный воздух посвистывал в ушах, обдавая резким запахом папоротника и шишек. Туман хлынул и скрыл от глаз все то, что осталось сзади внизу. Спереди вверху на некоторое время появился скалистый зуб Ай-Петри. В грифельных его трещинах и пломбах гнездились карликовые сосны и коралловый дубняк. Подъем, вырубленный в скалах, стал более диким и пологим. Мотор затараторил среди сыплющегося градом эхо. Исхлестанные ветром щеки горели напропалую, как рябина, и студеный туман не в силах был потушить их трезвого жара.

Шерстяное автомобильное пальто, казавшееся внизу неуместно теплым, потеряло теплоту и вес. Воздух проникал в легкие рукава

и вздувал их пузырями. Я туго затянул на запястьях ремешки рукавов и пожалел о перчатках.

— Последний поворот,—сказал шофер, и дорога круто поворотилась под давлением его тяжелых больших перчаток с раструбами, спокойно лежащих на рулевом колесе. Он нажал подошвой рычаг. Изо всех щелей полез вонючий дым. Стрелка манометра дрогнула. Машина полезла еще вверх, едва не срываясь задними колесами за край обрыва, где был врыт в землю каменный столб. Штук шесть камешков скатилось из-под шин в пропасть. На повороте, уткнувшись в кучу щебня, ручками вверх, стояла тачка. Автомобиль с хрипом и хрустом взъехал на плоскогорье и остановился. Это была голая и плоская вершина горы Шишко.

Тут находилась метеорологическая обсерватория. Несколько низких одноэтажных построек больничной белизны и скромности, соединенных между собою крытыми галлереями, стояло как-то особняком и боком, преграждая дорогу нашему автомобилю. Дальше, на самую вершину Ай-Петри следовало идти три версты пешком. Это было невозможно. Потрясающий ветер, гладкий и сплошной, как гряда воды, выпукло опрокидывающаяся по ребру шлюза, тянул в упор туманом, окутывал стужей, глодал уши, валил с ног. Шофер закрыл дымящийся радиатор войлоком.

Мы вылезли из машины и побежали, не чувствуя под собою омертвевших ног, к длинной татарской хибарке, построенной против обсерватории у самой дороги, поперек ветра. Большие круглые камни, как сыры наваленные на плоскую ее кровлю, ледяная мгла вокруг и мокрая от тумана, жесткая, скользкая трава, редко растущая из кварца, превращали хижину в швейцарское шалэ.

Общество разделилось. Часть осталась у хижины и боролась с дверью. Часть двинулась вперед. Я примкнул ко вторым. Стихийно руководимые воздухом, мы слепо шли вперед, преодолевая выпуклый под'ем как бы намагниченного холма. Ветер сильнел. Чтобы не упасть, мы взялись за руки и цепью пробивались к неизвестной для меня цели. Минутами мы были туго спеленуты в коленах полами плащей и макинтошей. Минутами воздух вдруг раздувал их, как оболочки монгольфьеров.—Отскакивали вырванные с мясом пуговицы, шарфы щелкали вокруг головы, как вымпела, шляпы вырывались из окончевших рук, и грудь распирало от ворвавшегося в легкие серого ветра.

И вот тут-то, когда казалось, что даже сама земля, обессиленная бредовым вихрем, и та начинает терять власть над нашим весом, мы увидели перед собой цель. Это был гранитный глобус. Он свинцово синел среди несущейся вокруг мглы, как некий трофей осады, как некая бомба, утвержденная на кубическом цоколе у портика музея и заклеянная знаменитой датой. Мы добежали до глобуса и, скользя подошвами по гляncy первой ступени, сочли своим долгом похлопать ладонью поверхность большого, шершавого шара, скупно разграфлен-

ного географической сеткой. Я прочел, мельком, слова—С.-Петербург,—Париж,—Пулков, — Лондон... — Делать больше было нечего. Место земли, на которой мы стояли, вероятно, пересекал меридиан. Воображаемая цель под'ема была достигнута. Отдых заслужен. Правда, была еще одна цель, иная—высшая точка Ай-Петри, но вокруг сгущалась мгла, и было бессмысленно идти напролом еще три километра для того только, чтобы почувствовать себя всего на 50 метров выше достигнутой нами с таким трудом точки.

— Похоже на газовую атаку... не правда ли?—захлебываясь в ветре, закричал мне на ухо, как глухому, Степан Васильевич:— или нет... на Перекоп. Не правда ли, похоже на Перекоп?..

Всю дорогу он не произнес ни слова. Его темные брови были прямолинейно сдвинуты, словно запирали суровое, молодое лицо на задвижку. Теперь, вдруг, оно открылось; я услышал хриловатый, сорванный ветром голос и увидел близко от себя страстные, карие, с сумасшедшинкой, глаза. Я ответил, но ответ мой опоздал—лицо Степана Васильевича снова замкнулось.

Мы вернулись назад и напились в хижине черного турецкого кофе с каймаком. Посередине комнаты, в сумерках, трещала раскаленная докрасна железная печка. Длинная охотничья собака лежала под столом на хворосте, положив морду меж передних лап. Хозяин нашего пансиона, тучный мужчина с бабьим голосом, бывший граф, торговал у охотника-туземца дичь и обещал дамам к ужину замечательных перепелов. Шофер вышел из хижины и стал заводить мотор. Но прежде, чем садиться, инженер предложил осмотреть обсерваторию. Мы согласились. Профессор N, заведующий обсерваторией, сутулый, высокий, рыжеусый человек с проседью, в золотых очках и синей ситцевой рубашке, встретил нас в сенях и косолапо повел показывать свое метеорологическое хозяйство. Самодовольно и застенчиво улыбаясь в дикие усы, каждым движением изобличая неловкость отвыкшего от общества человека, он любовно и вместе с тем несколько небрежно об'яснил нам свои приборы. Некоторые из них были замечательны по точности и простоте. Например, инструмент для определения числа солнечных часов на каждый день. Я не знаю, для какой надобности,—но это было гениально просто. Над крышей, на высоком шесте установлен литой стеклянный шарик; на некотором расстоянии вокруг него помещена синяя бумажная лента, разграфленная по числу дневных часов. И это все. Солнечные лучи, проходя сквозь стекло, падали на бумагу огненной точкой фокуса и прожигали в ней дырочку, солнце двигалось, шло, проходило положенный ему путь,—огненная точка неукоснительно двигалась по синей ленте и оставляла на ней прожженную черту—условную длину безоблачного крымского дня, от восхода до заката; но едва туча закрывала солнце, как стеклянный шарик переставал прожигать ленту, и лента от такого-то до такого-то деления оставалась непрожженной. Профессор вынул из ящика простого, некрашенного, соснового стола пачку синих лент,—пачку синих,

прожженных, прожитых крымских дней,—и, похлопав по ним большой умной ладонью, усмехнулся в дикие свои усы.

— Вот они, крымские денечки,—сказал он и стал нежно, как любовные письма, перебирать синие ленты. Иные из них он вынимал из пачки и разглядывал, сквозь очки, приговаривая:—А, ну-ка, посмотрим, какова была погодка шестого июля? Ни одного облачка—сплошная выгоревшая черта. Зато, прошу взглянуть,—десятого августа до половины, примерно, четвертого было пасмурно, а потом все-таки разгулялось... Разгуля-алось! Вон—оно—как!

И профессор вдруг начинал содрогаться от добродушного, какого-то родительского смеха. Он неуклюже ходил по своей большой белой лаборатории, показывая барометры, барографы, спиртовые термометры сверхъестественной чувствительности и прочие статьи своего ученого инвентаря.

Пепельный дым дождевой тучи стлался снаружи по гнущимся от ветра стеклам. Рамы дрожали. Воздух лѣмился в окна и пробовал болты. Степан Васильевич стоял у подоконника и рассматривал ящики со слоистыми образцами почвы; по его суровому лицу, как неотступная мысль, текла тьма надвигающегося вечера. Инженер из Донбасса спросил об искусственном дожде. Профессор сходил в соседнюю комнату и вернулся, любовно неся в руках большую, легчайшую, герметически закупоренную колбу с краном.

— В эту банку, господа, я сажаю тучи,—сказал он почти весело:—каким образом? Очень просто. Сначала выкачиваю воздух, затем помещаю банку в туман (который есть не что иное, как туча), открываю кран и через секунду у меня в плену ровно кубический метр этой самой прекрасной дождевой тучи; тут мы ее, матушку, тащим в лабораторию и начинаем потрошить, как лягушку.

И он начал рассказывать нам о тучах, об их природе, о форме и диаметре капель, о влажности, о насыщенности электричеством, о количестве ионов и о многих других не менее интересных вещах. Он говорил о них несколько небрежно, как вежливый хозяин говорит о надоевших, засидевшихся знакомых, он знал всю их не очень таинственную подноготную, он разоблачал их, тактично издевался над ними, он хорошо знал цену их кудрявой внешности, скрывающей пустоватое содержание, пожалуй, даже он пугал их, обещая в один прекрасный день разрядить при помощи наэлектризованного песка, сброшенного с аэроплана, и пустить по ветру искусственным дождем, вниз на сухие мужичьи поля.

Во дворе затараторил автомобиль.

Четыре огня катодного радиоприемника все ярче и ярче, по мере наступления тьмы, пульсировали в дальнем углу лаборатории. Черные молнии диаграмм и барометрических записей окружали профессора, как счастливого Прометея. И лысая голова Ленина, так неожиданно уместная именно в этой белой комнате, самодовольно и застенчиво щурясь, почти высывалась из простой еловой рамы, с любопыт-

ством и восторгом наблюдая и пытливо оценивая делающуюся здесь работу.

Мы вышли во мглу. Автомобиль с зажженными фонарями тронулся на тормозах вниз. Помощник шофера почти лежал на подножке, вглядываясь в дорогу. Жидкий свет ацетилена, едва пробиваясь сквозь молочную, безвыходную тьму, круто спускался по обрывистому кустарнику, ведя за собой, как на поводу, машину. Было темно и холодно. Но, чем ниже, тем становилось светлее и мягче. Туман и ветер ушли вверх; они уже едва касались наших шляп. Крым, лежащий глубоко внизу, прояснился вдруг, как смуглый персик, бережно освобожденный из шелковистой бумаги. Вечернее море занимало полмира; лимонная луна широко, но еще слабо золотила его васильковое поле. Райская теплота земли, полная запахов трав и деревьев, — голубая теплота остывающих мысов — подымалась вместе с уровнем моря, по сказочно растущим стволам неузнаваемого леса; она обступала сухой паутиной папоротника, зажигалась электрическими каплями светляков; ее проносили мимо нас на войлочных шляпах экскурсанты, идущие с молодыми песнями в гору, чтобы с вершины Ай-Петри увидеть восход солнца; о ней гремел невидимый в чаще поток; ее славили стеклянным бульканьем черепела.

В Ливадии часто и часто били в колокол к ужину. Уже была синяя ночь. Триста ювелирных огней Ялты, высверленные в подошве горы, горели перед нами, и столько же огней отражалось в море, плюс тридцать изумрудных и рубиновых сигналов турецких фелюг, плюс семь великолепно вздвоенных огней входящего в порт парохода „Ленин“, из которых два топаза — были топовые; плюс фотографически-красное окошечко мигающего маяка. Теплая, густая пыль висела на черных кипарисах вокруг кино-фабрики, охваченной нестерпимыми прожекторами ночной с'емки.

Стало почти жарко. Степан Васильевич распахнул пальто. Я увидел на его груди два ордена красного знамени. Он наклонился ко мне. Его лицо было все еще замкнуто. Мы катили вдоль моря. По набережной шла тесная толпа. В тирах вспыхивали синие язычки монте-кристо и рушились мишени. Разноцветные сиропы, воспламеняя жажду, горели в распахнутых буфетах. Ночные бабочки кружились над грудами прекрасных фруктов в туземных магазинах.

— Как вы думаете, — сказал Степан Васильевич, — от туда в хорошую погоду видать Перекоп? — он кивнул головой назад. Я обернулся и не успел ответить. Лицо его вдруг открылось.

— Это профессор выпускает из банки свои тучи, — сказал он.

Темные горы стояли за нами, мерцая зарницами золотых очков. С их хребта сползали тучи. Одна за другой, как льдины, они плыли по ясному небу, почти достигая безукоризненной луны. Они достигли ее и обступили со всех сторон ледовитым океаном.

У витрины аптекарского магазина стояли люди, тревожно наблюдая падение барометра.

Угол моря еще был яркого розово-зелено-синего цвета серебряной шоколадной бумаги. По мерцающему его полю длинной тенью прошла моторная лодка. Луна зашла за тучу. Небо стало мраморным. Море померкло. Я посмотрел в лицо Степана Васильевича. Оно было замкнуто и темно, как море. Машина остановилась.

26 апреля 1927 г.

Москва.

В п у т и

НИКОЛАЙ БЕРЕНДГОФ

Далекий снежный ком горит
И облака седые гонит,
Под тучный стук, под робкий скрип
Укачивая сон в вагоне.
Каленой тишиной храпя
Бежит чугунная громада.
И убегают второпях
Леса и мерзлые ограды.
Но чистит светом паровоз
Снега. И дымом облак лепит.
И навзнич падает мороз
В искрящемся великолепии.
Под тучный стук, под робкий скрип
Укачивая сон в вагоне,
Далекий снежный ком горит
И облака седые гонит.

Китайская повесть

БОРИС ПИЛЬНЯК

(Окончание) ¹⁾

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром обалделый Крылов переводил нам китайские газеты. Сначала повеселело мое лицо, затем Локса. Локс фыркнул. Крылов спросил:

— В чем дело?

Мы расхохотались:

— Молодец, товарищ Китай!

Крылов не понимает, что он болен жарой.

Перевод из китайской газеты „Ши-ши-син-вэн“:

„Из высокоавторитетных источников получено сообщение, что маршал У-Пей-Фу издал телеграфный приказ дубаню Хэнаньской провинции маршалу Коу-Ин-Цзэ срочно выступить против начальника партизанских отрядов Фань-Ши-Мина, оперирующего в провинции Хэнань. Маршал У предлагает маршалу Коу не поступать так, как он поступал раньше, занимая добровольно очищенный партизанами город (как это было при занятии Вен-Цзы) и сообщая реляции о кровопролитной битве. Фань-Ши-Мин, как известно, один из крупнейших партизанов Хэнани, командующий 8-ю бригадами. Маршал У предлагает ликвидировать Фань'я в месячный срок. Одновременно маршал У предложил выступить в поход бригадным командирам — Ма, Ли и Юань'ю, телеграфно запросив помощи от Янь-Юе-Жень'я и Джан-Джи-Гун'а, — иными словами под командой Коу должна была образоваться семидесяти-тысячная армия.

„Маршал Коу-Ин-Цзэ ответил маршалу У, что он не может сейчас выступить по „домашним обстоятельствам“...

„Домашние же обстоятельства заключаются в следующем. К маршалу Коу приехала, в качестве наложницы, знаменитая артистка

¹⁾ См. «Новый Мир», № 6 с. г.

Би-Юнь-Ся (точный перевод на русский: Роса Яшмового Облачка), великая красавица. Би-Юнь-Ся, как известно, играет роли не только на театре, но и в государственной жизни Китая. Так, например, в 1924 году, в Пекине, в дни у-пей-фуского парламента, один из членов парламента, борясь с пассивностью Росы Яшмового Облачка, отказавшейся стать его любовницей, — пользуясь своим „парламентским правом неприкосновенности“, — приходил в парламентскую ложу в одном верхнем халате и — выставлял за барьер ложи свой голый живот — на предмет посрамления искусства Яшмовой Росы, сорвав таким образом гастрологи Би-Юнь-Ся.

„Би-Юнь-Ся появилась в доме маршала Коу, — и в Кайфыне, в столице дубаната, все дела приостановились в неясности и в нерешенности в виду того, что мать маршала-дубаня Коу, приверженница старого режима и старых обычаев, встретила Би-Юнь-Ся крайне враждебно, все время разбирает ее пороки, ежедневно устраивая скандалы, доходящие до драк. Все это так отражается на дубане, на его государственной деятельности, что он потерял работоспособность, пребывает в нерешительности и послал маршалу У ответную телеграмму, прося разрешения отложить поход впредь до ликвидации семейной неурядицы. В доме дубаня дело обстоит так, точно разбушевались волны в море“.

— Чего вы смеетесь? — спросил Крылов.

— Молодец, товарищ Китай! — сказал я.

Эти дни я занимаюсь Китае-Русским Лит.-Худ. Обществом, — „Китрусом“. Сегодня получены сведения, что мой пароход — „Октябрь“ — выходит рейсом в Тянь-Дзин, оттуда — сюда, — в море пробудет недели три. — Сегодня с океана подул ветер, сначала мел пыль, теперь несет бодрость. Оттого, что пришли вести о пароходе с моря, а с океана дует ветер и раздувает мысли — от этого стало лучше, ибо впереди возникло какое-то движение...

...Полночь, гудит ветер, трещит мой сверчок. Локс сидит над книгой, дверь открыта. Локс сказал, что скоро с океана будут приходить тайфуны. — Передо мною дорога, очень длинная дорога, ибо только теперь я понимаю, как велики, оказывается, километры.

Пришел Крылов, сел, сказал так, чтобы не слышал Локс:

— Я ведь только девятого узнал адрес жены. Сейчас, кажется, она в пути к Москве, в Монголии. Я не знаю, как она жила, где была, что узнала, что видела, кого видела.

Ночь. Неизвестно, когда спят китайцы, — за окном шум, ветер перепутал на канале все сампанки. На диване передо мною, — диван с полками, — стоит улыбающийся китайский бог, которого я купил на Ян-Цзы, — бог хитро улыбается, — я думаю о Крылове.

4 часа ночи. Лег, было, спать, и не заснул. Слушал ветер и писал декларацию „Китруса“.

Китайская сказка—„Справедливый суд“.

„Юноша и девушка полюбили друг друга и поклялись жениться,— но молодого человека взяли на войну и он провоевал тридцать лет. Родители девушки решили выдать ее за другого. Она сопротивлялась,— родители настояли на своем:— в день после венчания она умерла. Ее похоронили.

„Жених вернулся с войны и спросил, где его невеста. Ему рассказали, что произошло. Он отправился на могилу. Он раскопал могилу, чтобы взглянуть последний раз на любимую. И, когда он раскопал могилу,—любовь его была так сильна,—девушка встала из мертвых. Жених взял ее на руки и понес к себе.

„Тогда тот, за которого ее выдали замуж, потребовал себе жену через мандарина.

„Мандарин рассудил:

„Случай, когда настоящая дружба и любовь смогли тронуть небо и землю, и законы природы—до того, что они вернули жизнь мертвому во имя любви,—не должен судиться законами мандарина. Девушка должна принадлежать тому, кто вывел ее из могилы“.

Сказку рассказал Крылов.

.....

Вчера в сумерки ездили на пароход, провожать земляков, едущих во Владивосток. Плыли по Ван-Пу, на мотор-боте, покачивало, был ветер, садилось солнце... Есть, есть тоска по чужбине, и хорошо смотреть, как корабли уходят в море, как люди тащат свои чемоданчики (бедность свою!), спорят, смотрят каюты, суют свои узелочки... И—не хорошо уходить с корабля, с того, что уходит в море, уходить на бот, тот, что идет назад, в порт на берег!..—И возвращались мы под луной, в волнах, в тишине отлива.—

...Хорошо куда-то ехать: и я переехал из одной комнаты в другую, сам себе симпровизировал кровать, фэн, ветер с террасы,—бой смотрел недоуменно на мое строительство, мы же с Локсом, в честь сего моего переезда, выпили бутылку шампанского и по рюмке ликера. Бою я заявил строжайше, что от сего числа дома я хожу без брюк, а посему—без доклада к нам никто допускаться не может. В силу этих обстоятельств, мне показалось, что я переехал на несколько градусов к северу: легче дышать, легче жить и думать.—Локс прилаживает на террасе фотографический аппарат: намеревается зафотографировать ночной канал.

.....

—„§§№№/‰!“—это те знаки, которые есть у меня на машинке, на новой,—я могу написать и мама и мамá, со всеми ударениями...—Зной!—зной!—

...я выдумываю.—

...на океанском пароходе типа „Эмпресс“, идущем из Сан-Франциско к берегам Китая,—едет американка, женщина или девушка...

Быть может, не так уж разумно поступают мои соотечественные писатели (и аз, грешный, в том числе), когда издеваются над английской англо-американской манерой жить, не ходить, а при помощи ног носить собственное свое достоинство, носить цилиндр и смокинг, знать, как и когда есть и говорить, как держать себя с отцом, сыном, сестрой, женой, иноплеменником, как отдыхать, работать, радоваться и помирать. У них есть торжественность каждой минуты будней, ритуал жизненных будней, есть наполненность жизни—временем, традициями, тем, что наполняет каждую минуту, что за тебя, индивидуума, решило большинство, общество, нация. Это совсем не то, что у нас, россиян (и, кажется, у китайцев), когда в нашей культуре за доблесть считается,—чтобы один никак не походил на другого—именно всем тем, чем американцы хотят уравниаться. Все это уничтожает торжественность жизни сегодняшнего дня, сегодняшней, сейчасшней минуты,—ту величавость, которая есть—и должна быть—в каждой минуте человеческого существования и над которой издеваются у нас, забывая, что это есть „естественное право человека,“—забывая, что жизнь очень торжественна, очень величественна, очень мудра—каждой своею минутой,—и—человеку же надо подчеркнуть, овеличавить эту торжественность,—пусть пижамой и фраком, и дедовским креслом,—пусть честью сознания, что—„лэдис фирст!“—Эта традиция жизни есть у всех, начиная с русского крестьянина, где эта торжественность вылилась в брачные, похоронные, бытовые песни, в пироги к празднику, и в то, что первым за столом берет хлеб—хозяин.—

... Да. Но на гигантском пароходе типа „Эмпресс“, более совершенном, чем пароход, описанный Буниным в рассказе о „Господине из Сан Франциско“, плыла в Китай молодая американка—леди и сотрудница миссионерского общества сикковеев, плыла на предмет просвещения диких китайцев в свете христианства. Я откидываю условности беллетристического повествования, где нужно иносказательно вдалбливать читателю авторские мысли:—я знаю, что цель поездки этой американки—глупа, что эта американка—вообще глупа, что Китай ей нужен так же, как мне Гонолулу,—и известен, примерно, так же. Это знаю я. Этого не знала она.—Она проснулась рано, влук шло солнце, ветер был прохладен, океан за люком катил синие волны,—все, как подобает,—в постель ей принесли чай и фрукты. Выпив, в пижаме, она пошла в сортирчик и в ванну, как полагается человеку с утра. Сортирчик и ванна были в ее же каюте. Горничная-португалка в ванной—губкой—соленой водой—растирала тело мисс Брайтэн, массажировала душем. Затем мисс Брайтэн стала одеваться, причесывалась, чуть-чуть припудрилась. Прогремел к брекфесту гонг, похожий на плач сирены,—и мисс Брайтэн пошла есть свои апельсины, овсянки, рыбы, мяса, померанцевое варенье, пить кофе. Потом она лежала на дэке в лонг-шэзе, прикрыв волосы косынкой, с книгой в руках. Она не читала. Океанский ветер обдувал ее покойствием. Она думала, прикрыв глаза от режущего света волн, и мечтала, как

подобаает человеку в бездельи, в море и под солнечным ветром. Та страна, в которую она ехала, была неизвестна ей: она представляла ее себе так, как представляют эту страну все, не знающие ее,—драконами, иероглифами, рикшами, мандаринскими традициями, свадебными и похоронными процессиями, храмами, пагодами, каналами, джонками, сампанами, паланкинами, многомиллионностями,—представляла свою работу, тишиней того миссионерского собора, монастыря, колледжа, в общежитии которого она—не монашенка—будет жить, слышала колокольный перезвон этого монастыря, видела солнечную прозрачность и пустынную рядов скамеек в соборе,—шла фантазией своею по аллее парка, над каналом, во влажной бодрости цветов и утра (...все впоследствии так и было, как представляла она себе в пути, как создала она по письмам подруги и по фотографиям,—потому что жизнь ее построена была традициями, строгими курантами регламентов, когда американцы и англичане не имеют понятия „заграница“, проживая даже в Китае по-американски,—и когда они могут—за три года вперед с точностью до недели знать свое будущее—и не ошибаться). На пароходе тем утром она думала и о вольностях, о тех „вольностях“, которые позволяют себе американцы в Китае,—например, о поездке к Западным Горам в Пекине—на людях—в паланкине,—совсем, как в древности, как Клеопатра и иные красавицы мира,—а какая же женщина не хочет помечтать о том, что было бы, если бы она была Клеопатрой!.. Ну, конечно, в китайских тропических ночах, поди, виделись ей глаза некоего Артура или Стивена,—она ведь не знала удушливых прелестей китайских ночей!..—Все же, эта миссионерская женщина на „Эмпрессе“—была просто хорошей американкой, воспитанной, разумной, сколько надо, целомудренной—фактически,—и почти-целомудренной—морально,—добрая, торжественная, знающая свое право на жизнь и честь (то право, которое так немногими сознается в России, где человек виноват уже тем, что живет),—недурная по внешности, чисто вымытая, хорошо питающаяся,—была хорошим экземпляром женской особи саксонской породы, чуть-чуть суховата, чуть-чуть длиннонога (т.-е. этим отступающая от идеального человеческого экстерьера).—Ветер веял соленым воздухом океана, тем, от которого никогда не бывает чахотки.—Суб’ективно эта женщина была права во всем. А об’ективно...—

По просторам Великого океана идут пароходы, несут пушки, товары, деньги, людей, знание. В тот порт, где живу я, каждые сутки с океана приходит до сотни океанских пароходов,—в эту рану, которой истекает в мир Китай,—в это окно, которым лезет мир в Китай.—

...Мир переживает сейчас эпоху, когда национальным культурам тесно за своими заборами, когда национальные границы валяются, когда культуры пошли гулять по миру—не только пароходами и пушками, не только машинами, но и всяческим знанием, всяческим бытом, когда мир пошел к уравниванию всего имеющегося в мире. И великая китайская стена—падает. Власть шанхайских и кантонских, и тян-

цзинских заводов идет командиром по Китаю. Вокруг моего города дымят заводы. Город и пригороды грозятся забастовками. Тысячи пароходов идут сюда со всех концов мира и уходят отсюда во все концы мира, привозя сюда все, что создает мир, оставляя здесь это все, что создает мир, и еще куски жизни тех людей, которые везут „все это“. Азия смешалась с Европой ужаснейше. Ночами матросы идут по притонам, темными переулками, где в канавах валяются собачьи трупы, где нечем дышать и где из-за заборов выглядывают женщины-европейки, просто хлопающие себя по голым грудям и половым органам, чтобы заманить покупателя,—китайки в белых штанишках и в возрасте десяти лет заманивают европейцев экзотикой того, что они—китайки и им по десяти лет. Здесь же в этих грязных переулочках играют в маджан и кости. Здесь же пахнет опиумом:—там, в опиокурильнях, на канах, на полу на цыновках—лежат люди в наркотике опия, в причудливых видениях, эротических и таких, которые одни, быть может, сохранили „душу“ Китая.—Днем на набережных тысячи, десятки тысяч людей тащат, волокут кули, тюки, бочки, ящики,—миллионы пудов всякой всячины. Дымят фабрики и заводы. И здесь на набережных и на заводских дворах, неминуемо здесь нарождаясь, возникают—капиталы, забастовки, союзы, партии—революции.—Но за набережными идут переулки, где бесконечными ларьками расположились ремесленные, гильдейские кузнечки, фарфоровые заводики, чайные лавочки, харчевни,—все то, что жило тысячами, что в течение тысячелетия было индустрией Китая,—гильдеец цеховик, кустарь, делавший все, что нужно было Китаю. И там в этих теснейших переулках, особенно у храмов, сидят за своими столиками—колдуны (как перевел мне мой друг, китайский поэт Дзян)—гадатели,—вещатели, писемописатели... Цеховой Китай!..—А за городом—смотрите газетную вырезку в начале повести,—трупы людей на полях и—колоссальный, нищий труд, мощь Китая,—там—по полям, по проселкам, по каналам и железным дорогам—идет—российский осьнадцатый год, смерть и голод, победы и побеги — —

..... сейчас приходил Крылов, сообщил, что 4-ая Народная армия, отошедшая было от 1-ой Народной к У-Пей-Фу, вновь изменила У, вернулась к Фыну, обнажив фронт и разгромив несколько городов,—эти гражданские войны в Китае, пример феодализма и империализма,—и того, как у нации просыпается национальная гордость и мощь!..

...Нет слов, чтобы передать грязь закоулков китайского бытия, убожества, нищенства, — нищенства, когда здесь крупной ходовой монетой является тунзэр, равный полукопейке, и в свою очередь меняющейся на десять кешей, — нищенства, когда все дети ходят голыми, а взрослые полуголыми, — нищенство этой колоссальной тесноты, когда люди живут не только под крышами, но месяцами, годами—просто под деревьями, — житие на сампанах—роскошь, там живут „извозчики“, водяные! — когда люди питаются отбросами всех видов,

и многие имеют профессией то, что собирают на улицах навоз и — почтенная должность женщин — возят по городу на тачках человеческий помет (европейский помет ценится дороже китайского, и был однажды бунт, когда иностранцы запретили было возить „это“ на тачках, — тогда бунтарки бабы лили оные тачки на европейцев!). — За последними воротами моего города, каждый день об этом сообщают в газетах, — расстреливают людей, рубят им головы и душат их, — при чем смерть удушением — национальное китайское изобретение — особлива тем, что, если преступник учинил семь преступлений, его будут душить семь раз, каждый раз не додушивая окончательно, и только в последний раз умерщвляя. Головы преступников хранятся за западными воротами в клетках из рисовой соломы, на столбах. — Нигде нет такого количества полиции и такого уличного мордобоя, как это есть в Китае.

Европейцы живут — на сеттльменте, на французской и английской концессиях. Англичане, американцы, испанцы, португальцы, французы, итальянцы, немцы, русские, португальские и арабские евреи, — все это — „иностранцы“, „европейцы“. На концессиях своя, не китайская, жизнь, за своими законами и полицией. На калитке Джэстфильд-парка начертано: „Китайцам и собакам вход запрещен“. Сейчас в местных газетах (а газеты здесь на всех языках) идет ожесточенный спор — передавать ли или не передавать китайцам — суд, хотя бы над китайцами, — европейцы доказывают китайцам, что им, китайцам, не стоит брать на себя судебные заботы, издержки и беспокойство. — В стороне от города стоит миссионерский сикковейский монастырь, там тишина католичества и иезуитизма, перезвон колоколов, черные, все на подбор монахи, светлый парк. Иностранцы живут медленной, чистой, сытой жизнью, в своих „флатах“, со своими моторными лодками и автомобилями, которыми правят они сами, их жены и любовницы. Ванну надо принимать — три раза в день, штаны менять — дважды, воротничек — дважды. Днем надо сидеть под фэном и пить сода-виски. Надо очень следить, что можно и чего нельзя есть в этой варварской стране постоянной холеры и чумы. Вечером надо ехать в Джэстфильд-парк, за город, в Мажэстик, в кино на воздухе, где бои ходят по рядам и прыскают неким, приятно пахнущим, снадобьем под ноги, чтобы не кусали москиты... Мужчинам надо наблюдать, как делаются их — и их компанией — деньги. — Ну, почему тут не расцветать прекрасным леги, которые сначала обучаются в монастырских, — английских, французских, американских колледжах, дома тренируясь роялями и рисованием, и рукоделием, — а затем принимают мирчистоплюйными романами, в чистоте, ясности, в законах и канонах...

...должно быть, сейчас сезон этим летающим светлячкам, и сезон цикадам, ибо и тех и других очень много... Весь день сегодня истекал потом и теми строчками, которые только что написаны, в жаре и обалдении. А вечером мы поехали в этот самый Джэстфильд-парк,

на симфонический концерт. Я и не подозревал, как в этом парке хорошо, и красиво, и поучительно!. Это совершенно английский парк, по-английски распланированный на тысячу десятин земли. Деревья в парке были разукрашены фонариками, — была синяя, как всегда очень темная, темь, светила луна сквозь молоко облаков. Люди приходили в солидной медлительности, почти одни англичане. Перед ротондой рядами расставлены были лонг-шэзы. Людей было очень мало, англичане утопали за спинками лонг-шэзов, в тишине вечера, в прохладе ветра, в этих летящих светляках. Разговоры тихи и медленны. Казалось, что людей нет, и сквозь шум цикад приходила музыка симфонического концерта. Я не знаю и не понимаю музыку, — но сегодня мне было очень хорошо слушать. Музыка была европейской. Я все время рассуждаю с китайцами-профессорами о том, что европейская культура слишком уж реалистична, — этой музыкой можно было уйти в „ирреальность“, — музыка — есть тот путь в непонятное, в неизмеримое аршином, туда, где коверкается об'аршиненное. Сидел, слушал, мне было очень хорошо — уйти из реальностей в непонятное. И опять это к моим мыслям о Европе и Азии, — к тому, как „европа“ обставила себя здесь, в Азии, колонии: хорошо соблюдают „чистоту“ этой музыкой, чистоплюйную. Фонарики мигали успокаивающе. — Потом у под'езда разбирались автомобили, раз'езжались люди по чистым простыням спокойных ночей. Я был с Локсом, — мы поехали прокатиться за город. Я смотрел, как по краям шоссе спят китайцы. — Удивительно сумели англичане „вырезать“ своими ножницами „культуры“, выкроить из Китая — этот парк, эту музыку, эту — „англию“!

Музыка же, и прекрасная ночь Джэстфильд-парка — никак не виноваты в том, что они прекрасны.

Пекин — военный город российского 1918-го года. Все дворцы, все храмы забиты людьми, или разрушены и стоят в забросе и грязи. На площадях пушки. На перекрестках патрули. Всюду, всюду грязь и шелуха арбузных семечек. — На воротах в дипломатическом квартале написано „Нищим вход запрещен“. У ворот дипломатического квартала стоят пулеметы и английская, американская, итальянская, японская стража. На плацах дипломатического квартала маршируют и „экзерцируются“ европейские солдаты, стреляют пачками и залпами. На ночь в дипломатический квартал впускают по пароям. В тишине рассвета слышна артиллерийская стрельба, — и никто не знает, то ли это обучаются чжан-цзо-линовские артиллеристы, то ли пробивается восставший полк. — Императорский дворец и его музей — заняты солдатами. Можно наблюдать, как солдаты — несколько человек в ряд — орлами — сидят на дворцовой стене, над городом и — испражняются на город. — В храме пыток, в том храме, который дал повод Октаву Мирбо написать роман „Сад истязаний“, — в этом храме пыль, запустение и толстый, полуслепой монах, который не разговаривает, окурившись олия, но сразу требует доллар, — в пыли в храме стоят

боги, изображающие наглядно все виды пыток, ужаснейшие пытки, которые сейчас покрыты слоем пыли пальца в два толщиною, в забвении вообще, а, в частности, потому, что все эти виды пыток вышли на улицы гражданской войны, расплылись по всему Китаю. — Жар и пыль в Пекине невероятные. — В торговом городе тысячами — без преувеличений — ходят нищие. На перекрестке стоит вожак нищих — прокаженный, он совершенно гол, и кости его ребер наружу, с них сползла кожа, запекаясь зелеными струпами, — он стоял бодро. Нищие ходят толпами. Нищие кооперированы в союз, раньше председателем союза по чину был один из младших сыновьев императора, — императоров теперь нет, председатели нищих — миллионно-богатые люди, — хотя нищим подавать — нет никакой возможности, — потому что, если подать хоть одному нищему, сейчас же набросится вся тысяча, они будут выть, рвать одежду, толкать, негодовать, плясать перед тобой, плеваться

. так вот, в Пекин приехала наша героиня, мисс Брайтэн, та, что плыла на пароходе „Эмпресс“. Европейцы неприкосновенны в Пекине. Действительно, к Западным Горам, к Летнему Дворцу богдыхана ее носили в паланкине, как некогда Клеопатру, — несли ее четыре китайца, и она возлежала на подушках. Но это не главное. — Около Пекина, за торговой частью города, есть Храм Неба, величественнейшее, грандиознейшее строение, разместившееся уже не на тысячу, как Джэстфильд-парк, а на тысячи десятин земли, тишины, красоты, величия, веков. В центре многих площадей, пагод, переходов, рощиц, аллей, стен, — под небом там есть мраморный алтарь, состоящий — мистически — из 81-ой плиты, ибо весь этот храм построен мистической цифрой девять. Алтарь кругл, он вываян из желтого, теплого, как солнце, мрамора. Плиты алтаря построены так, что каждый шаг по ним отдается округ гулким эхо, и, чем ближе к центру, тем необыкновенней эхо. Над этим алтарем — синее небо, ничем не застланное. Кругом алтаря стоят мраморные урны, куда (так передают и, мне кажется, врут) сливалась кровь приносимых в жертву Небу. Достоверно, что при императорской в Китае власти, раз в год богдыхан, сын Неба, приезжал в этот храм поклониться своему отцу — Небу. Прошед по эхово-гулким плитам алтаря, на который только он один мог восходить, богдыхан ложился спиной на центральный камень и смотрел в Небо. Тысячная толпа округ замирала в тишине. Эхо шагов императора исчезало. В величественной тишине зноя богдыхан смотрел на Небо, созерцал Небо — своего отца. — Императоров теперь нет. Храм запущен, в пыли, загажен человеческими экскрементами, — все стройки превращены в казармы, — все поляны загромождены артиллерийскими парками. Центральный двор, тот, где под небом лежат мраморы алтаря, — пуст, зарос бурьяном, — в сторонке, построив из досок шалаш, живут два сторожа, чего доброго, поселившиеся по своему почину, — днем они торгуют квасом и спят, — а ночью —

Мисс Брайтэн познакомилась в Пекине с компанией американцев, леди и джентльменов. Джентльмены предложили экзотичнейшее. С вечера в храм Неба отвозились вина, сладости и фрукты — тем двум оборванцам, которые сторожили алтарь Храма Неба: при винах, сладостях и фруктах оставались лакеи джентльменов-американцев. А к ночи, когда спадала жара и особенно тесно ходили по улицам патрули, леди и джентльмены ехали в Храм Неба, — через патрули они пробирались, взволнованно перешептываясь, к алтарю. Каждая плита алтаря имела свое эхо. Леди и джентльмены танцевали фокстрот и чарльстон на плитах алтаря, тех, где каждая имела свое эхо. Они танцевали под дорожный граммофон, который привозился вместе со сладостями, — музыка граммофона и шелест их ботинок отдавались священным эхо. Потанцовав, они отдыхали, пили вино, ели сладости, — и танцевали вновь. Оборванцы, сторожащие алтарь, пристраивали к барьеру алтаря смоляные факелы. Однажды, в перерыв, с грушами в руках, мисс Брайтэн и ее джентльмен пошли по мраморной дорожке в сторону от алтаря, ко мраку деревьев, чтобы оттуда посмотреть на факелы.

— Посмотрите, — сказал джентльмен, — вот в эти урны сливалась кровь священных животных и тех людей, которых приносили в жертву Небу.

Она ничего не ответила.

— Какая красота, — какое величие! — сказал джентльмен и остановился.

Она ничего не ответила, она тоже остановилась. Она оперлась о его руку. Он взял ее руку. Это было первый раз в ее жизни: джентльмен поднес ее руку к своим губам и тихо поцеловал, — это было первый раз в ее жизни, когда наедине мужчина целовал ей руку. Но у нее не было сил противиться, — у нее кружилась голова в этой невероятной экзотике. Она опустила голову к нему на плечо. Но это была минутная слабость. Она выпрямилась и сказала сухо:

— Да, очень красиво, — идемте танцевать, — и она пошла вперед.

Опять заскрипел граммофон, опять шло от плит величественное эхо, а люди дрыгались в чарльстоне. Наутро они, леди и джентльмены, возбужденные, усталые, ошалевшие от колониальной экзотики, нарушающей регламенты, чуть-чуть школьниками — ехали на автомобиле в прохлады своих домов, чтобы принять ванну и лечь спать.

...
 ... Чем больше живешь в Китае, тем непонятнее Китай. Говорят: — „китайские маршалы воюют только потому, что у них есть армии, которые должны работать, — и потому, что маршалы живут феодализмом“. — Знаю, маршал такой-то сегодня был с Чжан-Цзо-Лином, Чжан его обидел, и, если Чжан не успел этому генералу отрезать ушей, носа, переломать костей и выбросить его на навоз, — этот генерал ушел от Чжана — или к У-Пей-Фу, или в хунхузы; пробыв же в хунхузах месяцев шесть, он пишет маршалу Сун-Чуан-Фану, шлет ему поклоны

и тубики чая—и вступает в полки маршала регулярными войсками со всеми своими солдатами.—Чем руководятся, кроме личных обид, маршалы и генералы?—Чжан-Цзо-Лин есть ставленник японцев. Северные три провинции, в сущности, суть колонии японцев; маршал У-Пей-Фу ориентируется на англичан и американцев; Фын-Юй-Сян—на русских; кантонцы—тоже на СССР. В схемах понятно, что англичане и японцы, в меньшей мере французы и португальцы, те страны, которые имеют недвижимую собственность в Китае, хотят видеть Китай таким, каким он есть, и всячески держатся за договоры прошлого века. Американцы позднее вышли на мировой рынок и на Дальний Восток, у них нет собственности в Китае, но у них есть товары,—и они хотят видеть Китай национально-буржуазным, сильным государством, которое имело бы единую валюту, могло бы покупать и продавало бы сырье: американцы учредили в Китае тридцать тысяч первоначальных школ, больше десяти университетов, и тысячами везут китайчат в свои Штаты. СССР намерен видеть весь земной шар свободным, правомочным, рабочим и в знании. Ничего нельзя понять в китайских делах,—но понятно, что Китайская Республика, то, что называется Китайской Республикой, есть напряженнейший узел всей мировой политики. Я сказал,—то, что называется Китайской Республикой—потому что в действительности этой республики не существует: Чжан-Цзо-Лин никак не подчинен У-Пей-Фу,—ни Чжану, ни У, ни Суну—никак не намерен подчиниться Кантон. В Пекине то и дело создаются правительства и правительствующие кабинеты,—но им никто не подчиняется, они существуют фиктивно, главным образом, для того, чтобы иностранным государствам было с кем разговаривать. Маршал Чжан, неграмотный человек, в свое время—начальник хунхузского, сиречь разбойнического отряда (в 1904-ом году, во время Русско-Японской войны он грабил русские обозы),—маршал Чжан своим приближеннейшим генералам, когда они впадают в провинность, режет носы и уши.—Маршал У, получивший мандаринское образование, считает погибшим день, если в этот день он не написал стихотворения, по китайским правилам, лирического. Дубани, губернаторы провинций, генералы и полковники—то и дело бегают от одного генерала к другому, изменяя то одному, то другому, кто больше заплатит жалованья и даст лучшую провинцию на грабеж. Маршал У—в этом 1926-ом году—в провинции Хэнань собрал с крестьян все налоги вплоть по 1936-ой год,—и сделал это не только к тому, чтобы пограбить, но и за тем—китайская мудрость!—чтобы закрепить верноподданность этой провинции: другой, дескать, генерал начнет подати собирать сызнова...—Ничего невозможно понять!—но понятно, что вот четырнадцатый уже год над Китаем гремят пушки, разоряются и грабятся города, поля и села, нищенствуют люди, все больше и больше возникает на полях могильных бугров,—в этой колоссальной китайской тесноте четырехсот-пятидесяти миллионов населения. На порогах дипломатических кварталов и иностранных концессий—стоят пулеметы. На рейдах в

портах серыми громадами беспокоятся дредноуты и крейсера, американцы, англичане, французы, японцы...

.....

все это—в этот отчаяннейший зной—я пишу к тому, чтобы рассказать историю одного китайца, несчастного и милого человека Лю-Хфа. Быть может, он родился на сампане, около нашего моста, на нашем канале: он был таким же мальчишкой, как вон те голыши, которых я вижу со своей террасы, которые привязаны веревками, чтобы не свалиться в воду—... я нарочно в этом месте писания выходил на террасу, чтобы посмотреть на них: ветряный день, волны, прилив, везут караван джонк с дынями и арбузами, выгружают тюки, стонут грузчики китайской дубинушкой, небо в клочьях облаков,—канал гудит криками, стонами, гудами катеров и пароходов, рывками бегущих по мосту автомобилей и трамваев,—вдали дымит серый американский дредноут:—эти сампаны, где живут люди, прикрылись от солнца цыновками, безмолвствуют,—и:—в шуме канала и города, за этими шумами—я услышал с этих лодок несколько детских плачей—невидимых детей, скрытых от солнца цыновками... — — Этот мой мальчик нашел в себе умение выбраться из этих лодок на землю, на набережную, на улицы. Он прошел сложнейшую социальную лестницу, добравшись к осьнадцати годам в наборную китайской типографии. Должно быть, он был гениально-талантлив,—ломоносовствуя, он кроме социальной лестницы шел еще и трудными дорогами знания и раздумья, ибо к двадцати пяти годам он оказался библиотекарем местного китайского университета, построенного на американские деньги и по английскому образцу,—он, мой герой, изучил несколько языков и, библиотекарствуя, вольнослушал в университете. Тишина „либрани“ и университетского парка не помешали ему выйти из университета человеком, очень понявшим то, что ему рассказали книги, совершенно (так же, как наши студенты, хорошее их племя) потерявшим быт и условности, понявшим, что в мире идут революции, не могут не идти, что его родина—великая и богатая страна, с огромным будущим, что мандаринство его родины и феодализм маршалов—есть старый намордник, что его долг—итти и делать. Очень редко рождаются люди с очень ясными мозгами,—почти всегда у людей есть „намордники“ и „маски“, когда люди или не умеют просто видеть и мыслить, или застыт видение традициями, церемониями, привычками:—этот не имел никаких традиций, кроме традиций своего мозга и знания,—он умел видеть и не носил никаких масок,—он все брал на зуб знания.

...оттуда, с набережных, откуда пришел он, из тюков, бочек, пудов, тонн, шиллингов, долларов, тунзэров, „биг“ и „смол“ мони, из нищеты и из богатства,—кроме него на набережные, в пригороды пошли:—на набережные—американские небоскребы торговых фирм, универсальных магазинов, банкирских контор,—в пригороды—заводские и фабричные поселки, фабричные и заводские дворы, заводы,

дымы, гуды,—пошла, народилась—национально-китайская—„компрадорская“—буржуазия на верхушках социальных лестниц, в бель-этажах небоскребов, в загородных виллах,—а по низам, по пригородам пошла, народилась—китайская рабочая гольтепа, и возникли речи о пролетариях всего мира. Эти из пригородов не теряли родственной связи с портовыми набережными. Этот, мой герой, выбрал судьбу—быть глашатаем этих из пригородов: он встал против англичан-иностранных и против компрадоров-соотечественников. Этот человек был убит—неизвестно как—повешен, застрелен или задушен,—известно кем—англичанами и компрадорами вместе. У этого человека был кинематографический год, когда в этом миллионнолюдном городе он—товарищ председателя совета профсоюзов—выступал на митингах, организовывал стачки, убегал от всех видов полиции с многопудовыми мешками тунзэров и кешей профессиональных членских денег, без дома, без крова, без риса, без ночей.

Он был арестован англичанами на китайской территории. Он погиб из-за двух пудов тунзэров. По крыше он убежал из дома, когда пришла полиция. Но он не успел вынести с собою всех денег. И он покрался за ними обратно в дом, занятый полицией. Два пуда меди он спас. Сам он погиб.—Сейчас в местной прессе идут споры о суде, о том, кому судить. Англичане потеряли право судить и приговаривать к смерти тех китайцев, которые попались в преступлении не на „их“ территории. Этот человек был взят на „китайской“ земле—

В Китае смешалось все—от феодалов, от колонизаторов—до буржуазии (национально-китайской, компрадорской, европейски-образованной, воинственной, молодой, пиратской), до пролетариев (от студенчества, профессуры, портов и заводов). Этими местами правит—ду-дзюн, маршал, феодал, мандарински-образованный человек Сун-Чуан-Фан. Сун постоянно живет в „южной столице“—в Нанкине, его резиденции.—Сун приехал в наш город. Брокеры устроили в честь его банкет,—по-китайски, когда едят сотни блюд засахаренного мяса, ласточкиных гнезд, перепротоухлых яиц, акульих плавников, бамбуковых корней и почек,—а после обеда едут в публичный дом курить опий и совокупляться. Англичане дали маршалу—так же банкет,—по-европейски, где леди были в вечерних платьях, а джентльмены—в монкэ-фраках, с цветами на столах, с речами и со всяческими бифами, винами, фруктами, остротами и фокстротом. А затем, когда Сун уезжал, уже на вокзале (ведь по китайским традициям—всегда надо говорить о деле „между прочим“, надо „отговариваться“, говоря о деле)—представитель брокеров и представитель консула, в окончательнейшей вежливости и в блеске остроумия, попросили подарить им голову преступника. Сун „подарил“.—У китайцев придумано очень много средств уничтожать человека: душат, вешают за ноги, распиливают пилою, рубят головы, сдирают кожу, стреляют: сегодня было в газетке, что завтра будут расстреливать за западными воротами. Неизвестно, как умер Лю-Хфа—задушили ли его, содрали ли кожу, повесили, пристре-

лили—где, когда, как—никто не знает,—но о нем уж пишут поэмы китайские поэты, одна такая поэма есть у меня. Можно представить ночь, камеру китайского застенка в городской стене, там, где тюрьма, ночь,—палачей, хрип удушаемого—спокойствие палачей: мне рассказывал один китайский революционер,—при нем застрелили его товарища, их было несколько свидетелей, все были покойны и тот, расстреливаемый, перед расстрелом ковырял в носу,—китайцы не боятся смерти...—

—...так вот, о той девушке,—которая приехала в начале вчерашнего моего писания на пароходе типа „Эмпресс“ и которая субъективно права.—Эта девушка брала книги у Лю-Хфа, когда он был библиотекарем в „либрани“,—она была на банкете, устроенном англичанами в честь маршала Суна (точнее—в честь Лю-Хфа!),—а в дни, когда душили Лю-Хфа, она вышла замуж за секретаря английского консульства,—того самого, который представляет Англию в „микст-корте“—в том „смешанном суде“, за „свободу“ которого так ратуют англичане и который, конечно, приложил свою руку к делу Лю-Хфа.

...Этот герой мой, Лю-Хфа, вместе со своими товарищами, пошел против—очень многого: против колонизатора-иностранца, против цехов мандаринского варварства, против драконов маршалов {и—против купца, фабриканта, компрадора, того, за свободу которого ратует Америка,—против всего, против всех, ибо „действительно—разумное“, но не „действительное—разумно“. Он снял китайский халат быта и драконов, без всяческих намордников. Он погиб, выручая два пуда меди.—Но я не случайно начал вчера этаким чистоплотной, откормленной, честной и целомудренной девушкой, той, которая в его смерть вышла замуж. Он, мой герой, был: человеком, а любовь—свободна: в дневниках, которые вел этот китаец, было очень много места посвящено ей, ибо он любил эту женщину, как можно любить ветер,—любил женщину, имея один единственный этот „намордник“ любви, который выводит в нереальность—так же, как меня вчера—музыка на симфоническом концерте.—Эта женщина никогда не знала, что ее помнит полуголый библиотекарь, тот, который не мог пойти за ней в Джэстфильд-парк, ибо туда „собакам и китайцам вход запрещен“—

.....

...выходил сейчас на террасу. Луна светит, отражается в масляной воде,—тухлятинкой пахнет, мертвой человечиною,—переругиваются женщины на сампанах,—бегут по реке огни катеров. Иногда нападает такая,—слов не подберу: нельзя монастырствовать, но ничего не хочется и нечего делать в этой жаре,—ничего читать и устал читать, не с кем говорить и не хочется говорить, нельзя так сидеть без дела и ничего не хочется делать, надо думать и не хочется думать,—ничего не хочется, а сидеть так нельзя, и спать тоже нельзя. Жара!—жара!..—раздевался и целый час лежал в ванне, в воде, до одурения, ибо и из ванной вылезать—тоже не хочется!..—Та де-

вушка, что плыла на „Эмпрессе“, могла и не выходить замуж, могла не только сытно есть и чисто мыться, и быть честной в субъективности своих традиций:— она могла быть и замечательным человеком, таким же незаурядным, как он, мой герой, задущенный Лю-Хфа; предположим, в ней была „лизокалитиновщинка“, прекрасная ясность чистоты, веры и целомудрия — и веры, что в мире — самое главное — любовь, единственная, как знание и как подвиг, — — и все же он, мой роман, протек и должен был протечь так, как я записал его.

На канале сегодня весь вечер воют собаки, на разные голоса, тоскливо. Я рассмотрел: приплыла целая сампана с собаками. Я спросил боя, в чем дело. Оказывается, этих собак по каналу привезли из провинции, и они пойдут на убой, на пищу. — Мы, Локс, Крылов и я, живем здесь потому, что нас послала русская революция, потому что мы, русские, стали против всего мира. — Локс сидит в столовой за столом, в горе апельсиновых корок, над английской книгой о Китае: некогда Локс просидел год в одиночке, в крепости, — он говорит, что там у него выработалась привычка разговаривать с самим собою: — я пишу на машинке, — я слышу, как он, читая англичанина, комментирует вслух, наедине сам с собою по-русски... Опять выходил на террасу: Бэнд уходит во мглу, Ван-пу и канал все в огнях фонариков, дует ветер, лают собаки, над землей в облаках идет луна, совсем зеленая, как у нас зимой — — быть может, это на самом деле совершенно не лето и не Китай, — а глубокая сибирская ссылка?! — Мой сверчок помер, должно быть, от жажды.

...на этом месте прерывал писание: решили с Локсом поиграть в шестьдесят шесть — в ссыльную игру... да обошел я весь дом и карт не нашел. Решили твердо — завтра же — купить карты и маджан. О моем пароходе ничего неизвестно.

.....
Вырезка из местной газеты — —

„Опять о парках.

„Английская колония с трудом мирится с тем, что, не желая обострять и без того довольно натянутых отношений, власти сеттльмента, не издавая новых постановлений, решили смотреть сквозь пальцы на то, что китайцы проникают в те парки, куда еще недавно их не пускали, а также располагаются на лужайках Бэнда, до текущего лета также бывших недоступными для них.

„Вчера опять на страницах „Норд-Чайна-Дэйли-Ньюз“ появилось негодующее письмо иностранца, в котором он спрашивает, пересмотрел ли муниципалитет правила пользования парками, а, если пересмотрел, почему об этом ни слова не опубликовано в газетах?

„И далее негодующий иностранец рассказывает, как он и его супруга в течение четырех часов вечером пытались найти себе местечко на скамейках лужаек Бэнда, но все скамейки были забиты китайскими

кули. Поведение кули, лежавших на траве, шокировало супругу автора письма“...

О Пекине.

Пекин — город мандаринов, храмов, пагод, ворот, стен, площадей, — город конфуцианской вежливости и тишины, — лотосовый город озер, каналов и храмов Неба, Солнца, Тишины, Пыток, Пятисот Будд, — столица древнейшей в мире, сверстной египетской, китайской культуры, где дворцы, храмы и памяти столь же фундаментальны, как пирамиды. Пекин — —

Пекин — —

В рассказе о Лю-Хфа американская мисс Брайтэн танцевала чарльстон на алтаре Храма Неба — —

В посольстве СССР в Пекине один из секретарей посольства подарил мне тетрадь стихов, ему в свою очередь подаренную автором этой тетради, моим соотечественником, содержащимся под стражей за убийство в пекинской государственной тюрьме. Автор подарил стихи секретарю, когда посольские сотрудники осматривали тюрьму.

Китай — Пекин — пекинская китайская тюрьма — —

Вот стихи моего соотечественника, соратника по творчеству — —

П А Р А Х О Д!

Параход судно речное,
 Постоянно на парах.
 Возит грузы, тянет баржи,
 Шумит паром, пах, пах.
 Топка топится дровами,
 Но бывает, что и углем,
 Без подчинки он годами
 Плавает он ночь, и днем.
 В параходах пассажирских
 Народу всегда полно,
 Есть там дамочки, мужчины.
 Все выглядывают в окно.
 Нет в нем скуки, все весело:
 В кружок дамский попадешь,
 Глазки строишь, улыбаясь,
 Которую милою назовешь.
 Такова путь параходом,
 Весело было ехать нам,
 При выходе приглашает,
 Приезжайте, милый, к нам.
 Одну отправил, попрощался,
 Другая попала на-лету,
 Целую ее я, обнимаю
 И ласкаю, как и ту.
 С двумя проехал я весело,
 Не прошло даже трех дней,
 Вдруг стала боль сурова,
 Не знаю я поймай от ней.

Долго возился с этой болезнью,
И с силою доктор мне помог.
Больше не еду я парашодом,
Я не навиху парашод!

... Храм Неба, Храм Солнца, — Китай — Пекин — века, беззвучие веков и озер, заросших лотосами — —

Этакая человеческая пошлость! — Секретарь посольства, подавивший мне эту тетрадь, всю исписанную этакими стихами, рассказал мне историю этого поэта, моего соотечественника и соратника. Поэт — убийца и вор. Он осужден китайцами на десять лет. Он сидит уже года четыре. Он доволен судьбою. Тюрьма, где он сидит, образцова, по его понятиям: туда, в тюрьму, за взятку, раз в неделю к мужчинам пускают женщин. В Пекине живет и промышляет проституцией сестра поэта. Каждую неделю она ходит в тюрьму к поэту — не сестрою, а любовницей, — и поэт нещадно бьет ее, когда она не приносит ему того, что он заказывал, шелковых носок, водки, опия.

Эта история с поэтом припомнена мною для Крылова, милого человека, который так перепутал себя, что свирепеет в тех случаях, когда жена в письмах шлет ему поцелуи, оскорбляющие его, хотя и жена его — тоже милый очень хороший, ни в чем неповинный человек. — Эта история — и для мисс Брайтэн.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

У т р о 23 и ю л я.

В Москве сказали бы: — хороший выдался денечек, солнечный, безоблачный, тихий, — такие дни в этих числах июля особенно хороши, когда появились первые, чуть-чуть заметные, паутинки, дымок среди деревьев, опрозрачились пространства, а под ногой — вдруг зашуршал первый листик, первый опавший листик, тишина на деревьях, и воздух такой синий, такой прозрачный, что меняются понятия перспективы, и можно все зарисовать только акварелью, — да, — —

а сегодня здесь в газетах:

„В о з д у х а!.. В о з д у х а!

„Сегодня — 117°. Ну, а влага, которая давит, которая не дает дышать, кто учтет, что не достигнут уже предел, за которым начинаются прострация, безумие, умопомрачение. Город за эти три июльских недели не столько расплавлен, как разварен, распарен, вымочен, вымотан, измучен. Воздуха! Воздуха!... хоть глоток свежеего, чистого, бодрящего воздуха!..“

„77 с м е р т ё й за день.

„На сэттльменте умерло за вчерашний день 23 человека, заболело 17. На китайской территории заболело и умерло 42 человека. На французской концессии умерло 6 человек, заболело 19. Итого...“

... Невозможно, умопомрачительно! — не нахожу слов!..

Пришли вести с моря. Мой пароход будет здесь 10—20-го августа, отсюда пойдём по китайским портам за чаем, потом в Сингапур, потом на Цейлон.

И ещё вырезка из газеты, объявление от начальства:

„Все иностранцы предупреждаются относительно того, что поездки в Су-Чжоу-Фу, а также в Хай-Чоу в настоящее время, в виду беспокойного состояния этих провинций, могут совершаться лишь на свой собственный страх и риск, китайские власти не дают пропусков в эти районы. Это служит лишним доказательством того, что в соседних районах снова становится непокойно“...

Гражданская война!—революция!...—Мы живём во имя революции, но живём мы—покойно до чрезвычайности. Бой принес маджан.

... Как велик Земной Шар!—я прислушиваюсь к себе, в сегодняшних известиях с моря,—и мне опять хочется итти, смотреть, видеть, двигаться—до предела, до края. Дмитрию Фурманову, перед отъездом сюда, я написал книгу: „Если умру, не поминайте лихом. Всячески согласен умереть, только не в постели“,—я жив, Фурманов умер, пришли вести.—И правда—не так уж плохо—ничего не иметь, от всего отказаться—ради путин, ради ветров. Я так думаю, и мне становится покойно и хорошо, и я перестаю думать о Москве и мне только хочется итти,—как велик Земной Шар!...

С у м е р к и 24 и ю л я.

Вчера было 117° жары: сегодня, должно быть, больше.—Несуветно!—Весь день валялся под фэном (и рассуждал, что фэн, этот электрический веер, построенный пропеллером, может быть иллюстрацией к теории внутриатомной энергии: если этот пропеллер вращать в несколько тысяч раз скорее, то он превратится в сплошную массу некоего материала, уже не меди, той, из которой сделаны крылья,—будет очень лёгок, не будет даже гнать воздуха, его можно будет взять в руки: надо полагать, что и для аэропланного пропеллера должен быть предел скорости его вращения, после которого результатность начнет, должна падать, его тоже можно будет взять в руки, как кусок очень легкого металла,—и:—как много энергии в этом мире, если рассуждать обратно, когда этот, образованный колоссальной быстротой движения—в колоссальной быстроте,—кусок металла, никому неведомого, вновь превратится в пластинки меди, оставленные электричеством!),—весь день валялся под фэном, бредил и мучился жарою. Думал о Крылове и догадался—вот о чем:—оказывается, любовь может быть и без достижений, очень большая, очень крепкая, прекрасная любовь может свернуть в такие переулки сердца, когда—именно во имя этой любви—во имя ее гордости и величия—надо отказаться от объекта, ибо любовь может сублимироваться, отделиться от тела вещей и времени объекта—так что нежные слова этого объекта начинают казаться оскорбительными для любви,—так что надо освободить тело от объекта, чтобы осталась одна чистая чаша любви, цело-

мудренная, прозрачная и ничем не засоренная, — — любовь, оказывается, может хоронить именно то, что считается проявлением любви, — нежность, ласку, обладание, — хоронить во имя самой себя и во имя ее чистоты... — И еще думал, в этом всесветлом бульоне удушья, в котором живет вся эта, окружающая меня, страна, — о том, как мудр мир, как все закономерно в нем, ничто не случайно и все сцеплено бесконечным рядом законов, прекрасных правд, к сожалению, таких, которые не могут считаться с человеком, как самоцелью, и в которых человек уравниен: и с пешкой из шхмат, и с каждой разновидностью вот тех москитов, тысячи сортов которых каждый вечер налетают ко мне в комнату. — Читаю сейчас я только про Китай. — Очень занятно наблюдать за самим собой, за тем, как могут в человеке итти рядом две жизни: одна — та моя, которая не связана никаким местом, ничем, зависящим от места и времени, моя мысленная, — и другая — та китайская, буднично писательская, когда я хожу, смотрю, вижу, слушаю... „Все в жизни лишь средство“, — и я часто думаю, мне хочется оформить для писания, проверить этот мир человека, где, как музыка в нереальность, человек переходит в бессознательное, — но переходит не инстинктом, не чувствами, не эмоционально, — а: — мозгом, сознанием, вещами, наукой, — знанием.

Локс переоделся, чтобы ехать на обед. Едем. — Кто-то пришел, надо задержаться на минуту. Бой принес мне курений от москитов. Небо, река, Бэнд — все уходит в вечер, — и в этой вечерней сырости — все серебряно. Луна уже поднялась: — я люблю луну, она всегда мне говорит о прекрасной романтичности, о великой любовной таинственности романтики, такой, которой мне никогда не пришлось пережить, или я не заметил, и которой, должно быть, нет в жизни вещей и есть лишь в жизни образов, — луна поднялась, она совершенно синяя, такая, какой у нас она никогда не бывает. Маяк и фонари уже отражаются в воде, но видно еще, как дымы пароходов и заводских труб за Ван-пу поднимаются в небо, вырываются из бульона удушья — к той небесной сини, которая сейчас подменена этим серебристо-зелено-блевоным туманом... И еще: все время я никак не могу найти здесь Пушкина, а наизусть не помню, — а Пушкин почти физически нужен в этой туманности и неясности, — чтобы „багряной зарею“ прозрачной его ясности охладить эту жаркую туманность: зори всегда холодны и свежи!.. — Вышел сейчас на террасу: и вдруг луна отразилась в синей воде прозрачною ясностью. Днем вода в канале и в Ван-пу — желта, как кожа на турецком барабане...

Ночь с 24 на 25.

Когда очень долго смотришь на один и тот же предмет, он начинает качаться, расплываться, в глазах идут круги, и все исчезает. Так было у меня сегодня в Джэстфильд-парке, — растворилась в глазах ротонда, все провалилось в невидение и — осталась одна музыка. Музыка есть настоящее причастие всему прекрасному: раньше я не знал этого. Должно быть, искусство музыки нашло во мне еще одного

поборника,—я и не подозревал раньше того высокого и прекрасного, что порождает в человеке музыка.—Мы были на званом обеде, оттуда поехали слушать симфоническую музыку,—оттуда должны были поехать в загородный ресторан. Но мне не захотелось после музыки ехать „притонить“, и я вернулся домой.

Китай!.. если ломпацо или рыбаку не везет целый день, ломпацо знает, что его преследует злой дух,—и тогда ему надо перебежать дорогу автомобиля, лодочнику же проплыть под самым носом парохода, чтобы злой дух остался на одной стороне, а он на другой,—чтобы убежать от злого духа. Это—вообще. Вообще же и то, что ни на какие гудки китайцы не откликаются и—гуди не гуди—дороги не уступят. А в частности: едем сегодня,—бежит навстречу мальченка, счастьем не раздавили, весь автомобиль заскрипел от тормозов,—шофер-китаец слез с автомобиля, поймал мальченку и так напорол ему уши, что я пошел выручать,—шофер улыбается, мальченка улыбается,—поехали дальше...—Я нигде не видел такого большого количества уличных драк, как здесь: едет рикша, полисмэн-индус бьет его бамбуком; не поладили двое, не ругаются, молчат, а—мордобой; особенно—полиция, которой здесь до чорта много, всяких национальных и непонятных сортов; все это—вообще. А частности—я очень жалел сегодня, что я не умею драться. Мы выходили из парка после концерта толпою иностранцев. И на грех около ворот парка дрались два китайца, очень серьезно. Понепонятным мне причинам, должно быть, из-за „человеколюбия“ и во имя порядка,—некий американец пошел их разнимать. Ему помогли еще двое белых. Растащили и пошли садиться в автомобили. Но китайцы опять пустились в драку. Тогда американец рассердился: он ударил китайца по лицу, китаец покачнулся,—американец ударил его по спине ногой, китаец упал и поднялся, намереваясь что-то сказать американцу, никак незлобное, тогда американец вновь ударил китайца—по груди,—китаец упал, как падают убитые. Мне показалось, что американец убил китайца. Американец, кажется, тоже занедоумевал, потому что наклонился и потрогал голое тело китайца белым своим ботинком. Но китаец поднялся,—тогда американец еще раз ударил—облегченно вздохнув—ногою по спине. Китаец побежал от американца—так, как бегают битые собаки. Кругом стояло человек двести зрителей. — —

У т р о 25.

Сейчас должны собраться народы, чтобы плыть на мотор-боте на взморье. Днем, ночью, вечером, утром—все время, всегда над этой землей пахнет мертвецами и человеческим пометом. Главнейшей религией старого Китая является почитание предков.

...я подсмотрел—случайно—за Крыловым. Он сидел на постели, подогнув правое колено к подбородку (к губам), на колене в таком его положении образовывается ямочка,—и Крылов целовал ямочку на своем колене. Лицо его было печально и серьезно.—Я придумал рецепт: когда человеку очень одиноко, когда ему некуда податься,—

пусть тогда он целует это свое колено, — ибо приходит тогда некая непонятная нежность к самому себе, жалость, и человеку становится облегченной, словно коленка становится, может стать его другом и разделяет его одиночество!.. —

Сейчас Крылов уже встал, читает китайские газеты. — База У-Пей-Фу, Лаоян, затоплена разливом, разорваны плотины, вода вышла из каналов, город опущен на сажень под воду, кругом стен города — необозримое море воды: пока погибло пять тысяч человек. Это тают снега Памира.

У т р о 26.

Вчера я понял, что такое китайский дракон и — почему он дракон. Мы ездили к морю. Там, пообедав в английском ресторанчике под пальмами и со льдом, мы отправились (чорт понес) на форты, к самому берегу, женщины на тачках, мужчины пешком. Туда мы под этим палящим солнцем — с трудом, но добрались. А оттуда — солнце жжет так, точно к человеку прикладывают раскаленные железки, — все смокло от пота, точно человек прыгал в воду, — и первое, что ощущалось, это не боль головы, а — ломота рук и ног, как в ревматизме, как от холода, странная мучительно-приятная ломота. Затем сразу пришла отчаянная головная боль, сзади, от шеи под череп, оттуда в виски, ужасная боль, ужасное бессилие, страшное безразличие, когда все куда-то проваливается. И обратный путь домой — четыре часа — я лежал на палубе, в тени брезента, ничего не видя, ничего не понимая, собираясь помирать в страшной боли. Нас было восемь человек, четверо мужчин, один мальчик, три женщины: женщины вынесли солнце, из мужчин только один Локс избежал теплового этого удара. Вечером дома Локс, коммунист, каторжанин, сидел около моей постели, заботливо читал мне стихи, — а мне было все равно, только бы не эта мутная, тупая боль. Сегодня я — несмотря на то, что вчера я был в пробковом шлеме — не могу дотронуться до подбородка и до шеи: обожжены, сжигают. И все ломит ноги и руку: мужики российские в бане на полке выгоняют ломоту, — здесь все наоборот. — Чорт бы побрал этого дракона! — синий дракон — на белесом, пустом, бескрасочном небе.

Крылов:

— В Шандуни хунхузы нападают на целые села и маленькие города, забирают все, вырезают людей или связывают их и кладут на дороги. Оружие хунхузы покупают у местных военных частей генерала Чан-Зун-Чана.

2 ч а с а д н я .

В Москве сейчас семь утра. В моей комнате в Москве шторы еще опущены. Как можно часами заниматься глупостями: тем, что часами я восстанавливаю несущественности, мелочи, полумрак комнаты, лампы на столе!.

4 ч а с а .

Дышать нечем!.. ужасно!.. А в Москве прохлада девяти часов утра.

6 часов.

В Москве 11 дня. Солнце ли за окном, или прошла гроза?— у меня за окном умирает день, гудит город, стонет река. Где-то играет оркестр европейской военной музыки: колония, чорт бы ее побрал!.. Еще один день уходит, Локс прилег с книгой, заснул. Сегодня вечером решили сотоварищи играть в преферанс. Ничего не хочется—ничего не думается. Написал в Россию письмо, товарищу детства, с которым в Богородске вместе собирали татарские серьги, — написал ему, чтобы он собрал этих серег и отвез бы их ко мне в Москву: паренек сочтет меня не совсем в себе—из Китая, мол, и про татарские серьги!...—У меня же с канала все время пахнет мертвецами.

8 часов вечера.

Тушил свет, выходил на террасу: ночь темная-темная, звезды,— и многие звезды—совсем незнакомы мне, чужие, не наши звезды, совсем не те, к которым я привык с детства, еще от Можая.

2 часа ночи

с 26-го на 27.

Здесь ночь—в Москве семь вечера. Все это время проиграл в преферанс. Выходил сейчас на террасу: ветер,—и огромная, прекрасная стоит над водою луна, вода светится фосфорически под луною, шумят люди на канале. И вдруг все перепуталось:—этот ветер—эта луна—эти воды—эти шумы: в России сейчас осень,—а здесь сейчас пахнуло весной: прокричал таможенный катер, провыл сиреной, и эхо долго не может улечься, как у нас только по веснам. Это потому, что у нас только по веснам в половодья бывает такой насыщенный воздух. Но такой луны у нас не бывает, у нас она беднее, бессильнее...

...Ночь. Молчим. Хорошо—ветер! Голый, я стоял под ветром,— вот оно—тело. Хорошо под ветром: ничего не надо, все проходит с ветром—и хорошо делает, что проходит. Китайская пословица — „струны гитары разорваны“—означает разлад между возлюбленными. Возлюбленной у меня нет. Да здравствует товарищ ветер!..

...Приветствую все, приветствую! —

„ из недр фосток жень-шеня

сбирает старику любовные томленья

и смертному дарит двоенный небом срок.

И в мглистый час быка, созвездиям покорен,

с молитвой праотцев бери олений рог,

и рой таинственный, подобный людям, корни!“ — —

— — это перевод

с китайского о жень-шене, о былях и легендах, связанных с этим корнем, как мандрагора,—об этом „таинственном, подобно людям, корне“. В чем дело?—да, и я, и все—таинственно, как музыка, как вот мои мускулы, сжимающиеся в желваки под кожей, те, которые я только что подставлял под ветер, которые под этим ветром стали бухнуть крепкой кровью, сказав, что они живут по-своему и по-своему могут мне предписывать свои законы бытия...

У Локса есть привычка разговаривать с самим собою. Сейчас, перед сном, принимал ванну, и вдруг поймал себя на фразе:— „ну, давай полезем в ванну, помокнем!“— и заметил, что и я разговариваю с собою вслух, добродушно, доброжелательно, как со старым приятелем,—это я разговариваю со своими ногами, руками, грудью, мылом.—Молчаливые собеседники!—

У т р о 27.

Вчера, ложась спать, посмотрел часы: три. Проснулся сейчас, посмотрел на часы: три. Пословица о том, что счастливые и пр.,—устарела. Локс спит, боев нет. Читал газеты: все о том же, о жаре, холере, войнах, забастовках. Бой принес почту,— и меня обухом по голове порадовала весть о том, что мой пароход, кажется, вновь пойдет во Владивосток, то-есть еще на месяц оттягивается моя путина. Чорт бы все побрал!—поистине ядовито!..

За брекфестом Крылов читал газеты. С Коу-Ин-Цзэ—еще веселее.—Фань-Ши-Мин, партизан Хэнаньской провинции, выкинул лозунг— „Хэнань—для хэнаньцев!“..—И тогда Коу-Ин-Цзэ, хэнаньский дубань, обратился в один из глушайших хэнаньских дистриктов, к тамошнему мандарину с письмом, в коем говорится о том, что Коу родом из этого дистрикта, что отец Коу умер, когда Коу было два года, что Коу с матерью покинул родину, когда ему было пять лет, но он помнит, что там остался его брат,—и Коу просит мандарина разыскать его старшего брата, имя которого он, Коу, за давностью лет забыл. Мандарин, в радости, отвечал, что, действительно, в его дистрикте есть один китаец по фамилии Коу, перевозчик на плоту, безграмотный,— и что этот перевозчик, действительно, помнит, как в самом раннем детстве был у него брат, который потом пропал. Коу-Ин-Цзэ, дубань, генерал, поехал к старшему своему брату на свидание, торжественнейшая произошла встреча между дубанем и нищим, безграмотным поромщиком. Они признали друг в друге братьев—со всею китайскою пышностью. Нищий получил полковничий чин и поехал с дубанем в Кайфын. Все было замечательно, но... в Кайфыне жила мать дубаня, которая оказалась—ровно на два года старше старшего своего, вновь найденного сына!..—В газетах—веселие, но новый брат, все же получает посты.—Все это понадобилось Коу к тому, чтобы доказать, что он—хэнанец. Вот иллюстрация китайского феодального бытия, к тому, что такое есть мандаринская политика и как дубани борются с лозунгами партизанов.

Посмотрел на часы: на них попрежнему три,—забыл завести,—завел. Крылов бледен, истощен, истомлен.

Он зашел ко мне после брекфеста. Он сказал:

— Я опять получил письмо. Я успокаиваюсь, пока нету от нее писем, но как только приходят ее письма, я расстраиваюсь. Все ее письма совершенно бестолковы, и главная линия того, что я хочу знать от нее, сокрыта всяческими мелочами. Она пишет о поцелуях,

и мне противно об этом читать и думать. Я ничего не понимаю. Мне будет легче, если она напишет, что все кончено.

...в России сейчас прозрачные, ясные дни. За городом раздвинулись просторы, поля лежат сжатые, опустевшие, грачи собираются стаями, и над перелеском летит воронья свадьба. Месяц выходит рано, долго висит в ненадобности, потом обмерзает ночью—или согревается ею,—и тогда из лесу выходит волк, бесшумно идет опушкой, не шелохнет опавшего листа. Тени в лесу от луны сини, исчерна. В лесу растут татарские серьги,—их не видно в ночи, это я только знаю. Пустые сумерки были очень долги. Волк долго лежал в овражке. Зайцев не слышно, они ушли в поля.—Любови человеческие цветут по-разному. Хорошо, если любовь зацвела весной (пусть в октябре), несла плоды летом,—тогда каждый год будут весны у такой любви, а осенью тогда так хорошо рыться в письменном столе, где пахнет прошлой зимой,—перебзирать бумаги и письма,—и эти, от прошлой зимы, сложить, связать и засунуть на дно нижнего ящика,—быть может, для того, чтобы посмотреть их последней—человеческой—зимой,—а иной раз для того, чтобы не вспомнить о них—даже этой человеческой последней зимой. Так идет простая человеческая жизнь...—Но волк вышел на опушку ночью осенью, прозрачной, как Пушкин, осенью охот по чернотропу и охотничьих рогов, воспевших осень,—волк увидел стеклянную луну стеклянными глазами.—Но—вот, тоже осень — шумит, гудит, стонет лес, гудит, воеет, плачет — неизвестно кто, что — то ли ветер, то ли волки, то ли тот же лес. И падает, падает мелкий дождь, холодный такой, в котором человеку, если человек идет лесом, страшно двинуться и страшно подумать, что вот он еще вчера, сегодня утром — так спокойно насвистывал из „Веселой вдовы“: страшно представить, что вот вдруг ветер вместо него засвистит над лесом именно этой — веселой „Вдовой“. Тогда — надо человеку остановиться, прислониться к дереву, сдвинуть на лоб кэпи и — засвистеть из „Веселой“...

...Пришла московская почта, буду читать газеты.

8 в е ч е р а.

Сейчас мыл руки: из крана, откуда обыкновенно течет холодная вода, сейчас текла — горячая: так она накалилась в трубах солнцем.

После ленча я спал. Я проснулся потому, что пришел и сел около Локса, молча. Я выпил содовой, с'ел апельсин, выкурил папиросу, чтобы продраться ото сна, — посмотрел на Локса, — он молча посмотрел на меня. Я все понял и я сказал:

— Надо играть в шестьдесят шесть.

— Вот именно, — ответил Локс.

Жара — — фэн гудит метелью и никакого отдыха не несет. Вот преимущество машинки: руками писать невозможно, ибо бумага разбухла бы от пота.

Сегодня были Дзян-Гуян-Ци и Ти-Ен-Хан, китайские литераторы, поэты и драматурги, мои друзья. Говорили о Китруссе. Протекая подземными ключами, общество выплывает теперь на земную поверхность. У общества будет свой журнал „Нэн-го“ (Южная Страна). С ними ездили в китайский ресторан обедать, есть ласточкины гнезда, свиные выкидыши, жучков, засахаренное мясо.

5 часов утра 30.

Сегодня у меня бестолковый день, редкостный в нашем одиночестве: днем китайцы, вечером, ночью —

Сейчас—пять утра: в Москве одиннадцать вечера, послезавтра август, синий вечер, левкой цветут... Рассвет—то пустое время, когда земля не засеяна светом. Я стоял сейчас на террасе: все в тумане, но в таком, какого в России нет, сквозь который не видно только того, что творится на земле,—в небесах делается красными полынями рассвет, по реке, на всех парусах в тумане, плывут сампаны и джонки: тысячелетний пейзаж!..—Россия—рассветы все очищают.

С двенадцати вечера до этого времени я просидел в компании соотечественников, местных артистов местных варьете, музыкантов и балетчиц. Собрались эти люди—в мою честь,—и это вклад в меня, ибо такого я еще не видал!—Один мужчина работал в Хлестакова,—один был просто истериком. Организатор: „вам нравится эта?—берите бутылку и идите наверх“... Все эти были русскими. Мне было совестно, что и я „искусник“...—Россия—рассветы все очищают.—Колония, Китай,—непонятно, ужасно!..—Эти актеры через несколько дней понесут „русское искусство“ — на Яву, в Батавию, в Маниллу...

Однажды ночью за окном около нашего дома я услышал русскую ругань. Женщина садилась в рикшу, на другом рикше ее дождался американский матрос. Русский мужчина в отрепье офицерского костюма, требовал с женщины деньги. Женщина уехала. Тогда мужчина стал кричать ей вслед о том, что он—муж, он может не захотеть и не пустить ее ночевать с матросом,—он требует два доллара. Женщина уехала. Мне—моим путем рассуждений—казалось, что он сейчас начнет проклинать нас, россиян СССР, большевиков, грозя нашему,—большевицкому—дому,—нет: он проклинал только жену —

Рассветы—должны все очищать!

6.30 вечера 30.

Не спал всю прошлую ночь. Днем работал на китруссов. После обеда исхитрился поспать, хоть и ложился в простыню, как в Сахару жара.—Ура! Ура!—мой пароход будет здесь 8-го... Пот течет ручьями, лезет на очки, мешает видеть и писать.

Проснулся в бодром и радостном настроении. Еще в полусне, между сном и явью, от сна остается нечто неосознанное, такое, от которого просто-хорошо, а потом мозг растекается по своим местам сознания, памяти, дел, и тогда—„ну, да, вот, 8-го приходит пароход!“—и все. И этого „все“ — очень достаточно, ибо мертвая точка начинает двигаться, ликвидирует этот кусок мидей жизни, самый фантастический в сущности

и—самый тяжелый во имя фантастики, фантастический во имя тяжестей,—но такой во всяком случае, где переплелись искаженные время, ночи, трупы на канале, непонимание, удушье, революция... Я плохо написал этот абзац: лучше не смогу.—„Всё к лучшему в этом лучшем из миров!“—вскричал доктор Панглос, когда его потащили на виселицу.

Ура! Ура!—8-го приходит пароход.

Утро 31.

Читал газеты. Конечно, совсем иной мир. Там где-то—Европа,—а здесь:—Панама, Батавия, Манилла, эти экваториальные пропаренные бульоны жаров, Сингапур, штормы под экватором, Сун-Чуан-Фан, Фань-Ши-Мин, китайцы, индусы, малайцы, их жизнь, их интересы,—португальцы, арабские еврей, испанцы, французы, англичане,—колонии и метрополии,—колонии. И вот—я, задыхающийся мертвой человеческой, пахнущей с сампан, живущий бытом дипломатического корпуса, в дипломатическом квартале так, как я никогда не жил в медлительности и комфортабельности,—в том, что сегодня старший бсй без всякого моего спросу вычистил от вещей мои чемоданы, все перебрал и развесил по гардеробам, предварительно сносив суконные в химическую чистку, как делают всем джентльменам,—бой решил, что вещам не место в чемоданах, если джентльмен никуда не едет. Очень важно, что я разучился спать, потому что ночи все перераршинивают. Когда я покину эту жару, когда мысли, виденное, воля и нервы придут в порядок,—это будет путь из фантастики.

...если оторваться от Земного Шара и в колоссальном некоем полете посмотреть сверху на Земной Шар,—то увидишь его никак не озабоченным о человеке, враждебным человеку своими размерами,—тем, что север и юг, полюсы скрыты от человека холодом, льдом, метелями,—тем, что юг сейчас в вечной ночи, север в вечном дне,—тем, что вокруг экваториальных стран, в смертельном удушьи, несутся туманы облаков, туч, испарений, плесеней,—ветрами, штилями, зноями, дождями, грозами, снегами, мраками, светями, которые идут над этим Шаром, летящим в пространствах пустот.—Да, так. И—да, велик человеческий мозг, который умеет, вопреки Канту, видеть „вещи в себе“.

9.30 вечера.

Утром сегодня купил пасьянские карты. Весь день раскладываю пасьянсы. Пришла парижская почта, Локс погружен во французские журналы. Я—никуда, к нам—никто.

10.30 вечера.

Израскладывал пасьянс до одурения, и все не выходит и не выходит.

11.30 вечера.

Еще раз грузился в комбинации карт, рассуждая о том, что колоссальнейшая закономерность движет картами, этим пасьянсом, который не сходится.

12 ночи.

Вышел!—два раза под ряд!..

И я выходил на террасу, смотрел на звезды:—очень жаль, что летучие мыши больше не залетают ко мне, и очень жаль, что мышиный труп смыла гроза, — и совершенно жаль, что человечество еще не овладело умением анабиозить людей: я с очень большою охотой заанабиозил бы себя до парохода.

3 часа ночи 1 августа.

Ну, вот и ушел июль, здравствуй, август!—и на канале август встретили канонадой шутих, фейерверками, — встретили смертью какого-то китайца, о котором я никогда ничего не узнаю, сколько бы я ни добивался и ни додумывался. С вечера поднялся ветер, с океана дует, качает лампу, сильный, свежий,—и легче думать. На автомобиле, в этом ветре, во мраке, мы мчали за город, молча, каждый сам в себе, сумрачно. Летящих светлячков уже нет.

8 часов утра.

Всю ночь выл такой ветрила, рвал, метал, и сейчас гудит так, что наш дом похож на судно в море. Небо пустое, как в море. В газетах пишут о тайфуне на океане. Индийский океан меня встретит сентябрем,—эх, и покачает же меня, чтобы я знал, что такое путины по миру!..

Час дня.

Ветер! ветер!—Локс пришел ко мне и сказал, что он молодеет ветром на десять лет и нынче ночью первый раз за лето спал без кошмаров.—Золотой—золотой—золотой день, тот, о котором, по Майн-Риду, говорится: „настал прекрасный тропический день“.—

11 вечера.

Сейчас уже не ветер, а ураган, свистит, воеет, окна позакрыли, все дрожит: сейчас можно помолиться за плавающих!.. Уууу-иии-ююю!—гудит, воеет, плачет. Ночь черная, канал замер, опустел, мечутся под террасой деревья.—Люблю стихии!.. Тайфун!..

Почему—Китай, а не Норвегия?—это чувство одиночества и бодрости, которое сейчас у меня, мне дал Гамсун.—Локс пришел ко мне с картами, мы играли в 66, он выиграл.—У каждого человека должно быть свое хозяйство: я совершенно уверен, что вот этот воющий ветер—есть предмет моего хозяйства и моего бытия, наряду с пасьянсами. Ночь черная—черная, звезды яркие, и этот гудящий ветер, дующий черноту на землю, делящий эту темноту совместно со звездами.

9 утра 2.

Ветер стихнул.

Пришел Крылов, показал текст телеграммы, которую он послал утром жене: — „Я никогда не любил так как люблю сейчас и все мое отдаю твои руки если они чисты“.—Эта русская истерика, написанная латинским шрифтом, будет прогнана электрической энергией до Москвы, путинной трети Земного Шара.

• • • • •

...Китай!..

Мне сказали, чтобы я делал приветливое лицо. Мы шли рабочим кварталом, там не было ни одного европейца. Я видел, как в палатке, в роде тех, в коих торгуют у нас на деревенских ярмарках, таких, где стены из тряпок и на день эти стены подняты,—живет целая семья рабочего, со старухой бабкою при дюжине ребят, где и бабка и мать одеты только в тряпку на чреслах, а дети совершенно голы. Так, рабочими кварталами мы дошли до храма. Храм принадлежит этому району. Храм нищ. Это в сущности маленький городок храмов, где есть все—от молелен по разрядам и чинам молящихся и помирающих,—до мастерских, до клетушек (около богов) священных проституток (видел их, этих священных проституток,—они сидят табунком, молодые и старые, отданные отцами богу, вышивают, пьют чай, мирные). Храм носит имя—Храм Небесной Царицы. Две китайки при мне принесли в жертву богине двух куриц. Там полутемно, очень тихо, сонно, пахнет сандаловыми курениями. Там у меня начала кружиться голова, и мутиться, и болеть от жары,—и мы пошли во-свояси. По китайским правилам нельзя из храма взять человека в тюрьму. Я ходил в этот храм потому, что именно из него был взят полицией Лю-Хфа. Там в храме есть полутемные стойлица за решетками, с подметенным полом; там могут лежать экстатически-молящиеся—часами: многие, кому негде лежать и спать, приходят туда, ложатся „экстатически“ и спят. Очень дурманно пахнет в китайских кумирнях. Я слышал, как зевают китайцы: совсем не по-нашему,—они поют зевая, так же, не в обиду им, как воют собаки. Лю-Хфа скрывался в этом храме и прятал здесь членские деньги. Полиция его взяла из храма.

.....

... жара—жара—жара! Пришел Крылов: еще образовался новый фронт: генерал Чу-Пей-Так вторгся в Западную Дзянси. Сегодня какой-то солнечный тайфун, уж и не знаю, что это такое, потому что ветра никакого, не зашелохнет, и воздух мокр и горяч, как—как когда разломишь только что вынутый из печки ситный. Крылов рассказал, как калганцы ссорились со своим богом Городской Стены. Слушая, я лежал в постели, больной от жары, в простынях, мокрых от пота.— В 1924 году было очень засушливое лето. Калганцы молились главному своему богу—богу Стены, молились соборно, чтобы помог: не помогал. Тогда калганцы вынесли бога из кумирни под солнце, чтобы ему самому—богу—стало жарко. Вынесли,—и на второй день полили дожди, такие дожди, что получилось наводнение, залило город, плавали по городу на джонках, многие перетонули. Калганцы вытащили тогда бога под дождь, посадили в лужу и там его пороли.—А потом, когда наводнение кончилось, бога поставили в кумирню и — забыли о нем до новогодья 1925. Перед самым новым годом гадатели установили, что:—изображение бога осталось в кумирне, но самого бога там нет, ибо он пошел жаловаться на калганцев на небеса, самому

главному (забыл имя) небесному богу. Без этого же бога Стены—никогда не встречали нового года и нельзя встречать. Новый год приходилось отменить. И отменили. Но, все же, всем городом в полночь перед новым годом пошли к западным воротам просить у бога прощения. Пришли с фонариками к воротам, открыли их и пали ниц перед ворстами, моля бога помириться и вернуться в город. В половине четвертого утра стало известно, через бонз, что бог находится за воротами, куражится и пойдет на свое место в кумирню только в том случае, если люди будут заманивать его ползком. Пришлось поступить так: ползли от ворот в город на четвереньках, лицом к воротам, задом к городу, ползли задом-наперед до самой кумирни: заманивали таким образом бога. Приползли к кумирне, расположились вокруг нее веером, головами внутрь. Бог проследовал в кумирню, вместился в свое изображение. Люди сомкнули веер. И тогда—о, тогда!—люди бросились на бога в кумирне, избili его, заперли так, чтобы он не мог уже убежать,—и: по случаю нового года пошли играть в маджан, в кой и проиграли три дня под ряд!..

Крылов клянется, что это не выдумка, но факт, иллюстрация старого Китая, живущего поныне.—Вышел на террасу, курил, запрокинул голову. Да, такого неба у нас не бывает: оно здесь гораздо темнее и глубже, далече,—и такие яркие незнакомые звезды. Я с успехом могу теперь написать рассказ о том, что такое ссылка.

...

... сегодня утром ко мне—в 8 часов—ввалился мой друг—поэт Дзян-Гуан-Ци. Я спал. Он сказал, что ждет автомобиль, надо ехать кинографироваться в целях нашего Китруса. Поспешно брился, мылся, и мы поехали на фабрику. Там—светопреставление, все вверх дном, вешают фонарики под потолком, развешивают картины, расставляют столики: делают артистическое кафе.—Это я приду в кафе, которого на самом деле здесь нет, в артистическое, с русской художницей (пригласили одну мою русскую приятельницу—художницу), с китайским скульптором (настоящим, знаменитым китайским скульптором, который 6 лет обучался во Франции), профессором (настоящим, словесником местного университета, популярным человеком) и с поэтом, моим другом и переводчиком—Дзян-Гуан-Ци. Мы сядем за столик, будем разговаривать, нам будут подавать две девушки,—я, как демократ и как сын революционного народа, предложу им с нами выпить, подсесть к нам,—они подсядут, и Соня—русская художница—будет одну из них зарисовывать. Кафе полно народу. Два студента узнают меня и просят познакомить их со мною. Мы меняемся визитными карточками. Мы говорим. Они, студенты, говорят, что они приветствуют меня, русского революционного писателя. Мы все встаем, чтобы совместно выпить, и студенты, и горничные, и—мы, наука и искусство. И я вкладываю руки студентов в руки горничных—по-европейски—как символ содружества науки и демократии, содружества труда и знания!..—Так было выдуманно Ти-Ен-Ханом.

Разыграно было не совсем так. Столпотворение творилось вавилонственнейшее!..—кафе готовили до двенадцати дня. Жар жарил невероятный. Все в суматохе говорили только по-китайски. В 12 часов, по команде, так что я ничего не понял, — всем населением, человек тридцать,—по-просту, по-рабочему—двинулись в соседнюю китайскую кухмистерскую обедать. Дали полдюжины супов, лягушек, лотосов, кусочки собаки. Соню чуть-чуть не стошнило, хотя она и не ела. Я ел, пил и сидел мокрым, как мышь. Вернулись. Народу еще прибавилось. Столпотворение. Тут-то и начались мои страдания.

Начали кинографироваться. Меня посадили в центре, все прожекторы навели на меня, а кроме прожекторов установили еще такие щиты, которые отбрасывали на меня лучи настоящего солнца. Эти-то щиты и были моим ужасом, ибо, во-первых, они палили утроенным жаром, а, во-вторых, я от них—слепнул!..—Все разместились по своим местам. Хотя на киноленте и не слышно,—тем не менее музыкант играл на скрипке и пел певец,—китайская же музыка и пение—на ухо европейца — кажутся окончательным вырождением слуха, от пения и скрипки у меня начинали ныть зубы, как они ноют, когда трут пробкою по стеклу. Все говорили сразу, и был невероятный ор, мне никак не понятный. Дзян-Гуан-Ци—должен был и играть, и переводить то, что говорят мне: ему кричали благим матом, он отворачивался от об'ектива и орал мне.—Началось так. Вышли, сели, сняли головные уборы, заказали вина, девушки принесли: все шло по порядку. Но тут пришли студенты и сели так, что щит (проклятый!) оказался против моих глаз. Я встал, чтобы поздороваться со студентами и дать им мою визитную карточку и:—ослеп, форменно,—понимаю, что ничего не вижу, — силуюсь раскрыть глаза — опять сноп этого невероятного солнца, опять жмурюсь и тяну руки к лицу. Оператор вертит,—я понимаю, что так не знакомятся. Режиссер орет на Дзяна. Дзян орет на меня. Все орут. Ничего непонятно. И я стою, плачу, текут слезы от света и боли в глазах. Музыка вофт.—Начали это место переснимать вновь. Я понимаю обстоятельства: позвали крупных людей, уважаемых и известных, да и мне дурнем выглядеть не хочется—перед историей: на всю эту операцию я согласился, хоть и понимал, что глуповато, только ради дружбы Китруса да ради хороших людей, так же согласившихся на этот трюк, на тот, что, мол, вон она—настоящая китайская действительность, скрашенная известными именами!..—Но я увидел, что все китайцы давно уже бросили „играть“ и—борются только с солнцем и этими проклятыми солнечными щитами, слепящими и поджаривающими человека: так что получается даже хорошо: иллюстрируется, как люди страдают от солнца и не смеют глядеть на дракона.—Музыка играет, певец поет, солнце сжигает, пот течет, все орут по-китайски, ничего непонятно. Режиссер орет на Дзяна. Дзян орет на меня. Я слеп и глух.

Так до четырех часов. Тогда — опять точно по команде — все встали, чтобы пить чай. Я отпросился домой—отмолился!—и, приехав,

экстреннейше полез в ванну...—Некогда, когда меня брали в солдаты и проверяли мою близорукость, мне впрыскивали в глаза атропин: я полуслепнул, и мои зрачки теряли возможность расширяться и суживаться: сейчас мои глаза, после этих киноопераций, не могут смотреть так же, как после атропина. И все время у меня в горле и в голове—эти светы, вои и музыки.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

.....
2 часа ночи.

Очень странное состояние возникает, когда часами раскладываешь пасьянсы: все сливается в глазах, нельзя уже оторваться от карт, но нельзя и сосредоточиться на них,—карты сливаются, карты вырастают до огромных размеров, карты проваливаются куда-то, уменьшаясь до булавочных головок. И тогда начинает казаться, что стол, машинка, карты на столе,—все движется, ползет, живет. И мысли тогда куда-то проваливаются. Локс разговаривает сам с собой. И наяву тогда путаются сны: кошмарствуют прожекторы, от которых слепнешь, пароходы, китайская музыка и галдеж, кумирни, переулки.— Я прошел по комнатам нашего дома. В столовой на столе содовая и ликер, апельсины и карты для пасьянса, и сор от пепла и апельсинов. В гостиной перерыты сотый раз все журналы. В кабинете нечем дышать от кожи кресел. Там, за стенами нашего дома,—работают люди, воют, умирают, предаются, побеждают, торгуют, умирают от жары, от засухи, от наводнений, от голода, от холеры, заговорщичают, бунтуют—китайцы,—там, за нашим—этим!—городом, на огромных тысячах километров, где живет самая многочисленная в мире нация, та, которая первой изобрела печатный станок, порох, компас, то-есть то, что дало мощь Европе,—та, которая живет в ужасной нищете и варварстве, в грязи, в удушьи трупины, от которого у меня, в частности, скоро начнется психическое расстройство... Я мозгами развожу, как философы руками: я очень устал, очень измучен,—и над картами мои мысли научились двоиться, троиться и вообще быть только „дробями“, потеряв возможность координироваться в задачах со „многими неизвестными“. Локс разговаривает сам с собой: Локс живет в этом мире потому, что по всему Земному Шару-должна пройти коммунистическая революция.—Здесь в доме у нас—зима и ссылка.

.....
...в России сейчас август. Ночь. Падает, падает мелкий дождь, холодный, такой, в котором человеку, если человек идет лесом, страшно двинуться, страшно подумать, что вот он еще сегодня утром насвистывал из „Веселой вдовы“. Но дождь перестал, и в ненадобности повиснул на небе месяц, обмерзает ночью,—и тогда из леса выходит волк, не шелохнет опавшего листа...—Ах, Россия, моя Россия,—от'езжее поле мое!..—Стежанными глазами волк глядит на стекляннуну луну.

Москва, на Поварской.

7 февр. 1927.

Здесь, в Китае

СЕРГЕЙ АЛЫМОВ

Ах, свой особый тонкий смысл
Дают всему иероглифы!
И водопад веков не смысл
Китая медленные мифы...

И пусть летит аэроплан,
Дивя изогнутые крыши.
В Китае свой особый план...
В Китае мчатся только рикши.

Здесь все протяжно: смерть... поклон...
Звонки у лаковых кумирен.
Здесь время тихо потекло,
Совсем не так, как в прочем мире...

Здесь верит внук, как верил дед,
В непотускневшие преданья.
Здесь, как тела лежащих дев,
Корней волшебных очертанья...

В порту железо и гранит,
А сотни верст: песок и топи...
И силу прежнюю таит
Китай зачаровавший опий.

Антенна струнная нова;
Она приносит речь иную.
Но крутят мерно жернова
По фанзам мальчишки вручную.

Из камня грубого катки
Терзают нежную пшеницу.
Письмен китайских завитки
Не перестали тайной виться...

Здесь казнь хунхуза—торжество...
Здесь смерть—парадная забава...
Красивейшее божество
Страшной раслувшего удава.

У каждой фанзы под окном
Ручьи легенд лениво льются...
И, словно гонг протяжный,
Гром
Неотвратимых революций.



Отступник

Роман

ВЛ. ЛИДИН

(Окончание) ¹⁾

XXXVI

Шустынен был в этот час туманный глухой бульвар. Деревья, еще чернея стволами, уже невидимо исчезали в нем своими безлистыми кронами.

— Это ты, Кирилл?—спросил Свербеев настороженным и неизвестным голосом.—Садись сюда, рядом. Курепов сейчас подойдет.

Безсонов сел рядом с ним на скамейку.

— Это хорошо, что ты раньше пришел. Надо обсудить еще кое-что... прежде всего, вот это. Возьми и спрячь. Обращаться умеешь, надеюсь?

И Свербеев достал из кармана пальто и подал ему какой-то черный предмет.

— Что это?—спросил, вздрогнув, Безсонов.

— А ты как думаешь, что?

И Безсонов вдруг ощутил в руке холодную сталь револьвера.

— Ты с браунингом обращаться умеешь?—спросил снова Свербеев.

Минуту, зыбко охваченный дрожью, Безсонов молчал.

— Скажи мне по совести, Федор,—сказал он, наконец, овладев собою,—зачем ты мне это дал? Разве ты думаешь...

— Ничего я не думаю... Без ружья на медведя не лезут, вот что я думаю. Случайностей здесь, брат, не оберешься... так это я—для самозащиты, или, может быть, припрут нас с тобой так, что это только нам и останется... Понял?

И внезапно с огромной надеждой и благодарностью ощутил в своей руке Безсонов это последнее, все решающее избавление, о котором столько он думал. С этим ничего не страшно, потому что это может быть разрешением всего и избавлением от всего,

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 4, 5, 6 и 7 с. г.

если понадобится. Он положил револьвер в карман и молчал, в дыму и пламени своих мыслей.

— Сейчас будем двигаться,—сказал Свербеев беспокойно, и тотчас же в тумане возникла фигура торопливого человека. Таинственно, как заговорщики, собрались они здесь, на скамейке бульвара, в глухой этот час. С Москвы-реки временами широко дул ветер, и мартовская ледяная луна, прорвавшись из туч, скорбно вырывала из тумана и мглы золотой бок купола Храма Спасителя.

— Все в порядке?—спросил Курепов, запыхавшись.—Двинемся, что ли?

Опять наспех, перед тем как отсюда уйти, они повторили порядок их действий. И десять минут спустя глухой Сивцев Вражек, как туманная Темза, подхватил их в свое русло. Они шли молча и торопливо мимо низеньких спящих домов. Дорогой в чистилище показался Безсонову этот путь. Наконец, свернули они в переулок и вскоре подошли к знакомому дому, вселявшему ужас осужденья в Безсонова. Окна были темны, в кабинете Челищева света не было. Они разделились: Курепов остался возле темного парадного, Свербеев же и Безсонов быстро зашли во двор; низкая дверь с привешенным камнем с визгом открылась, и здесь в угольной темноте сидел на нижней ступеньке и ждал их Феськин. На секунду чиркнула оранжевой полосой спичка, осветила лицо, зловеще блеснувшее мертвенной белизною белков, и погасла.

— Новостей никаких?—быстрым и жарким шопотом спросил у него Свербеев.

— Спать легли в первом часу... должно уже угомозились,—ответил Феськин.

Снова повторили они друг другу все, что предпринять на случай тревоги. Парадное стерег Курепов; они медленно, за ступенькой ступеньку, поднялись по лестнице и стали слушать у двери. Все было тихо. Тысячезвонно, пудами этого звона, звенела тишина. Она вливалась в уши, мешая слушать, заполняла, заливала собой, как растопленная смола. Так билось сердце—никогда не знал Безсонов, что может так трепетать, живую пойманную птицей, этот страшный и горячий комок человеческого естества. Феськин нащупал скважину замка и повернул плоский, давно подобранный ключик; из щели открывшейся двери, сдерживаемой только цепочкой, пахнуло кухонным теплом; торопливо стучали часики, повидимому, на стене. Феськин просунул руку с кусачками,—короткий звук перекусываемого звена всколыхнул тишину. Замерев, не дыша, они ждали. Ничто не отозвалось изнутри, попрежнему деловито стучали часики на стене, точно стараясь самих себя обогнать. Тогда Свербеев потянул дверь к себе, и следом за ним вошел Безсонов в жаркую кухню. Феськин остался на лестнице сторожить.

— Ступай вперед,—сказал Свербеев в самое ухо, и медный свет ручного фонарика метнулся по полу и указал ему дверь. Сейчас же

потух этот свет. Безсонов двинулся к двери и взялся за ручку. Тонко, воплем о помощи, закрипела эта ненавистная дверь. Опять, зацепив, они ждали. Все было тихо в этом бездонном коридоре; в уборной успокоительно журчала вода. Вновь медный отблеск плеснулся на полу и осветил коридор. Шаг за шагом подвигались они по нему теперь; справа осталась комната консерваторки, потом — глухой тетки. Консерваторка вернется не раньше трех, тетка спит, прикрыв вдобавок свою глухоту краем одеяла... Так подошли они, наконец, к спальне Челищевой. Вот здесь ожидало последнее испытание. Если только не проснется она в это мгновение, в следующий уже миг оглушит ее ватная маска, которую смачивал Свербеев теперь у дверей эфиром. Тогда, в тишине, в пять минут они все покончат, добудут деньги и уйдут неслышно и незаметно, не оставив следа... Только короткие эти и роковые пять или десять минут.

Дверь в спальню была завешена еще и портьерой. Ковер от самых дверей мягко впитывал их шаги. На один только миг свет фонарика ополоснул эту комнату и потух. В комнате пахло духами, лекарством и теплом спящей женщины. Смутной розоватой горой на миг прояснилась женщина в глубине. Чередую тьму с короткими вспышками света, Свербеев двинулся к ней. Секунду спустя тёплое мерное дыхание коснулось его руки. Быстро поднес он пропитанную вату к лицу женщины. Ни одним звуком или движением не отозвалась она. В колокольный звон перешло для Безсонова звучание тишины в эти минуты. Стоя посреди комнаты, не смея двинуться, не существуя, он ждал... Что делал там, в темноте, Свербеев?.. От корней волос побежали плоские струйки пота. Вдруг победоюсно и холодно, наполнив его смертным ужасом, дрогнул и светящимся кругом проплыл по потолку свет. Подойдя, жарко сказал Свербеев в самое ухо:

— Готово... Где секретёр?

„Что готово?.. Неужели он убил эту женщину?“ Заливаясь потом, сковывавшим холодным обручем его лоб, Безсонов двинулся за Свербеевым следом, боясь уже отстать от него, отдавая себя всецело этому человеку... Нет, женщина слабо стонала, задыхаясь от видений под маской. Такою же неподвижной горой лежала она в огромной постели красного дерева. Фарфор, безделушки, лампа под шелковым желтым платком, красный секретёр — жилище женщины. Ключ от секретёра всегда в сумочке на столике рядом с постелью.

— Держи фонарик,— сказал Свербеев неистово.

В одно мгновение вывернул он бисерную сумочку: пудреница, золотой карандаш для губ, платочек, ключ. Почти в один шаг был он у секретёра. Тяжелая толстая крышка откинулась беззвучно, повиснув на медных дужках. Быстро выдвигал ящики Свербеев, перерывая все эти шкатулки, кожаные коробочки, деревянные футляры из-под драгоценных вещей, перчатки, кружева, мелочи,— все тщательно уложенное, в женском порядке... В боковом верхнем ящике под бумагами, под сложенными хрусткими лотерейными билетами, он нашел

завернутую в шелковый платок пачку, — от волнения и нетерпения он не мог развязать тугого узла, ломая об него ногти. Наконец, развязал он этот шелковый узел — деньги, деньги — зеленые, искомые деньги, несколько пачек, и под ними — червонцы, которые Челищев еще не успел обменять... В секунды распахнул по карманам это богатство Свербеев, — и, вероятно, секунды их отделяли от завершения этого дела, если бы неожиданно, страшно, невероятно, в последний этот миг все не сложилось иначе. Может быть, впопыхах, сгоряча они чем либо стукнули, извлекая предметы из ящиков, или, может быть, как раз в эти минуты необъяснимая тревога предчувствия разбудила Челищева. Влекомый этим страшным и роковым зовом, он подошел, вероятно, к дверям своего кабинета и прислушался к тишине. Услыхал ли он подозрительный звук, или может быть лезвие света блеснуло из спальни, или послышался ему стон жены, — но именно в ту минуту, когда считали они все это дело поконченным, появился он позади, в дверях коридора... Безсонов не запомнил в подробностях, были ли это секунды или минуты, или часы, — но то, что запомнил он, отпечатлелось в нем с такой нестерпимой яркостью, словно огромной резкости об'ектив заснял для него навсегда это невероятное зрелище. В длинной белой сорочке, со спутанными, уже совершенно седыми волосами, появившись страшным видением, испустил в дверях как бы ликующий крик Челищев... В тот же миг потух карманный фонарик Свербеева. Не помня себя от ужаса, в одно дуновение схватился Безсонов за револьвер в кармане. Заколебавшись на секунды в пролете дверей, с тем же воплем ринулся Челищев по коридору назад к своему кабинету, — и вот тут случилось самое страшное и непоправимое, чего никак не мог объяснить себе до конца впоследствии Безсонов... Вместо того, чтобы ринуться за Свербеевым вслед по тому же коридору, через какие-то доли минут скатиться по лестнице и бесследно исчезнуть в тумане, он побежал именно в ту же сторону, что и Челищев. Он нагнал его у самых дверей кабинета и в какой-то невероятной, неизвестной доселе бесчеловечной жестокости, потрясшей его восторгом уничтожения, выстрелил раз и другой в этот ненавистный затылок. Челищев сорвался ничком, словно его снесло в кабинет, где мирно и деловито горела на столике возле дивана зеленая лампа. Не оборачиваясь, ринулся Безсонов назад, пробежал по коридору, спустился по лестнице и выбежал во двор. Ни Свербеева, ни Феськина не было.

В ликующим ужасом, ожидая, что здесь же у самых ворот его схватят, пошел он навстречу этому своему обречению, — но никто не встретил его, переулок был пуст в мартовском непроглядном тумане. Безсонов прошел по переулку, не понимая, в какую сторону он идет, ночная сырь принялась остужать лицо. И дальше шел он и шел незнакомым слепым переулком. Наконец, переулок кончился, и он увидел бульвар с грандиозными в этом космическом тумане деревьями. Он перешел мостовую, толкнул скрипучий тамбур, поднялся по сту-

пенькам бульвара и пошел по аллейке. На первой же скамейке он сел. И сейчас же, с ним рядом в этом тумане, неизвестно откуда, словно свалившись с небес, оказался Свербеев.

— Что ты наделал? — спросил он, почти задыхаясь, оплеснув его ненавистью и злобой.

— Убил Челищева, — ответил Безсонов просто и горько, и слезы сокрушенья и ужаса потоком залили его лицо.

— Дурак... тля... на мокрое дело с бандитами путайся, а я не в ответе! Сам натворил, сам и отвечай. Болван, болван... зачем только дал я тебе револьвер!.. — И Свербеев, взявшись за голову, застонал. — О, не вяжись с дураками, не путайся с кретинами, — скрежетал он еще минуту, но вскоре же собрал себя и тряхнул Безсонова за плечи. — Чего ты расселся... натворил — так беги. Может, никто и не слышал еще!.. За мной сейчас же иди, без оглядки.

Крепко стиснув за руку, он потащил его за собой по бульвару; пять минут спустя, прикрытые спасительным этим туманом, выбрались они на Пречистенку. Здесь Свербеев нанял ночного извозчика к Мясницким воротам, и в широких санях повлекло их дальше сквозь ночной спящий город, сквозь туманы и март, в другой конец, словно в небытие... Через полчаса у Мясницких ворот, возле желтой луны часов телеграфа, они пересели на другого извозчика на Тверскую-Ямскую, — и так, с извозчика на извозчика, из одного конца в другой, ездили они до рассвета, и на рассвете привез их извозчик в извозчичью чайную. Здесь за крайним столом заказали они хлеба и чаю, и с наслаждением и жадностью пили из двух огромных расписных чайников чай и ели ситный, а кругом сидели квадратные большие извозчики в синих кафтанах поверх полужубков, склоняя над блюдами с чаем прямые проборы, — такие же извозчики, как и тогда в детстве, когда бегал в столовую маленький Кирилка Безсонов есть на пятнадцать копеек свой сиротский обед... С горечью и отчаянием смотрел Безсонов теперь на этих синих извозчиков, когда-то мирных спутников его детства, мирно они допивали чай, возвращаясь к труду, в стылое бесконечное утро, — а он уже никуда не вернется и возвращаться ему теперь некуда, потому что с сегодняшней ночи пустынно и непоправимо оборвалась его жизнь. Он посмотрел сквозь этот туман на Свербеева и зарыдал, закрыв руками лицо. Старичок-извозчик, проходя на волю, потыкал его ласково в плечо и сказал: — „Э-эх, слабый, а зачем пьешь... много она народу слез стоит, проклятая“, — и пошел во двор отвязывать торбу шершавой своей и покорной кобыленки.

XXXVII

Как бы по слову Свербеева, непонятно и странно — не только никто не заметил их, когда вовсе без памяти они выбегали ночью из дома Челнцева, — но загадочной и необъяснимой тайной с другого же дня обросло для всех это страшное дело. Никто ничего не знал, не-

обычайно ловко канули все следы; оправившись от потрясения, не могла и Челищева указать никого, на кого бы имела она подозрения. На другой день с утра Свербеев и Курепов сделали все, чтобы замести хотя бы малейший след. Свербеев с утра пришел в институт, был на практических занятиях, слушал лекции, бегал обедать в столовку, стоял в общей очереди за обедом и вместе же со всеми студентами ужасался чудовищному преступлению, трагическому и бессмысленному убийству Челищева... Как умел этот человек так железно себя собрать, в то время как он, Безсонов, осознал в это утро свою жизнь не только оконченной, но и пришедшей к тому пределу, когда со страстной надеждой и страстным отчаянием жаждешь возмездия! После того, что произошло вчера ночью, жить больше нельзя. Жить со страшным и, может быть, особенно страшным, что оно не открыто, — преступлением в груди, возле самого сердца, немислимо. Никогда он ничего не забудет, никогда не ослабит время памяти этой ночи. Нужно пойти — просто и ясно сказать: „Я — преступник“. Лишь после этого для себя самого он получит право на дальнейшую жизнь. А иначе — вот в этом запрятанном, единственно дружественном в эти дни револьвере — остались еще пули в обойме, нужные для того, чтобы решить и оправдать его жизнь...

Как это произошло? Как, случилось с ним, что, катясь с одной на другую ступеньку, докатился он до последнего преступления, до убийства человека?.. Преступник ли он, или только запутавшийся, сам запутавший себя больше всех — отступник?.. Знал ли он, соглашаясь на это дело, отправляясь ночью на квартиру к Челищеву, что идет на убийство? Но если бы он шел на убийство, он прежде всего подумал бы об оружии, а оружие дал ему Свербеев против его воли и замыслов, насильно всучив хорошенькую смертоносную эту игрушку... Так, в терзаннях он прожил этот новый день своей жизни. Врасплах, в самую немислимую мешанину решений и мыслей застал его под вечер Свербеев. В коридоре, после занятий, сказал он ему как бы мельком:

— Выходи наружу и жди меня на углу возле часов... разговор крайне важный.

И, как всегда, ненавидя, сопротивляясь всем существом, Безсонов не мог противоречить этому ненавистному голосу. Они встретились у часов, и Свербеев увлек его на скамеечку, на маленький маслянисто-подтаявший скверик, пустынный в этот час угасания дня.

— Ты что, вижу я, нос на сучок повесил, Кирилл? — сказал деловито Свербеев. — Дело сделано, брат, и сейчас тоской ничего не исправишь... Главное, имею я сведения, что никаких следов, ничегошеньки, в чистоту. Только сплавить валюту, чтобы никаких улик... с этим делом мы с Куреповым справимся! А вот тебе, Кирилл, решили мы на выдел отдать прямо червонцами, червонцев ровно на четвертую долю было, кроме как по двести целковых для Феськина с каждого, как мы с ним условились... Выходит тебе получить две

тысячи восемьсот... вот здесь вся пачка в газету завернута. Спрячь ее понадежней... понял?—И Свербеев совсем налез на него.—Я для тебя же, Кирюшка, стараюсь... ты это должен ценить! Я тебя за вчерашний поступок мог бы нагишом выдать, никто тебя на эту мерзость не уполномочивал... и ничем бы ты оклеветать нас не смог без свидетелей; а мы двое—свидетели против тебя, что был ты зол за зачет на Челищева, не раз в его квартиру заходящая, было еще на душе у тебя дельце касательно Тани, и вот все это если подвести под черту,—выходишь Челищеву ты наизлейшим врагом... а отсюда и все выводы. Но не такой Свербеев, чтобы товарища в беде бросать... нет, Кирилл, я тебя не покину! Сейчас нужно так замести следы, чтобы и перышка не осталось. Курепов с утра уже нынче вернулся в Подольск, словно и не выезжал оттуда. Я на квартиру поутру вернулся, выбрал время, когда ушла соседка за молоком, а сам ключиком в дверь, прошмыгнул и спать завалился... а помнит сосед, что забыл я с вечера ключ и сам он пустил меня ночевать!.. Остаешься ты, значит,—ну, а ты на чердаке был, есть свидетели, и значит и ты в случае чего обелен. Вот видишь, какой оборот всему обдумал на всякий случай Свербеев. Первым же делом должен ты меня насчет себя успокоить, очень не нравится мне эта твоя хандра!..

— Послушай, Свербеев, — сказал ему глухо Безсонов минуту спустя,—я так жить не могу... с этим я жить не стану, и лучше всего тоже уйти мне к чорту, чем сидеть на берегу и дожидаться, пока я сам на своих глазах пушу пузыри.

— Что же ты делать надумал? — Свербеев спросил выжидательно.

— Пойти и во всем открыться... просто сказать, Свербеев, приять осуждение, казнь, тюрьму, что хочешь, но с этим я жить не стану.

— Нет, уж лучше пусти себе пулю в лоб,— с необыкновенной жестокостью ответил Свербеев,— думаешь, тоже начнешь топить, как Наум Робертович? Так ты-то утонешь, мы от тебя откажемся, наше-то alibi мы установим... знаешь ты, что означает alibi? И ступай ко дну и чорт с тобой! А мы жить останемся, превосходно, замечательно жить! Хочешь—на твою могилку весной маргариток посадим? „И умру я весной, похоронят меня“, — пропел Свербеев вполголоса.— Нет Кирилл, я правила жизни усвоил! Ни на что не обращай внимания, не расстраивай себя понапрасну, никто не оценит, и никому твои огорчения не нужны, а главное, на все наплюй, живи в свое удовольствие, чтобы знать, что незадаром тебя вши грызли, незадаром ты под расстрелом стоял... чтобы все было позволено, Кирилл, решительно все, и чтобы взять в расход человека, который на твоей дорожке стоит, и дело это для себя не преступлением считать, а нормальной борьбой за жизнь!.. Вот как в девятнадцатом году вытолкнуешь человека из теплушки и не пожалеешь, и не подумаешь, свалился ли он на пути или замерз,—лишь бы ты до места добрался и мукү свою довез... А сейчас что изменилось? Так же волочат люди свою поклажу и ежели кто на пути—ну, извиняюсь...

— А что же мне теперь делать, если я так жить не смогу?— спросил Безсонов у него совсем искренно, — если с этим на душе я больше не человек... Это хорошо, ты сможешь жить, так уж ты устроен, Свербеев... а я пропаду с этим, главное для себя пропаду, и уже пропадаю,— почти с сияющим ужасом сказал Безсонов.

— А если пропадешь,— тогда тебе пятак цена в базарный день — и не жалко, пропадай, пожалуйста! Не вð-время только пропадать ты затеял, когда жизнь к тебе в самые руки лезет, просится... а если ты о вчерашнем — то это как гражданская война, брат, сегодня — ты, завтра — я. Конечно, складнее бы без этого, ну а раз так случилось — обратно не повернешь...

Все это проворно говорил Свербеев и все же вертелся в беспокойстве от этого настроения и совсем несвоевременных мыслей Безсонова. Прежде всего, это было опасно, это было новое и неожиданное препятствие на пути. Все это быстро прикинул он и решил не отпускать его от себя в этот вечер, чтобы не ушел тот снова в свое тревожное одиночество, и еще несколько дней не отпустит его от себя он, пока не обработает так, как нужно для их безопасности. В раздражении от этой новой обузы, свалившейся на него, повел он его за собой. Чтобы развлечься, зашли они в кинематограф на Тверской, сели на хорошие места и успокоительно принялись смотреть замечательную американскую картину, в которой участвовал старый знакомец с пронзительными глазами, запомнившийся Безсонову так хорошо в часы его одиноких блужданий, Гарри Пиль. За стеной позади мечтательно возносился оркестр — несколько плакучих пронзительных скрипок, а здесь Гарри Пиль летал над безднами под прыгающие звуки почтенно обыгранного рояля. Почти не видя этого Гарри Пиля, слушал Безсонов себя, страшную музыку своей смятенной, опустошенной, ни на что уже не надеющейся души. Что же, если Свербеев, действительно, хочет жить — он прав, право на жизнь — за ним. Но если сходитя жизнь так, как сошлась для него, не лучше ли досмотреть эту ленту, выйти отсюда и не вернуться ни домой, ни к Свербееву, никуда?.. И сейчас же весело опять в самое ухо запел беспризорный мальчишка, который поет на круговой остановке трамвая у Арбатских ворот, озорным и совсем не печальным голосом:

На могилу безвестну
Да никто не придет,
Только ранней весной
Соловей пропоет!...

А если прав Свербеев: ни над чем не останавливаться на этом пути, ни над чем не задумываться в этой продолжающейся гражданской войне, выбросить человека из теплушки, не думая о том, разобьется ли он иль замерзнет, — лишь бы добраться до цели. О, тогда можно жить превосходно, небывало! Тогда в кармане, в газетной бумаге, чудовищная для него сумма, которую он уже не растратит, не проигрывает в одну ночь, слишком дорогой ценой она досталась ему,—

тогда он возьмет непокорную жизнь и сломит ее для себя на такие дни ликований, которые до сих пор лишь снились... Но Гарри Пиль перемахнул на шесте через пропасть, и в матовых чашах под потолком, словно налили до верху их белым вином, затеплился свет. От своих видений оторвался Безсонов. Чувственный острый свербеевский нос маячил подле него; Свербеев дремал во время представления, может быть, как и он, отдавшись своим безудержным мыслям. В десятом часу они вышли из кинематографа, и до самой полночи, преодолевая усталость, не отпускал его от себя Свербеев и даже проводил до самого общежития. В 12 часов запирались двери; изнемогая, добрал до своей кельи Безсонов, пробрался мимо спящих товарищей и сейчас же окунулся от усталости и пережитого в трясину несуществования..

Какие-то тайные тревоги и думы не зря беспокоили Свербеева в этот вечер, не зря в тысячный раз перебирал он в уме, не могли ли оставить они наводящих следов, все ли было замечено ими в чистую, ибо, как всегда, в самом сложном и обдуманном деле забывают какую-нибудь маленькую деталь, которая является первой и руководящею ветхой... В первом часу добрался он до своего переуллка, но, ведомый необъяснимым предчувствием и осторожностью, вышел он к своему дому не прямо из переуллка, а прошел мимо него стороною сначала, согнувшись и пряча нос в воротник. На противоположной стороне тротуара в тени стоял человек и смотрел наверх. Окно его, Свербеева, комнаты выходило именно в этот переуллок. Свербеев прошел мимо дома, свернул в боковой переуллок и там остановился с бьющимся сердцем. Что это был за одинокий человек в переуллке, что он высматривал наверху? С четверть часа переждал за углом здесь Свербеев. Тысячелетиями тянулись эти минуты. Наконец, он поднял воротник и шаркающей стариковской походкой вышел снова в свой переуллок и пошел неспеша, как старик. Сердце его припадало. Одним глазом зорко смотрел он из-за воротника на противоположную сторону. Так же неподвижно, загадочно и угрожающе стоял человек в тени и смотрел наверх. В безотчетном ужасе, не смог Свербеев принудить себя вернуться еще раз к этому страшному месту. Торопливо ушел он отсюда, не зная куда, не зная, где в эту бесприютную ночь найдет для себя ночлег и ощущая всем своим безошибочным инстинктом, что не зря стоит человек в темноте напротив его дома.

Так, как предчувствовал он, перебирая подробности в памяти, именно так все и случилось. И первый узел, из которого потянулись все дальнейшие, еще неясные нити — был Феськин, сапожник Феськин, о котором много думал, но до конца не додумал Свербеев.

XXXVIII

На первом допросе после убийства инженера Челищева — Феськин, в числе прочих квартирантов по дому, дал такие совершенно обдуманные показания, которые уверили Свербеева окончательно, что

Феськин не только надежен вполне, но и может сам послужить отличной защитой. Феськин показал, что в этот вечер работал он несколько дольше обыкновенного, обязавшись к утру поставить подметки к сапогам управдомом. Ничего подозрительного он не слышал, а кончив работу около половины первого ночи, вышел во двор за нуждой, и, как обыкновенно, подышать свежим воздухом. Стоя во дворе, обратил он, между прочим, внимание на то, что в квартире Челищевых горел еще свет; затем он вернулся к себе и лег спать, а в третьем часу ночи, примерно, его разбудили крики и стук на лестнице. Он соскочил с кровати и выбежал на лестницу в одном белье, думая, что в доме пожар. Но крик подняла консерваторка, вернувшаяся с вечеринки в третьем часу и первая обнаружившая преступление. Далее, узнав, что в доме случился грабеж, — а об убийстве Челищева он не знал еще ничего, — Феськин, наскоро одевшись, побежал в соседнее отделение за милицией и вернулся с поддежурным Петровым и милиционером, имени которого не знает. В доме уже был полный переполох, в квартире Челищевых находился управдомом и несколько человек квартирантов. Поддежурный вместе с ним, с Феськиным, и милиционером вытеснили из квартиры толпу, и вместе же перенесли они с полу на диван лежавшего в луже крови самого Челищева. Затем поддежурный вызвал скорую помощь, и уже через пятнадцать минут Челищева и жену, находившуюся в полном забытии, увезли на прибывшем автомобиле в институт неотложной помощи. Вся эта история, хотя видел на войне он и худшее, произвела на него, Феськина, такое впечатление, что целых два дня затем ходил он в роде как чумной или помешанный.

Допрашивавшим его затем агентам объяснил Феськин то же самое, что и на первом допросе, добавив, однако, это показание одною подробностью, крайне существенной для всего следствия: именно — дня за три до всего этого дела, бегая в лавочку за капустой, обратил он внимание на некоего человека с бородой и в мерлушковой шапке, стоявшего на противоположной стороне тротуара и поглядывавшего на окна квартиры Челищева. Сначала он, Феськин, предположил, что человек кого-нибудь дожидается, но день спустя он снова заметил этого человека, опять тот был на противоположной стороне, но уже не стоял на месте, а ходил. Больше этого человека он не видел, но теперь, прикидывая это все, понимает, что неспроста тогда стоял человек и смотрел в окна. Из внешних его признаков Феськин довольно обстоятельно описал высокую мерлушковую шапку и рыжеватую аккуратную бороду, а также ботинки серого цвета, которые — по своему обыкновению обращать внимание на ноги людей — он особо приметил. Конечно, это обстоятельство не могло пройти мимо агентов, и дело завертелось вокруг неизвестного бородатого человека в мерлушковой шапке, засматривавшего неоднократно в окна квартиры Челищева... Вот с этого-то момента обдуманную свою осторожность утратил Свербеев. Чего-то не додумал он здесь, а поверил Феськину

до конца, доверился его находчивой выдумке и дал ему преждевременно денег, триста рублей, в счет будущих благ. Эти триста рублей оглушили Феськина с неслыханной силой. Может быть, если бы дал Свербеев улечься первой горячке, все это и не имело бы подобных последствий, но именно в самую душевную горячку дал он Феськину денег. Много честолюбивых, взволнованных и сокрушительных мечтаний забушевали с этого мига в Феськине, огромно простерлась перед ним удивительная жизнь, полная новых надежд и свершений, и в первый же вечер, переодевшись во все совершенно новое, повесив за плечо свою трехрядку, в новых хромовых сапогах, которые приготовил он для заказчика, а теперь решил оставить себе, — отправился Феськин скромно и сдержанно отпраздновать великую свою удачу. Первым делом зашел он в пивную на углу Малой Бронной, где всегда забубенно пели цыгане и народные баяны-певцы. Он сел в уголке, положил свою трехрядку под локоть и заказал пару пива. Не цыгане пели в этот вечер в пивной, а сам знаменитый баян Селиверстов, за которым давно гонялись лучшие пивные Москвы, ибо два только голоса таких было по всей Москве — от Зарядья и до Марьиной рожи — баяна Селиверстова да дьякона Холмогорова... Множество любителей гудело шмельем в этой пивной, — были здесь и патриархи, пришедшие из Лефортова послушать баяна, и самая сыплая молодежь, которая только начинала входить во вкус жизни. Молодой человек, очень вихлявый, распахнув стрекозиные крылышки визитки, выпорхнул на эстраду и прошелся по ней, потирая ручки.

— Сейчас, граждәне, — сказал он, полный великолепной любви и сочувствия ко всем этим дорогим посетителям, — сейчас предстанет перед вами лучший номер нашей программы, баян русской народной песни Селиверстов...

Трескотня аплодисментов не дала ему закончить. Тщетно воздевал молодой человек цыплячью ручку, пытаясь водворить тишину. Так хорошо было сидеть в этом гомоне, что даже улыбнулся от счастья за свою судьбу Феськин!.. Наконец, прилив аплодисментов откатился назад, оставив молодого человека на отмели.

— Граждәне, извиняюсь, — сказал он снова, потирая ручки, — прежде чем выступить баяну народной песни, считаю нужным обратить ваше внимание, что каждую среду у нас меняется программа исполнения... Со следующего вторника в нашей пивной выступает знаменитый румынский цимбалист Прохасько... примите во внимание, дорогие посетители!

— Ладно... принимаем. Давай баяна!

И баян, наконец, появился. Дрогнул зал от этой ожидаемой встречи. В синем, лазоревом цвета, казакине, в плисовых штанах спадавших складками на юфтевые мягкие сапоги, весь в птичьем глазе оспы, подъяв к потному потолку выбеленные слепотою глаза, вышел баян Селиверстов на эстраду. Отрок, в казакине же, перешитом из певческого кафтанья, со смиренным и иконописным прибором

русых волос, вел его за собой к высокому дубовому стулу, стоявшему посредине эстрады. Вперив свои бѣльма в пространства, которые ощущал он там, над крышей этой дымной пивной, взялся баян костлявыми пальцами за баски и теноровые клапаны и единым певучим дыхом растянул эту живую трехрядку в своих руках. Скучающей птицей застонала она в этот миг, а уже низкою присказкой на певучую боль отозвались баски. Знал баян подход к человеческому мхнатуому сердцу и знал, какой пронзительной украдкой можно заполнить в него, в самую дремучую глубь.

— Песня военная про казачьего сына, — сказал баян, обращаясь к надкрышному этому пространству, — и разом низким гусельным плясом, словно тронулись в путь казацьи сотни с бубенчиками и бунчуками, запрыгали низкие голоса трехрядки. Дав отплясать с версту этим первым казацким сотням, начал баян свою песню:

Все ти поля изукрашены —
И кусточками и лесочиками.
Возле эти поля стоит ракивов куст,
На кусте-то сидит соловеюшко,
Под кустом-то лежит молодой солдат,
Молодой солдат, полковой сержант!..

Тут зашлись перебором такие густые ноты, так засосала самую душу трехрядка, что крякнули даже самые крепкие, подперевшие голову кулаками. А баян все пел и пел, низкая его октава рокотала над всеми этими склоненными головами, и такой был силы этот неслышанный голос, что звякали временами, обеспокоенно отзываясь, пустые стаканы. Подперев скуластую щеку кулаком, слушал Феськин баянову эту песню, и тоже так хорошо загрустил он от голосовой этой мощи, что спросил еще пару пива, твердо решив послушать до конца этих песен и затем уйти отсюда со своею трехрядкою, зайти к Серго, что ли, тут же на Бронной, и самому хорошо попеть, послушать, постонать своею гармоникой... А баян все пел и пел, покрывая голосом это гульбище, и такое развел под конец нестерпимое, что завыли, заревели в ответ лохматые голоса, словно разбудил своей песней он спящего зверя. Пел теперь он новую песню про казака Мороза, про пору Хмельницкого:

Ой, Морозе, та Морозенку, ты найславный козаче,
Ой за тобою, Морозенку, та вся Украина плаче,
Ой, Морозенько, та козаченько, у неволю попався...

Тут даже покрутил головою Феськин, так было все это нестерпимо грустно и хорошо и стал опорожнять кружку, оглядывая людей, которых так же, как и его, пронял окончательно своим голосом баян Селиверстов. Допив обе бутылки, послушал он еще одну песню, а когда повел отрок-поводырь баяна на роздых, расплатился за все и вышел из этой пивной, шатаемый хмелем и дивными песнями. Он прошел по переулку, растянул было во всю длину свою замечатель-

ную трехрядку, но милиционер, стоявшей посреди переулка, сказал с обидной пренебрежительностью:

— Играть не полагается, гражданин.

Гармоника пикнула еще дважды, и от этого несвоевременного окрика, помешавшего ему излить свою душу, как он хотел, заскучал Феськин еще больше и зашел в пристанище к Серго, где никто не мог бы ему помешать вести себя так, как ему это хочется... У Серго было пустынно, на прилавке на блюдах лежала позеленелая телячья нога, желтые печеные яйца и колбаса с разохшимся от времени фаршем. Положив руку на грудь, приветствовал его Серго с азиатским радушием и достоинством.

— Мешает мне мильтон на улице петь... а кому от этого беспокойство, скажи пожалуйста? Не может человек себя оказать... а, может быть, душа у него разрывается. Разве это порядок, скажи, пожалуйста?

Говоря все это, Феськин сел за столик в глубине, и вдруг от обиды, что помешали ему петь, когда только что запросилась душа, от того, что теперь ему никто не указ, раз есть у него деньги, и денег у него, может, столько, что мильтону три месяца на посту на морозе трястись, а он в одну ночь может все эти деньги прожить, как вздумает, и никто у него не спросит отчета, — от всего этого захотелось ему показать себя так, чтобы поняли люди кругом, какое нужно оказывать уважение Феськину.

— А ну-ка, Серго, чем ты можешь угостить настоящего гостя? — спросил он не спеша, затаив дыхание от удовольствия. — Желая я петь и играть, а ты мне ставь самое лучшее, потому что разбередил сегодня мне душу баян Селиверстов...

С тем же достоинством, стараясь не выдать беспокойного ожидания, Серго сказал ему со льстивою вкрадчивостью:

— Хорошо гулять хочешь — лучше чем у Серго нигде не погуляешь... Хочешь велю позвать сазандари, будут петь грузинские наши песни... вином угостишь, до утра будут петь, пока не надоест. Вино какое хочешь? Хочешь кахетинское, напареули, а можно пресветлой, пшеничная водка есть, как слеза...

— Гони мне этих твоих... пусть поют песни, — сказал Феськин, — и вина давай лучшего... шашлыку давай, только чтобы одним духом все это, Серго!

— В один минут будет, — сказал хозяин и исчез в глубине.

Там сейчас же начались шопот и голоса, из задних дверей высунул голову повар в грязном колпаке, и хозяин величественно минуту спустя стал для начала нарезать на прилавке холодную буженину. Феськин растянул гармонику и, скучая, принялся петь. Пел он знакомую, очень грустную песню:

Девушка да милая
И да скажи, лапушка, жисть да жисть, радость моя,
Отчего же плай да плает в лице кровь,
В лице кровь?

Совсем сокрушенно продолжал он сейчас же дальше:

Она плает, плает—лице разгоряет,
Прежестокая с ми-ай да с миленьким любовь...

Так он сидел и пел, а Серго между тем делал все для того, чтобы разогнать грусть своего посетителя, много раз выглядывали разные черномазые лица с вылупленными белками, — и, наконец, великопелное увеселение началось. Запыхавшись, появились вызванные откуда-то музыканты и стали устраиваться позади, в глубине каменной ниши. Минуту спустя гортанно дрогнул бубен и заблеяла по-овецьи пищалка; пронзительным и унылым речитативом запели музыканты, сопровождая и словно стараясь обогнать свою странную музыку. Музыка эта и пение, а главное, что люди старались для него одного, очень понравились Феськину; он выслушал эту песню, сказал хозяину: — „Дай им всем, Серго, водки и шашлыку“, — но один из музыкантов с бубном в руке подошел к нему и сказал умильно, приложив руку к груди и ко лбу: — „Будь нашим тамодой, хозяин... будем петь тебе песни, хозяин!“ — расстроив этим окончательно Феськина. Дальше пошло такое, что не удержал до конца в своей памяти он: всем принесли шашлыку и вина, все пили и ели шашлык, пресветлая была, действительно, хороша, а сверх всего этого безостановочно играли музыканты, гнусили и били в бубен и неистовыми голосами пели пронзительные песни, и уж не один хозяин сидел за столом рядом с Феськиным, а и другие, совсем незнакомые, но необычайно дружжелюбные люди, тоже тянувшиеся к нему рюмками и стаканами и называвшие его совсем непонятым, но страшно почетным, повидимому, именем — тамодой. Тогда Феськин, пришедши совсем в отличное настроение и решив показать, что значит, когда гуляет душа его, Феськина, — обвел хмельными глазами весь этот круг и сказал хозяину неспеша и вполголоса, как знаемый здесь и завязтый гость:

— А ну-ка, Серго, еще три бутылочки, и яблочков что ли!

Но Серго не сдвинулся с места и тоже негромко ответил ему:

— Много наели, хозяин... сначала деньги за это надо платить.

Вот тут-то и сорвался Феськин, горячешно ударила ему в голову кровь, каруселью завертелся весь круг этих черных голов, — не видя и не помня, полез он за голенище нового сапога и вытащил тряпицу, где лежали сложенные триста рублей.

— А это видел?—сказал он сдавленным от обиды голосом и едва не задел этим свертком по горбатуму носу Серго. — Феськину не верить? Раз Феськин требует, значит есть ему чем платить, а может и купит всего тебя с твоим шашлыком, грузинский чорт, — сказал он в полнейшем бешенстве, но сейчас же снова заныла зурна, завопили позади музыканты и такую крутельную пошло это сборище, а совершенно незнакомый сине-выбритый человек полез к Феськину чокаться, торопливо говоря:

— Позвольте с вами чокнуться, гражданин...

И нависшая туча пронеслась безгрозно, уронив только в Феськина необычайные зарницы. Дальше все пошло колесом, сам Серго, забыв свое достоинство, танцевал лезгинку с пивной бутылкой на голове, вопили и сипели зурначи, и сине-выбритый человек с черной щетинкой усов, очутившись почему-то рядом с Феськиным, безостановочно говорил: — „Необыкновенное пиршество! Жизнью пользуйся, живущий, мертвый в гробе мирно спи, так ли я говорю?“ — на что Феськин ликующе отвечал: — „Правильно, брат!“ — проваливаясь все глубже в блаженный и давно не находивший на него в такой степени туман. Почему-то этого синелицевого молодого человека единственно запомнил он здесь, — особенно же помнил он, как старательно подсаживал тот его на извозчика, ибо зачем-то ехать отсюда собрались к Петровским воротам в „Низок“... Но дальше Феськин ничего не запомнил, были ли они в этом „низке“ или нет, и не мог ничего показать об этом на допросе, на который повезли его прямо с похмелья в девятом часу утра, предварительно обыскав его логово.

В первый раз ехал Феськин в это утро на автомобиле, с быстрою и деловитостью сверлившем утренний город. Как все это случилось с ним и так стремительно обнаружилось? Но на допросе увидел он человека, хотя и безусого, но очень похожего на вчерашнего синелицевого человека, словно был он тому родной брат, и, давая свои показания, все смотрел с волнением и ужасом на этого загадочного и бесстрастного человека. Сначала попробовал Феськин запереться во всем, но его приперли большими деньгами, остатки которых у него обнаружили, а главное совершенно его ошеломившим известием, что все участники убийства Челищева вчера арестованы, и только он задержан последним... С похмелья или от того, что смущал его молодой человек загадочным сходством со вчерашним знакомцем, поддался Феськин на эту заманку и признался во всем, рассказав в подробностях, как было все по порядку. Одного только, самого главного, не мог он сообщить: имен сообщников, потому что сам, в действительности, не знал их; впрочем, все это было известно и без него, раз они арестованы. И Феськин стал обвинять студентов, вовлекших его, без его желания и воли, в это мокрое дело. Отсюда пошла первая нить о студентах. Кто были эти студенты, мало ли их тысяч в Москве? — здесь пришлось агентам поразмыслить немало и, вероятно, долго еще тыкались бы они в глухую стенку, если бы не помогло одно обстоятельство. На паре штиблет, оставленных Феськину для починки одним из студентов, чернильным карандашом были помечены инициалы Ф. С. Это послужило первым ключом. По спискам студентов всех высших учебных заведений Москвы были выписаны студенты, инициалы которых совпадали с этими лиловыми буквами. Были среди них: Фектист Стремоухов, Федор Смольцов, Фаддей Солодовников, Федор Свербеев, Фриц Смаунас, Фанни Спокойная — и еще с десяток других совпадавших. Из этого нового списка началось просеивание: так, Фриц Смаунас уже месяц лежал в терапевтической клинике после

операции аппендицита; Федор Смольцов находился в Архангельске; Феокист Стремоухов — был член партии, вне всяких подозрений, конечно, — остальные же все были взяты под обработку, как испытываемый материал. Особенное внимание обратили на двух: на Федора Свербеева и на Файвеля Страйха, бывших студентами того же института, в котором преподавал покойный Челищев. Здесь нить так неожиданно и оглушительно доползла до последнего узелка в этом деле, — и в тот вечер, когда, вернувшись домой, Свербеев увидел в тени противоположного дома загадочного и неподвижного человека, не зря обаял его ужас... Дело было проиграно и именно в ту минуту, когда казалось оно ему выигранным, и не только было проиграно, как уяснил он себе окончательно после бессонной ночи, узнав об аресте Феськина, но и сегодня же к вечеру, если не раньше, ожидало их всех то же самое. Не заходя в институт, не возвращаясь домой, вызвал он записочкой через посыльного Безсонова в отдельную комнату отдаленного трактира на 1-й Мещанской, ныне Гражданской, недалеко от огромных тумб Крестовской заставы. Не понимая, с тоской поехал Безсонов через весь город для этой новой и бесполезной встречи. Зачем еще мог он понадобиться Свербееву после всего, что случилось с ним? — но, увидев его лицо и глаза, которые привык он видеть бесцветными и которые горели теперь столь необычайно в сумраке этого призаставного трактира, понял он, что случилось нечто ужасное.

— Все открыто, — сказал Свербеев немедленно, не давая ему опомниться. — Феськин арестован вчера утром, а нас с тобой арестуют сегодня, под вечер. Я тебя, жалеючи, вызвал сюда, Кирилл. Желаете пропадать — оставайтесь. Желаете спастись — беги.

— Куда? — беззвучно и безнадежно спросил Безсонов, — куда бежать, раз ты говоришь, что все проиграно...

— Нет, врешь, я еще не сдаюсь, — ответил Свербеев заносчиво. — Не для того я на всю эту гору взбирался, чтобы скатиться вниз! Я жить хочу, а не к стенке становиться. Стенка, Кирилл, а десять лет со строгой — на замену, уж будь покоен! Так вот, разговор короткий: желаете погибнуть — оставайтесь; желаете спастись — беги... Вот мой план, я его разработал в точности. Сегодня мы с тобой бежим из Москвы... бежим на Кавказ, Кирилл!.. Разными путями бежим, о путях мы еще особо поговорим... нужно нам до Батума только добраться. Я в Батуме жил, есть у меня там свои люди... в два счета на турецкой фелюге в Турцию переберемся. Деньги у нас на первое время есть... три тысячи долларов на полтора года хватит, а там новую жизнь начнем, Кирилл, совершенно по-новому, а ведь не тут же зря, за понюшку, к стенке становиться...

Странное дело: чем больше говорил в этой открывшейся перед ним безнадежности Свербеев о несбыточных планах спасения, чем тесней и удушливей становился сомкнувшийся теперь до конца круг возмездия, — тем огромней, мучительней хотелось жить... Жить, жить,

только жить! Еще недавно, еще часы назад, может быть, с безнадежным равнодушием прислушался бы Безсонов к своей судьбе. Так просто и желанно казалось ему прервать бесполезную нить своей жизни. С надеждой и благодарностью ощущал он холодок револьвера в кармане. Теперь же, когда воочию бездна разверзлась пред ним, в смятении и ужасе отпрянул он от пахнущего холода этой расселины. Как—так просто скатиться вниз, ничего не узнав, сдаться теперь, когда он уже знает запах отстоянного вина жизни, встать теперь к стенке, кончить жить, когда он только что начинает жить? И в этот миг все его недавние мысли о самоубийстве показали ему невятным затемнением его души. Нет, жить, жить, только жить... Пусть бегство, пусть Батум, пусть немыслимая Турция... пусть все это только фантазмагория, и все это кончится завтра же на пути их побега,—но сегодня бежать, сегодня жить!..

С жадностью и восторгом он слушал Свербеева. За один только час выработали они план их бегства. Сегодня же скрыться из Москвы, разными поездами и в разных направлениях скрыться с тем, чтобы через десять дней встретиться снова в Батуме, где есть у Свербеева надежные люди. Так составилась в этот час невероятный план их побега и спасения, и всем существом, единым дыханием, безоговорочно, жадно хватаясь за малейшую надежду спасения, Безсонов принял его до конца. В тумане, мифах и едином неодолимом устремлении провел он этот свой самый загадочный, прощальный и вспоенный неутоляемой жаждой жизни—день.

XXXIX

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край...
Тютчев

Сотнями верст, еще снеговым простором отмерялась полотняная, заметенная нетающим мартом Русь. На площадке, вплотную к окну вагона, Безсонов смотрел на еще заваленные перинами снега деревни, на неизвестные города, возникавшие в российском своем облики, с куполами церквей, с улицей вверх на гору, с провинциальными извозчиками на вокзалах, увозившими приехавших тоже с российским щемящим нестерпимую грустью звоном колокольников. Всюду, везде, в каждом городе, в каждой деревне, еще по-берложьи сутулящейся под снегом, жили люди. Всякий делал свою жизнь по-своему, и, наверное, в самой глухой деревне люди жили счастливее, чем он, Безсонов. Огромной, безмерной раскидывалась Русь, для которой был он сейчас отпавшим, безнадежно потерянным в своих падениях, в своем преступлении... Именно сейчас, когда с неизбежностью возник перед ним конец его жизни, ощутил он эту ни с чем несравнимую, страстную, безудержную жажду вернуться к ней. В тот же день, когда позвал Свербеев его за собой к последней надежде, последовал

он за ним без раздумий, гонимый одной этой жаждой спасенья... Спаситесь, спаситесь, во что бы то не стало спаситесь, а там уже сама собой образуется жизнь, только бы жить! Будут деньги — будет удача, чудесно можно жить, не вспоминая ни о чем, без раскаянья. А если так, то не все ли равно — Константинополь или еще какой неизвестный город, главное — не ощущать своего осужденья, не дрожать за каждый возникающий день...

А поля, города, деревни, стывшие еще под мостами реки, ждущие весеннего половодья, — проходили и проходили. Поезд на Тифлис уходил только в среду, а бежать из Москвы было нужно еще в понедельник; в разных поездах, с разных вокзалов уехали они со Свербеевым из Москвы. Безсонов сел в поезд под вечер. Он прорезал ножом правый карман и прямо за подкладку пиджака опустил сверток с деньгами. Множество деловых людей ехало в жестком вагоне этого дальнего поезда. На родину, под Симбирск, возвращались с промысла плотники, два брата, высокие сероглазые спокойные мужики; несколько землемеров и техников ехали на строящуюся электростанцию. Врач отправлялся на рудники, в рудниковую больницу — служить. Две веселых, сразу ставших всем приятными, девушки возвращались из Москвы, из дивного огромного города, в котором были они в отпуску впервые... Всем было о чем рассказать друг другу, у каждого было свое дело, которое он делал, и каждый в этом вагоне твердо знал, куда и зачем несет его судьба по пути. Только один он, Безсонов, в немерянном одиночестве, в беспристанище ничего не знал о своей жизни, кроме того, что неотмыщенное его преступление лежит в ней и что мечтанья, с которыми ехал он в недостижимый город Москву, — мечтанья эти теперь сменились для него такою познанной во всем ничтожестве и распаде жизнью, что страшно даже со стороны заглянуть в преступный ее и последний мрак...

До полуночи в этом своем одиночестве слушал он путевую песню колес, забываясь и вновь возникая, и блаженный и все заглушающий сон живительно и глубоко принял его в себя.

Утром, на маленькой станции, хорошо пропахшей морозом и березовым запахом дров, без пальто, с поднятым воротником пиджака, выбежал Безсонов за кипятком. С чайником в руке торопливо побежал он через всю станцию, стал в очередь не отшедших еще от сна пассажира и тоже пустил из широкого медного крана шелковую струю кипятка. Вздурораженный этим бегом, запыхавшись, возвращался он по деревянной платформе в конец поезда, к своему вагону. Предвеченне, несмотря на туман, разгорался день за этой маленькой станцией. Далеко, на горе, спускаясь вниз ржавой дорогой, стоял безвестный городок, еще запутавшись в облаках крестом собора и каланчей. У широких своих саней с расписными задками стояли утренние извозчики, тщетно поджидавшие ездоков. Хмуро пожимаясь со сна в меховом пальто, хохлился бородатый, с лесными медвежьими глазками, начальник в малиновом картузе. А оттуда, с полей, пахло полной весной,

близким таянием снегов и российской грустью весны. С чайником в руке стал Безсонов возле своего вагона, вдыхая снежную тишину, выветривавшую в нем теперь бред пережитой ночи. Так захотелось заново, по-молодому жить, когда приносит весеннее таяние новые обещания, и в первых синеватых подснежниках—чудесная сила неувядающей жизни. По-новому, словно отряхнув в эту ночь все свое страшное прошлое, смотрел Безсонов на эту малую станцию; скромно и в тишине, вместе с провинциальным городком на горе, дожидалась она весны. Он поискал название милого и минутного этого привала на пути, и вдруг в стесненности стремительно дрогнуло его сердце. Откуда он знал короткое это ее название „Разлужье“? Когда еще был на этой он станции?.. И вдруг чудесное озарение осветило весь его этот путь. Ведь этим же путем два года назад ехал он из родного города в Москву. Тогда случилось крушение на главном пути, и этим окольным путем пустили почтовый поезд. Из окна вагона, впервые вступая в жизнь, смотрел тогда Кирилл Безсонов на станции, запоминавшаяся на первом своем пути... Тем же путем, может быть, последним своим путем, возвращается теперь он в изгнание. Но если этот путь—тот же путь,—на час, на миг, на минуту прощания сможет заехать он в родной город, увидеть знакомые с детства места и могилы людей, научивших его первым мечтаниям о человеческих странах, где невероятно счастлив каждый живущий... Какая радость и боль, и грусть!—С бьющимся сердцем, с сияющими в этой тревоге и боли глазами, смотрел Безсонов в окно на те же снеговые просторы, приближавшие его час за часом к самому любимому на земле. Так, сам не зная, как все это случилось, вернулся Безсонов на этом последнем своем пути—в город, где родился и вырос.

На следующее утро, в девятом часу, прервал Безсонов на один только день, до следующего поезда на юг, свое последнее путешествие. Сероватым перронным сумраком встретила родина в этот утренний час. Знакомый, только побеленный вокзал, та же пальма с войлочным стволом на длинном столе буфета и вокзальная площадь, на которой тем же рядом стояли извозчики, и только одна была новость—желтый первый автобус, ожидающий пассажиров. Так вот как, с какими знаниями жизни, вернулся он, Безсонов, в этот свой город!.. Вместе с другими сел он в автобус и автобус той же дорогой в гору, которую одолевали извозчики на своих дымящихся клячах, ревя и чадя, стал подниматься в город. Справа, между домами, сползавшими вниз, открылся простор реки, еще скованной льдом, уже потемневшим в предчувствии близкого таяния. Столько раз в детстве исхоженная крепкими, неустоящими ногами гора! Как придет он к Ягодкину, как произойдет их встреча, в которой впервые придется ему лгать до конца? Праздничный город дремал провинциальным сном. На базарной площади стояли телеги оглоблями вверх, и знакомая улочка с каменной аркой в конце, в которой торговал книгами Макар Макарыч, возникла за этим базаром. На Соборной площади, теперь площади

Революции, Кирилл Безсонов вышел из автобуса. С стесненным сердцем пошел он широкой улицей, патлатой от деревьев садов. За белым купеческим домом, в зеркальных окнах которого теперь белели сиротские лица детей, за купеческим тучным садом — в деревянном сивом домишке жил мастер Ягодкин. Долго стоял у калитки Безсонов, превозмогая себя и не решаясь войти. Наконец, он вошел в этот дом. Расстелив на столе газету, с очками на слабеющих глазах, сидел Ягодкин в праздничном рздыхе. Самовар откипел и потух, и вековуха-бобылка, прибиравшая старость Ягодкина, сметала пепел куриным пером.

— Яков Иванович,—сказал Кирилл Безсонов в дверях и не смог зайти. Припасть бы сразу к стариковским коленям, во всем признаться, во всем покаяться, спрятать лицо в узловатых руках, знающих сорокалетний труд, — но Ягодкин глядел на него поверх очков сияющими радостными глазами, и с такой же стариковской радостью пошел он навстречу ему.

— Кирюшка,—сказал он и обнял его за плечи,—Кирюшка приехал!..—Не выпуская его плечи из рук, повел он его к столу и посадил перед собой.—Друг мой, Кирюшка, приехал,—сказал он так, что слезы едва не хлынули из натруженных этой встречей глаз Безсонова.—Как же ты так, без письма, без предупреждения грянул?

Одолев, наконец, первое волнение и горечь, Безсонов ответил:

— Я ведь на один день только к вам, по пути... на практику еду.

А Ягодкин все качал и качал головой, по-стариковски умиляясь ему.

— Ну, молодец, одолевашь, значит... скоро к нам строить вернешься, у нас, говорят, новую ветку на Сквирь будут тянуть и мост через Лапань строить. Ну, как же ты там, обошелся, привык, одолел?..

И Безсонов рассказал ему все, чего не было в его жизни. Он говорил о своей жизни в Москве, о труде, о практике, на которую ехал теперь на юг,—обо всем, чем в мечтаньях была полна его жизнь и чего не случилось в ней. Легкой дымкой белых волос покачивалась голова Ягодкина, слушавшего эту дивную повесть.

— Ну, вот, и в люди выходишь, наконец,—сказал он любовно,—нас заступишь, сызмальства в тебя я поверил, Кирюшка. Сорок третий год на заводе тружусь, а завод широко раздвинулся, два новых цеха к весне пускают, поселок для рабочих отстроили. Большое дело из малого вышло. В герои труда меня прочат,—сказал он еще, конфузясь,—и весь Ягодкин, со всей своей жизнью, со всем своим трудом, десятилетиями и мудростью прожитых лет—возник пред Безсоновым. Здесь был труд, была человеческая честь, была правда жизни, о которой мечтал он всегда... а с чем, с какой совестью, с какой правдой вернулся теперь он сюда? Все, что можно было прожечь, прожег он за этот год, со свистом пустив свою жизнь по ветру. Нищим стоит

теперь он перед Ягодкиным, благословляющим его ложный расцвет. Свербеев, Вера Никольская, Курепов, Наум Робертович, какие-то поэты в бобриковых куртках, Донцев в своей тубетейке, оторвавший не одного из этих простодушных немудрых ребят от труда и работы, мечты о славе, которую сочиняли в доме у поэтов и за длинным столом черноусой Варвары Николаевны Доливо, — точно в бесовском хороводе кружилось и несло все это в прошлом, и посреди всего этого был он, взметенный осенним листом в такие пространства, откуда нет возвращения...

— Пстой-ка, Кирюшка,—сказал Ягодкин вдруг,—а вот кто рад тебе будет, это Варя... Не раз она тебя вспоминала.

— Какая Варя?—Безсонов спросил и не понял и горячо залился внезапно.

— А Вареньку помнишь... племянницу Арины Ивановны? Здесь она, в город вернулась.

И Ягодкин рассказал ему все о Варе, о том, как приехала она в этот город и как по-своему, по-упорному, по-молодому хочет жить. Чего-то еще о ней не договаривал Ягодкин, но видно было, что приятно ему говорить о ней и что не зря весь этот разговор он затеял. Этот день далее, как бы в тумане и в сновидениях, запомнил Безсонов, как последний свой день, проведенный на милой знакомой земле. Зачем, для какого страшного укора и напоминания случилась эта встреча с существом, благословившим мечтой первое и одинокое его цветение?.. Как появилась Варенька вновь в этом городе, как попал сам он сюда, как скрестились напоследок их разошедшиеся навсегда пути? В этой строгой и милой и замкнутой девушке, пленительно обвеявшей его скупой и знакомой улыбкой, узнал он, словно в отдаленном напоминании, прежнюю Вареньку. Это была она, та же самая, с которой в яблочном гусеничном садку оплакивали они князя Серебряного и с которой обручились первой сиротской мечтой одиночества.

— Узнаете, Кирилл?—спросила Варенька застенчиво и негромко.— Вот не ждала вас так скоро увидеть здесь...

Он не смел задержать в своей руке эту руку и не мог оторваться от видения, возникшего перед ним.

— Вы, Варенька?..—сказал он, наконец, и не выпустил все же этой руки.—Ведь вот как мы встретились... а я о вас все время думал и ни разу не забыл и в других вас искал, может быть...

В этот миг он вспомнил о Тане, о ее зловещей и ужасной судьбе, об этой девушке, в которой была такая же тишина, что и в Вареньке, полюбившаяся ему немислимой мечтой о совместной доле. Теперь встретился с Варенькой он на стеклянной старинной галлерейке, где сушилось обыкновенно зимою белье, и вместе сошли они вниз отсюда по старой скрипучей лестнице.

— А я сюда приехала жизнь свою строить, пока не поздно,—сказала Варенька как бы мельком.—Я от Арины Ивановны еще давно,

больше пяти лет назад, ушла... сама стала жить в Казани, служила и училась понемногу, как бобылка, — сказала она еще и засмеялась, но вышло это невесело.—А вы как выросли, Кирилл, и не узнаешь.

И чуть туманно, теми же серыми и словно тронутыми пеплом глазами, поглядела она на него. Они вышли со двора дома Ягодкина и пошли по знакомой улице вниз, под гору. Дальний ветер беспокойно шумел в голых деревьях садов. Издалека, из-за города, пахло мартом, снеговою пустыней.

— Ну, а вы как, Кирилл? О себе расскажите, — сказала Варенька снова. Бедная ее шубенка с дешевым мехом воротника и потертых обшлагов была зачинена; каким-то опрятным девичеством, которое совсем не нужно там, в далеких, шумных, порочных городах, было спокойно, до верху полно это существо.

— Моя жизнь, что ж... — сказал Безсонов и сам содрогнулся от ужаса за нее, — не ладно пошла моя жизнь, Варенька... Впрочем, об этом и говорить-то не стоит!

— А я думала, вы совсем довольны... уехали в большой город учиться, ведь это страшно много, Кирилл, — сказала Варенька и поглядела на него уже испытующе.

Он ничего не ответил, и молча стали спускаться они по улице вниз, к реке. Чувствовалась уже стылая ее широта, скованный водный простор. За домами, сползавшими книзу, открылись приречные склады и пристани. Снег еще бело лежал здесь.

— А вы надолго сюда, в наш город? — спросила Варенька мельком, словно на ходу.

— Я?.. До завтра... я ведь на пути только заехал, от поезда к поезду. Надо на практику ехать.

И мгновенно возникло перед ним это страшное, его ожидавшее впереди, Свербеев с невероятными планами спасения,—и, может быть, там, в Москве, уже ищут, отыскивают следы, шлют телеграммы, чтобы задержали их на пути... А рядом с ним, с преступником, с убийцей, с растлителем себя самого, — безвинно и веря ему во всем, идет девушка, которую вновь он нашел, чтоб утратить. Так растерял он на своем коротком пути лучших спутников, и теперь для него остался только Свербеев, запутавший, толкнувший на страшное дело и вместе с ним ныне пытающийся спастись...

Они дошли до пароходной конторы и сели на деревянных перильцах. Расстегнув у ворота шубку, подставив холодеющее лицо предвесеннему ветру, смотрела Варенька мимо, на протаявшую серую плесень ледяную реку. Маленький ее рот, как тогда, как в детстве, был приоткрыт, и от боли и счастья, что видит ее снова такой с собой рядом, долго не мог Безсонов сказать ничего. Осилив себя, он спросил.

— А вы как жили все эти годы, Варенька... вспоминали когда обо мне?

Он спросил это и ужаснулся себе, как может он в своем падении и низости спрашивать об этом ее, но просто и ясно посмотрела она на него.

— Я о вас много думала, Кирилл,—сказала она как бы просветленно,—я очень трудно жила одна, когда ушла от Арины Ивановны... а ушла я из-за Валериана,—так поступить, как он хотел, я не могла, а жить вместе иначе было невыносимо. Ведь как же могла бы я так поступить, если я его не любила?—спросила она еще с какой-то терзающей наивностью.

Тогда, охваченный смятением и тоской и необыкновенным счастьем, Кирилл Безсонов безудержно и страстно спросил у нее:

— Ну, а другого кого... кого-нибудь любили эти годы вы, Варенька?

Чуть удивленно и грустно снова поглядела она на него и покачала головой не спеша.

— Нет, я никого не любила, Кирилл,—сказала она, вздохнув.

Тогда протянул он руку и положил ее на меховой обшлажек вытертой шубки.

— А то, Варенька, помните?—произнес он зашедшимся голосом,—может быть, очень по-глупому, по-ребячески было все это... но было ведь, Варенька!..

— Я ничего не забыла,—сказала вдруг она твердо,—и, может быть, сюда вернулась, потому что ничего не забыла... Конечно, Кирилл, что мы тогда могли понимать, но вот почему-то никогда не могла забыть я этого.

Она не отняла своей руки, его рука спустилась с мехового обшлажка на ее пальцы, и пальцы ответили чуть, или это только показалось ему, на несмелое пожатие. Тогда быстро он сдвинулся к ней по перильцам, жадно и ненасытно теперь смотрел он в эти единственные глаза, схожих с которыми искал он на многих лицах, и однажды нашел у несчастливой маленькой девочки Тани... С нежностью подняла она на него теплящиеся прекрасным пламенем глаза. Долго и грустно, и проникающе, и с невозможной радостью встречи смотрели они теперь друг на друга. Словно теплый ветер задул в этой холодной его пустыне, куда был он закинут в своем осуждении и одиночестве.

— Нет, так нельзя,—сказала она вдруг очень просто и погладила пальцы его руки.—Нужно еще проверить, какие мы стали друг для друга... а может быть, не то уже, не прежнее будет у нас. И почему вы сказали, что не ладно пошла ваша жизнь?

— Если бы знали вы, Варенька, как я запутался... Может быть, накануне гибели случилась эта наша встреча, чтобы легче было мне погибать,—сказал он с неистовой и самого его испугавшей искренностью.—Только не спрашивайте меня ни о чем,—добавил он вдруг с испугом,—не нужно ни о чем говорить... здесь ночь, Варенька, страшная ночь, а у вас—свет, день, тепло... у вас душа ясная, чистая и простая.

Она ни о чем не спрашивала и слушала его молча.

— А разве не может быть так, что у вас настанет день, Кирилл?—сказала она, наконец.—Не знаю я вашей беды, но не верю я, чтобы не было у человека исхода.

— Исход есть,—ответил он быстро,—погибнуть, умереть— вот исход. Только мужества, решимости нехватает. Главное, хочется жить, подло, Варенька, хочется, хоть и знаешь, что никогда не будет прежней жизни! Есть люди—как пена от сошедшихся двух течений, с у в о й, им ничего не суждено построить, а только разрушать в жизни и самим гибнуть вслед... так вот я тоже—сувой, пена, Варенька. И ни жалеть, ни спастись меня нечего. Все это вот тут же, на пристани, забудьте и Ягодкину ничего не говорите об этом, слышите, Варенька?!

— Слышу,—сказала она покорно,—я ничего не скажу. А может быть, Кирилл, моя вам помощь когда-нибудь будет нужна, так знайте, что я о вас никогда не забывала и за этим, может быть, в этот город вернулась—и, главное, Кирилл, главное—доверьтесь, поверьте мне...

Умоляюще и мучительно положила она ему руку на плечи и глазами, полными света, тепла и любви, взлелеянной в своем одиночестве, смотрела на него. Не отрываясь, часы, минуты, годы глядели они друг другу в глаза. Тою же слабой рукой сняла она с него кепку и провела по знакомым золотым волосам. Потом она снова надела ее на него и спрятала лицо в воротник.

— Поздно, Варенька...—сказал Безсонов, безжалостно выламывая пальцы своих рук и не чувствуя боли,—если бы раньше, немного только раньше... Я даже не знаю, не могу представить себе, как сложится моя жизнь в дальнейшем!..

— Как бы она ни сложилась,—сказала Варенька поспешно,—что бы ни было, Кирилл... помните только одно, что всегда буду ждать вас и никогда не изменю в себе это чувство, да и не могу изменить, раз до сегодняшнего дня сберегла сквозь все эти годы.

Растерянный, не зная, что ответить, не зная, как поступить теперь, унести ли на руках найденное вновь это сокровище, или бежать самому отсюда, пока еще не узнала она о нем ничего, пока еще хранила в себе его таким, каким оставила годы назад, стоял он перед ней на этой зимней заколоченной пристани. И прошедшие годы, и его в них судьба пробушевали в нем снова за эти минуты. То, что могло бы составить счастье всей его жизни, само протягивало к нему свои руки теперь, когда он не смел к нему прикоснуться. С непоправимым опозданием совершалась мечта, которую искал он в человеческих низостях, и мечта для него оказывалась напрасной. Сувоем, пеной собственной жизни становился он для себя. Больше ничего в эту встречу они не сказали друг другу. Молча, слушая каждый себя, поднимались назад они в гору. Угрюмо трубили трубы, даже не трубы, а ветры в душе Кирилла Безсонова,

а рядом, близко, с теми же сияющими, несмотря ни на что, глазами, словно слушая свою особую ликующую музыку жизни, шла Варенька. На углу, на площади, они остановились. Клоки сухого сена после базара перекати-полем носил ветер взад и вперед.

— Я хочу, чтобы все, что я вам сегодня сказала, — проговорила Варенька ясно, — вы совсем, совсем запомнили бы, Кирилл. И я вам ни в чем не солгала и ничего не прибавила больше того, что есть...

Она протянула ему руку, чтобы проститься. Навсегда, вероятно, прощался он с этим существом, безмерной нежностью и любовью всколыхнувшим заново его душу. Сейчас же за площадью уходила глухая улочка, где был гусеничный их садок... Держа в руке ее руку, он поглядел в сторону этой улочки, и Варенька поняла его. Без слова пошла она вместе с ним через площадь, и серый скосившийся дом, в котором пронеслось его детство, в котором вскормила его для жизни левою длинною грудью Арина Ивановна, сиростью и уже разрушением возник впереди. Они подошли к досчатому забору и смотрели на голые яблони сада, под которыми впервые одарила их жизнь мечтой. Легкий морозец заперламутровил верхние окна, за которыми грустила и пела в свою пору жена бондаря, и малиновка в алом жилете сыпала ей на пробор конопляные зерна. Чужие люди жили теперь в этом доме. А яблони за деревянным забором были все те же, — вероятно, так же по первой весне одевает их нежный пух молодого цветенья. Безсонов и Варенька долго стояли напротив этого знакомого дома; оскудением и дряхлостью как бы благословлял он их на новую жизнь, которой не могло для него, Безсонова, быть и которой не могло быть для Вареньки с ним... О, если бы было возможно все искупить, все исправить, начать свою жизнь сызнова по второму кругу — для труда и любви, которой был теперь он лишен навсегда! В последний раз с поворота оглянулись они на дом их надежд и юности, и базарная площадь встретила снова снеговым ветерком и несомыми вдоль пучками перекати-поля. Здесь, на пустынной площади, простились они, для него — навсегда, для нее же — до новой встречи...

Ягодкин долго приглядывался к нему и сказал, наконец:

— Или не сговорились, Кирюша? Я ведь запросто, не умею иначе... давно Вареньку для тебя я придумал.

— Нет, сговорились, — ответил Безсонов просто и не стыдясь говорить об этом, — все теперь ясно, Яков Иванович, и ничего не страшно...

— А страшно что человеку? Какой человеку страх, раз он сам свою жизнь ведет... я ведь не об этом, Кирилл. Жалко, ты на мало приехал, словно от птичьей стаи отбился, на пути на крышу сел...

— А, может быть, действительно я от стаи отбился, — сказал Безсонов внезапно, — страшно отбился от стаи, Яков Иванович!

Уже обеспокоенно Ягодкин поглядел на него.

— Вот ты о чем, — сказал он словно беспечно, — у нас по осени журавль от стаи отбил, с вороной знакомство завел, вместе зимовали. Перезимовал, ничего.

— Нет, это я к слову, — и Безсонов успокоительно минуту спустя положил свою руку на сухое колено Ягодкина.

Этот вечер далее, почти до самой полночи, до скорого поезда, провели они вместе. Много рассказывал Ягодкин об отце, о жизни своей, о заводе. Сорок два года человеческого труда, сорок два года работы мастера — неистребимыми извилинами лежали они на его ладонях в желтых буграх. Трудом, которому Безсонов сам предпочел праздность и пагубу, и любовью, которую так он искал и от которой пришлось ему самому отказаться, — встретил его напоследок родной город. В одиннадцатом часу на той же Соборной площади, где простился он с Варенькой навсегда, вместе с Ягодкиным сели они в автобус. Торжественно и горделиво сидел старый мастер на кожаном сидении, покачиваясь на толчках. Гудя, вниз под гору, сносил их автобус.

— Река скоро двинется, — сказал Ягодкин, когда в туманном ночном пролете замережили береговые огни, — большая сила, брат. Вот если бы человеку каждую вёсну так просыпаться да о себе напоминать... силу в себе беречь, чтобы половодьем пойти в свою пору! А если что невесело тебе или может не ладится, ты прямо скажи, Кирилл, — добавил он вдруг, таинственно приблизив лицо, — возвращайся тогда сюды, на заводе для тебя работа найдется... вместе со мной по началу пойдешь, а я еще поработаю малость и тебя приучу.

Он говорил и качался на пружинах, и не знал Безсонов теперь, чем вспоил напоследок его этот город — горечью последней утраты или радостью возвращенья... На перроне холодно и нерадостно дул ветер, обещая снег. Они скоро озябли. Издалека, содрогая землю, прогудел через мост скорый поезд, победоносно ослепляя и сокрушая. Несколько только минут стоял он на станции этого города, неведомого пассажирам. В поезде были уже подняты полки, пассажиры готовились к пугевому сну.

— Ну, прощай, Кирюша, — сказал Ягодкин и обнял его сухой рукою за шею, — а насчет если стаи, приезжай со мной, с вороном, зимовать... а может, и голубка для тебя найдется, какой и в чужом краю не сыщешь. Все понял?

И Ягодкин сунул ему в руку, прощаясь, бумажку.

— Это что? — спросил, было, Безсонов, но, махнув рукой, стал его подсаживать Ягодкин. Он шел за вагоном и улыбался, отставая, стариковской улыбкой, и вот, за сдернутой станцией, пошли огни города на горе — золотою цепью спускались они вниз, теряясь в Приречьи, — печально и по-ночному готовился город ко сну. Безсонов стоял на площадке и смотрел на эти навсегда покидаемые огни. Где-то там, в черноте, оставалось единственное существо,

которое любил он в этой жизни теперь, и единственный человек, который позвал в его отверженьи разделить с ним гнездилище... Как страстно, с невозможной болью, с невозможной горечью, с невозможным отчаянием хотелось жить!.. Внезапно ощутил в руке он бумажку, которую дал ему на прощанье Ягодкин. Он развернул лоскуток газеты, две лиловых стареньких пятирублевки — посильный дар токаря — лежали в ней. Тогда, не умея себя сдержатъ, впервые за все эти дни Безсонов зарыдал, прислонившись к стене. Прошел кондуктор, осветил его лицо фонарем и сердито сказал:

— На площадке не полагается стоять, гражданин.

ХЪ

Провалявшись четверо суток от злейшей морской болезни, злой, постаревший приплыл Свербеев из Одессы в Батум. Всю ночь до утра зыбко качало его еще и в постели в гостинице, но ранним утром уже, преодолев свою тошную слабость, он принялся действовать. Прежде всего, с первым утренним поездом отправился он на розыски турка Ферата, у которого жил в свою пору. В маленьком доме в горах скрывался Свербеев когда-то от белых, а там, поверх дома, в глушайшей тишине гор, проходили ночами контрабандисты, в арбах и в пер-метных сумках на осликах перевоза запретные товары из Турции. Кишело это побережье тайными делами, тугогрудые фелюги из Смирны, с азиатского берега привозили лимоны, отплывая обратно ночью, загруженные пустой тарой или боченками, под которыми прелюбополучно уплывал человек, нуждавшийся в чужеземном пристанище. Очень много из всего, что делалось на этом побережье, знал Ферат, возясь над чайной своей плантацией и возделывая мандариновый сад; много нитей сходилось в белом турецком домике с красною кровлей, с широким балконом, подпертым подпорками, на котором грустили по вечерам обе жены Ферата—Зульфи и Рукиэ... На этого-то Ферата и возюжил Свербеев последнюю свою надежду. Если сейчас невозможно бежать, во всяком случае даст возможность Ферат укрыться на первое время, пока улягутся розыски.

С утренним поездом, глядя с тоской на ненавистное море, хмуро бившееся тяжелой дымной волной, уехал в это утро по знакомой дороге Свербеев. Сплошные дожди шли в эту пору над Батумом, горные дороги были размыты, скучно и надоедливо билось море самых безнадежных пепельных и свинцовых тонов. Если бы сложилось так, что нужно укрыться ему одному, все было бы проще, но тут возникла тоска и страх за Безсонова, который мог в своей слабости все провалить, — и не жалость, конечно, а только опасность заставляла одинаково думать и о его спасении. Поезд, наконец, пришел к Зеленому Мысу, постоял и ушел, поглотившись сейчас же тоннелем. Все было мокро, осклизло, шел дождь, прибывая к земле

вонючий дым паровоза. Мокрые глянцевиые листья в Ботаническом саду безнадежно блестили жестяным блеском. Невесело стал подниматься в горы Свербеев. Без палки, с'езжая на скользких дорожках, хватаясь за ветки, мгновенно пропорывшие его руки шипами, проклиная эти горы и себя самого, спутавшегося с таким ничтожным и опасным человеком, каким был Безсонов, одолевал он крутизну... Бесконечно уходили дорожки наверх, огибая чужие сады, обвисая над срывами, грозившими теми же зловещими кустами в шипах; каким-то птичьим гнездом лежало в горах это гнездилище турка. Дождь был парный, с той особенной теплой сыростью, от которой больше всего слабеет человек, и пот лил со Свербеева обильней, чем дождь над ним. Наконец, за колючим кустарником, насаженном непроходимой шпалерой, забелел турецкий дом. Над дыроу, висящей над склоном с таким расчетом, чтобы сам человек удобрял свои плодовые деревья, сидел турченок, сразу при виде Свербеева забывший о блаженной натуге и понесшийся прочь с расстегнутыми штанами. Турчанки, сидевшие на балконе, сейчас же закрылись чадрами до самых глаз. Ферат пилил в саду суки яблони. В черных штанах, подхваченных в самом низу, с черной тонкой бородкой, изогнутой полумесяцем, был он даже благообразен; неспешность движений осеняла его достоинством, несовместимым с темными делами и связью с контрабандистами. Однако все это было именно так, как знал Свербеев о нем. Турок был ему осторожно рад, не зная, по каким путям с той давней поры пошел человек. Здесь, под яблоней, на дожде, Свербеев рассказал ему откровенно о всех своих планах и о том, что за какое-то дело ему и товарищу грозит стенка. Ферат все это выслушал, осведомился, есть ли у него деньги, и сказал, что сейчас стало очень худо, очень следят, очень жмут, на всех дорогах стоят заставы, фелюги перед отправлением обыскивают; но недавно приплыл в город Мамед Хелваши, известный своими лихими делами, привез он груз лимонов из Смирны, дня через два он уйдет из Батума и, может быть, согласится на риск переправить двоих людей, которым грозят стенкой большевики. И в полдень, бросив дела, отправился Ферат вместе с ним в город. Проклято билось море, не предвещая в ближайшую пору штиля, а, следовательно, могло случиться и так, что задержится на многие дни, а может быть и недели, Мамед Хелваши со своею утлой фелюгой. В бешенстве смотрел Свербеев из окошка вагона, как неистово и неумело размахивали пальмы своими острыми листьями, как гнулись кипарисы — слева, и как сумрачно — справа — ходило и ходило взад и вперед это ненавидимое море.

Если выйти на батумскую набережную, пройти по ней не спеша от самой таможни до турецкого базара, — спокойным заливом лежит с одной стороны бухта, в которой отстаивается белый черноморский пароходик, да с десятков турецких фелюг тычут мачтами в небо, не смея и выглянуть в весеннюю эту непогодицу, а с другой стороны во

весь ряд, чередуясь друг с другом, тянутся турецкие кофейни, в которых—полутьма, стук костей домино о мраморные доски столиков, и огромные неподвижные турки, сидя от времени, сторожат тишину и сумрак своих кофейен. Плоская волна залива шевелит одни и те же обрезки кож, которые выбрасывают в море обильно батумские башмачники, а в кофейне хорошо укрыться от дождя и потребовать чашечку чернейшего лоснящегося кофе, чтобы согреться и заставить проворнее биться сердце. Сюда-то, в одну из кофейен, пришли Свербеев с Фератом и сели в глубине. Скосив один миндально-коричневый глаз, не двинувшись с места, посмотрел на них хозяин, хрипевший коротенькой трубочкой. Проворный мальчишка с женским задом принес им две чашечки кофе. Ферат дал улечься первому впечатлению от их прихода и, когда попережнему застучали кости на столах, занятых посетителями, хозяин неспеша и как бы по своему делу поднялся и прошел мимо них. Что-то успел сказать ему Ферат, зажав в кулак черный полумесяц своей бороды. Минуту спустя, подмигнув Свербееву одним глазом, велел он ему следовать за собой. Незаметно они вышли из зала, зашли за стойку и скрылись за пестрой портьерой, скрывавшей дверь. Здесь была тоже комната, но с тремя только столиками, за которыми никто не сидел; тот же толстозадый мальчишка принес им сюда две свежих чашечки кофе. Они сидели и молчали; никто не приходил, и Свербеев начал от нетерпенья сомневаться в Ферате, но тот спокойно отпивал маленькими глоточками кофе, загадочно опустив глаза. Вдруг дверь сбоку открылась, и вошел человек в морском плаще. Он опустил капюшон, и Свербеев увидел турка с очень острыми, почти колючими глазами и выбритым, необычайно сильным сизым подбородком, над которым орлиным клювом свисал большой предприимчивый нос. Человек приложил руку ко лбу и ко рту; тем же самым ответили Ферат и Свербеев, и тогда Свербеев узнал, что пришедший и есть—Мемед Хелваши.

Бесконечное число чашек, вздымавших сердца уже с буйным неистовством, выпили они здесь втроем, в этой маленькой комнатушке кофейни. Ферат был прав—Хелваши опасался, в последнее время очень следят, в порту перед выходом погрузить нельзя, может быть досмотр. Курс сейчас же из Батума фелюга Хелваши будет держать на Смирну. В Смирне есть свои люди, которые не выдадут, но в Смирне тоже досмотр таможенными властями. Сколько долларов может заплатить эффенди? Свербеев сказал—„Двести“. Хелваши достойно вздохнул и ответил—„Пятьсот“. Даже привскочил от негодованья и ужаса Свербеев.—„И пятьсот—это дешево за двоих, потому что за двоих надо брать тысячу!“—Опять потребовали черного кофе и снова принялись торговаться. Спокойно курил свою трубку Хелваши, не вникая в разговор Свербееву. Наконец, порешили—четыреста. Вытирая пальцами мокрый рот, с жадностью опрокинул Свербеев чашечку горького кофе. Забирать в порту людей невозможно, придется Ферату вывезти в море на лодке, там они пересядут на фелюгу. Пока в такой шторм

нечего и думать о выходе. Выйдут не раньше, чем через три дня, как уляжется непогода. Дальше оживленно стал говорить Хелваши с Фератом о каких-то пяти отрезках коверкота и о пятнадцати дюжинах прессованной пудры „Коти“. Нужны были деньги, задаток. Свербеев достал, отвернувшись, пятьдесят долларов.

— Мало,—сказал Хелваши спокойно.

Свербеев закипел:

— Как мало, а может быть из этого дела еще ничего и не выйдет!

— Тогда задаток назад. Слово Хелваши тверже денег.

Огорченно достал Свербеев еще пятьдесят долларов. Связь условилась держать через Ферата. Хелваши надел свой плащ с капюшном, таинственно приложил руку ко лбу и ко рту—и ушел через ту же боковую дверь. В кофейне продолжали стучать кости. Свербеев условился с Фератом, что сегодня же переедет к нему. Безсонова поджидал он на другой день к утру, должна была быть от него условная телеграмма до востребования. И вместе с Фератом вернулся он в его дом. Годы прошли с тех пор, как скрывался он здесь же, тоскуя о жизни. Теперь снова он здесь, но уже не тосковать ему нужно о жизни, а жадно ее беречь, спасти от разгрома... Нет, он еще сумеет жить!.. Он соберет еще воедино свою отточенную волю к жизни, чтобы небывало прожить теперь эти годы, на которые у него хватит денег. В другой стране сумеют оценить его предприимчивость, его необыкновенную волю, его умение комбинировать жизнь не по тем обстоятельствам, которые подчиняют себе человека, а по тем обстоятельствам, которые сам для себя создает человек... А дождь все шел и шел, в турецком доме было сыро и скучно, женщины прятали лица от постороннего, керосиновый фитилек уныло светил, не разгоняя тьмы. Поев вместе с хозяином какого-то кислого едова из гороха и риса, вышел Свербеев один, вдруг затосковав от этой высоты, одиночества и чужого уклада,—на широкий балкон. Плюхал и плюхал дождь, все было черно, детский плач зловеще вдруг прокатился в горах, словно погибал человек. В первый миг ужаснулся Свербеев этому воплю, потом узнал он знакомый плач: выли шакалы, томимые голодом. Невидимо и угрюмо, где-то страшно внизу, в бездне, отдаленно шумело море, терзаемое штормом. Впервые холод предчувствия, словно осознание всего содеянного им в этой жизни, проник в него. В этом своей одиночестве он даже был рад теперь приезду Безсонова. Если будет завтра его телеграмма из Тифлиса, через несколько дней Хелваши увезет их обоих отсюда для новой, сверкающей и безопасной жизни. Дождь шелестел о крышу, словно невидимо проползали змеи, которых так много в этом краю. Страшно ночью ступить на тревожную землю. Опять прокатился в горах детский вой, омерзительная шакалья тоска. Содрогнувшись и сам себе не признавшись в этом, пугаясь уже этой ночи, мрака и шума дождя и моря, вернулся Свербеев в дом и постарался скорее заснуть, завернувшись в пальто с головой. Но таким ветром, такими порывами;

хлеставшими о стены дождевыми ладонями, бушевала эта горная ночь, что, провозившись, до самого рассвета не мог он заснуть.

На другой день в Батуме, уже отойдя от ночных видений, с успокоением и радостью нашел он тифлисскую телеграмму Безсонова. Дождь утихал над Батумом, тучи разрывались, как рубища нищих, бледно и жалко среди них, стариковским выцветшим глазом, синело небо, обещая штиль и спасение.

XLV

С чувством последнего крушения жизни, а не ожидаемого спасения и возвращения к ней—ехал Безсонов. В какое спасение уверовал он по словам Свербеева? О чем возмечтал он по первому и зловещему кругу своей судьбы? Быть поэтом,—то сотни таких же, как он, ночуют на скамейках бульваров, оторвавшись от труда, от ученья, от своей крестьянской крепки; быть актером в кино—но разве не сам же Курепов, который дал ему эту возможность, говорил, что способностей у него на пятак, — не в боярских же поношенных, пахнущих коленкором и сыростью костюмах влачиться за три рубля по блестящему следу других. В туманах юности осталась мечта о Вареньке, которую искал он потом в Тане Агуровой, а нашел в цинической безлюбви, в холодном полумужском равнодушии Веры Никольской. Какая грусть, какая необыкновенная пустота! Что сулит теперь ему Свербеев в неизвестном далеком Батуме? Бежать, скрыться, по-звериному искать спасения с награбленными чужими деньгами, ради которых—и только ради них, а не для отомщенья Тани—пошел он на убийство Челищева...

Со скрежетом и стоном приник он к окну в пустом купе этого вечернего поезда. Трудно плыл поезд во тьму, одолевая под'ем.—Жить,—всем огромным звериным дыханием, всей ненасытной волей, всем инстинктом его ожесточенно играющей крови—жить! Но жизнь не там, не у Свербеева, а здесь, где остались люди его племени, его крови, его совести; правда здесь, а не там, куда влачится он по толчку, чтобы окончательно и безнадежно погибнуть. Но если правда здесь, если жизнь, которую так неумело, постыдно, преступно он начал, на этом оставляемом им берегу,—разве не лучшее спасение—вернуться и покаяться во всем до конца?! Да, я отступник, я заблудился, я обольстился постыдными обещаниями, я совершил преступление,—но я еще не до конца сгорел в своей низости и в своем отвержении. Я хочу жить,—по-иному, по-новому хочет жить моя молодость! Пусть через самое жестокое, через самое немилосердное я пройду осуждение, все же когда-нибудь, через годы назначенных мне испытаний, я вернусь к жизни, я буду жить. Всеми полными голосами позвала она его напоследок, осветив перед его последним исходом этот единственный путь.—С этими словами он мог бы вернуться, как преступный и заблудившийся сын. И Варенька, которая по-молодому, по-новому

хочет строить свою судьбу, и Ягодкин, звавший вместе с ним вить трудовую жизнь, и Лебедкин со своей найденной правдой—все бы они поняли его до конца и простили бы ему ужасный его грех и приняли бы обратно в свой круг. Но разве уж так преступен, незряч Свербеев, чтобы не прозреть перед самым концом? Быть может, вместе с ним захочет и он этого возвращения в жизнь, вместе с ним скажет и он исповедальные слова искупления. Огромной равниной лежит оставленная родина. Просторы для сыновьего их труда непройденно лежат впереди, обещая прощение и забвение. Нетронутое сердце, с юности искавшее его, теплится застенчивым пламенем, ожидая его прихода. По первому кругу прошел он, блуждая, чтобы вернуться на этот оправданный путь. Жить, жить!—с этим он придет к Свербееву, этим словами позовет он его с собою обратно.

С этим чувством, с этими словами, сквозь всю бессонную, сжигающую его радость, раскаяньем и решимостью ночь,—он ехал к Свербееву. Шторм, бушевавший на море неделю под ряд, стал стихать, и утром, под несмело в тумане и пепле облаков разгоревшимся солнцем, впервые в своей жизни увидел Безсонов море. Голубея и утихая, еще кидаясь на берег стеклянными спадами вод, возникло оно в беспредельном голубеющем мареве, простором скитаний и блаженной умеренностью потрясши его... Он стоял у окна и смотрел, и не мог оторваться от этого ликования жизни, как бы подтверждавшего собою все, что пережил и передумал он за ночь. Отстоявшись, покойно и горько, и радостно плескалась теперь его измученная душа. Не заморские страны, которые лежали, быть может, за морем, влекут его к себе, а та земля, на которой родился он, на которой любил он, на которой он заблудился и через гибель и преступленьев вернулся к жизни,—звала его к себе родным материнским зовом. Он все стоял и смотрел,—и часы спустя, встретивши в Батуме Свербеева, он поглядел на него так просветленно и ясно, что всецело обрадовался Свербеев товарищу, приехавшему разделить его затосковавшее одиночество. С первым же поездом, не желая дальше мелькать в этом городе, повез его Свербеев в горы к Ферату. Там могли они быть одни, там могли они обсудить до конца дальнейший свой путь. После дождей сразу наступило тепло; не такими заброшенными и угрюмыми показались турецкие домики в горах; весело теплели они белизной своих стен и алыми кровлями, над которыми широкими кронами распростиались дикие груши и сливы. Недавно отродившиеся мандариновые деревья спускались по скату вниз, а с другого ската восходили наверх коленчатые заросли бамбука. С удивлением Безсонов смотрел на этот незнаемый, впервые перед ним возникший мир. Вместе стали они подниматься в горы, к дому, затерянному на высоте. Лаковым блеском блестели утихшие воды, взбегая на берег. Уже одно парусное судно, ныряя, уплывало из порта в открытое море, к Босфору, в Эгейское море, может быть.

— Дела наши развертываются пока превосходно,—сказал Свербеев, одолевая дорогу,—если этот чорт—турок не врет и не сдрейфит,

будем мы с тобой, брат, через несколько дней далеко отсюда. А сдрейфит, мы тут с тобой на несколько месяцев сгинем, пока уляжется паника, потом раздобудем новые паспортишки и вернемся куда-нибудь, в Баку, что ли, или в Ростов, новым мяском пообразем, пока что. А там жизнь покажет. Главное, деньги, Кирилл, а деньги у нас есть... с умом если жить, так можно и это устроить, а там мы с тобой такую жизнь заварим, только держись.

— А я тебя за другим приехал звать,—сказал Безсонов спокойно, выслушав всю эту тревожную свербеевскую речь.—Я о другом думал, Свербеев... и ты меня пойми и выслушай, прошу тебя!

Остановившись, с грустью и жалостью поглядел он на товарища, запутавшегося так же, как он, на этом пути.

— И вот что придумал я, Федор...—И, не давая себя перебить, идя с ним рядом, плечо-о-плечо, он рассказал ему все, что пережил для себя за эту миновавшую ночь, что решил для себя и к чему пришел окончательно, зная, что и он, Свербеев, поймет его до конца и разделит с ним это. С искаженным лицом, совсем побелевший, как всегда в страшном волнении, слушал его Свербеев. Так вот к чему пришел этот опасный для него сообщник, которого по своему легкомыслию повлек он за собой. Вот почему на вокзале так дерзко и ясно он поглядел на него, заранее решив для себя это свое предательство. Ничего из сложных и запутанных мыслей Безсонова не понял Свербеев,—бесконечную ненависть, злобу и ярость ощущал он теперь, когда накануне всех его осуществившихся планов, всех возможностей спасения, из-под него вышибали доску.

— Ты это давно все придумал?—спросил он мутно, остановившись, чтобы глубже вдохнуть ускользящий воздух.—Ловкий человекишка... а как же ты мог все это решать для себя, не спросивши меня? Тебе юродствовать, а мне головой платиться за твое юродство... нет, брат, шалишь! Жизнь в тюрьме меня не заманишь, показательным процессиком повесть мою не разбудишь. Я свою совесть имею, моя совесть—это не перегноем, не шелухой быть, а человеком, по-человечески жить, отлично есть, с хорошими женщинами в чистой постели спать, а не за целковый с своей рогожкой... А ты меня вот чем вздумал пронять, совесть заела! А ты о совести думал, когда Челищева по-собачьи убивал? Я тебя не подстрекал на убийство, это ты сам во всю прыть развернулся...

— Я знаю,—ответил Безсонов твердо.—Я и покажу на себя, что в этом я один виноват... но ведь все остальное, все это ведь мы вместе задумали, Федор? А я тебя сейчас с собою зову к жизни вернуться, все искупить, заново жить начать. Если бы ты знал все мои страдания, все мое раскаянье, весь мой ужас передэтой на шею пагубой...

Скосив белесые глаза на кончик своего носа, злобно и пренебрежительно слушал его Свербеев, упорно шагая рядом. Какие-то новые мысли возникали в нем в тот миг, играя углами скул. Щеки его втянулись, рот запал,—он был страшен...

— Что ж, может быть, и благородно перегнутом лежать,— сказал он, наконец.— Лежи, пожалуйста... но ведь ты-то и меня с собой тянешь? Или, может быть,— и он стремительно вдруг наклонился к Безсонову, словно хотел пропороть его острием своего длинного носа,— или, может быть, ты хочешь один на себя всю вину взять... выгородить по своему высокому благородству товарища, спасти его, — это ведь тоже тебе в актив твоего благородства зачтется.

— Я тебя позвал за собою, Федор... — сказал Безсонов просто, — не хочешь, что же, вернись один.

— Как же, так прямо пойдешь и заявишь: я, мол, убил Челищева?

— Да,— твердо сказал Безсонов.— А как же иначе?.. иначе не может быть для меня никакой жизни. Бегство — это не жизнь и не спасение для меня сейчас, а окончательная гибель.

В диких колючих кустарниках лежали горные расселины, обрываясь вниз зеленеющей тропической пропастью. С трудом одолевалась узловатая, в корневищах, дорога. Чуть отставая, шел позади Свербеев. Какие мысли по-новому бороздили теперь этот мокрый, в стекающих полосах лоб? Что же, так легко даст он этому ничтожному мечтателю, золотоволосому парню, столкнуть себя вниз с дороги, которую с таким трудом и риском он для себя проложил? Тайные силы бушевали в нем, в упорно наклоненной его голове. И они шли и шли. Извивались, сворачивали горные эти дорожки, становясь все дичее. На склонах, далеко внизу, оставались белеющие дома турок и виллы бывших владельцев. Безсонов стал отставать; пот стекал с его лица. Отдыхая на поворотах, поднимался он дальше. Все гуще звенела кровь в ушах, туманней становился мир.

— Далеко еще до дома? — спросил он, наконец, измемогая.

— Сейчас за поворотом, — ответил Свербеев.

Одолев еще одну тропинку, зашли они в густой сумрак кустарника.

— Пстой, Кирилл,— странно сказал вдруг Свербеев,— ты думаешь, я тебя сюда любоваться завел? — И белесыми, бесцветными, полными новых решений глазами, поглядел он ему в глаза.— В последний раз спрашиваю тебя, поедешь со мной или нет?.. Ты подумай прежде, чем ответить, от этого многое зависит, — почти прошептал Свербеев.

Оглядев еще раз этот мир, вобрав во всю глубину горный прохладный воздух, ответил Безсонов:

— Вернусь. Вернусь, Свербеев! — повторил он снова уже с ликованием, восторженно глядя на его руку, в которой таинственно и угрюмо зачернел зловещий предмет.— Убей меня, Свербеев, из этого браунинга, или дай мне вернуться... То или другое только... одно из двух осталось сейчас для меня!..

С ненавистью переводил большим пальцем Свербеев предохранитель револьвера. С ненавистью поглядел он на восторженное, потное и измемогающее лицо недавнего товарища. Один только миг отделял его от решения избавиться навсегда от этой зловещей тени,

сопутствовавшей ему до сих пор. Но в то же мгновение судорога передернула страшное и смертно-белое в этом зеленеющем мире лицо Свербеева.

— Дурак... трус!—сказал он с отвращением и ненавистью.—Руки марать об тебя противно... если б не это, не пожалел бы я тебя уничтожить,—и ни один человек, ни одна душа не узнали бы... затащил бы тебя вот в эти колючки, в кусты, лежи, удобряй землю, насыщай собою шакалов. Противно с тобою мараться! Ступай куда хочешь, чорт с тобой... отдай свою часть—и иди, раньше трех дней не смей об'являться, пока я не смоюсь... понял?

— Вот деньги, возьми их, освободи меня от этого страшного груза,—сказал Безсонов, так же восторженно глядя ему в глаза.

Он торопливо достал свою пачку и отдал Свербееву.

— Ну, и чорт с тобой, и погибай, дурак, тля,—ответил Свербеев, запрятывая деньги в карман.—В тюрьме будешь гнить, вспомни Свербеева... большую я жизнь себе построю, как и не снилось!

Он шагнул по дорожке и остановился над ним, все еще белея страшным своим лицом.

— Что же, Федор, дороги наши разошлись теперь окончательно,—сказал Безсонов горько,—а кто из нас жизнь построит по-настоящему, заново—покажет время. Одно знаю я только: неправдой, преступлением нельзя жизнь строить... Это распад и гибель!..

— И пропадай, сгнивай в тюрьме, или лучше всего к стенке встань... проповедник. От души тебе желаю этого!—крикнул Свербеев и, больше не взглянув на него, не сказав ему на прощанье ни слова, неистово устремился кверху по этой горной дороге. Минуту еще слышал Безсонов его запаленное дыхание и шорох срывающихся вниз под его ногами комков земли. Постояв, он вытер мокрое лицо рукавом и двинулся по дорожке обратно.

Миновав колючую заросль, вышел он на открытое место. Далеко внизу голубой панорамой возникло море. Горы своими расселинами посевами, садами и дикою порослью толпились, спускаясь вниз, а море внизу меж теснин было как дивный человеческий глаз, приветствовавший его, Безсонова, на этом нисхождении. И необыкновенная ясность, восторг от этого своего возвращения в мир потрясли и пронзили его. Заново теперь будет он жить,—может быть, через годы, плечо к дорогому плечу, взберется он на прекрасные эти высоты, чтобы отсюда оглядеть зацветающий неугасающий мир. Цену жизни, цену человеческой крови, цену труда, цену любви узнал он через страшное свое испытание. Ликуя, в печали и горечи, смотрел он отсюда на прекрасную землю, на море, омывавшее ее берега. Легкий горный ветер осушал и утишал безумный пламень его лица. А там, в заголубевшем дыхании, показался легкий белеющий парус,—напоминаньем о человеке, плывущем всеми путями, бредущем всеми дорогами, возникший в этом немеркнущем, голубом, примиряющем и принимающем отступника—просторе.

Приднепровье

МИХ. ГОЛОДНЫЙ

Точно цепи, бряцают заботы
На руках, на ногах, в голове.
Каюсь, каюсь—бежать мне охота.
Хороша ты, Москва,—не в Москве.

Будь во мне ты, Самсонова сила,
Я унес бы Свободу с Тверской
Чтобы городом нашим гордилась,
Бранным берегом, буйной рекой.

Степь зеленая с шумом, с разгону
В самый город ворвется, спеша,
И, узнав меня,—изумленно
Обовет, обоймет, чуть дыша.

Вновь смогу я на лавочку выйти,
По-разбойному гикнуть: го-го.
Вот он—дворик, где я знаменитей,
Чем во Франции Виктор Гюго!

Многих встречу знакомых прежних,
Буду слушать, в сторонку зевать.
— Влюблены?—Да, влюблен я прилежно.
— Ну, а пишете?—Начал писать.

Спросит девушка-недотрога:
— Ну, а город? А климат каков?
Ей скажу:—Там всего понемногу,
Но о всем позабыл я легко.

Не во сне—в забытьи Приднепровье
Иногда лишь увидит—чудно!—
Тучи пыли, и в дыме и в крови
Пан Потоцкий схватился с Махно.

Над Днепром месяц тихий и полный.
Спят высоты. Покой. Тишина.
Днепр ты мой, не мути свои волны,
Ты мутишь мне глаза, старина!

Полдень 27/VI.

Гребенка

Я. ШВЕДОВ

Я иду, любуюсь новою окраиной.
Гормоток валдайский, гормоток трамвайный!
Гордые трамваи вперегонку мчатся,
Льется на трамваи желтизна акаций.

Я люблю окраину!
Сколько в ней волненья!
Суетня субботы, отдых воскресенья!
А в субботний вечер молодым и старым
Что-то напевают звучные гитары.

Звонкие двухрядки, тонкие тальянки,
Девочки-белянки, девочки-смуглянки.
Песни разольются в переливе звонком,
Потеряют девушки... не одну гребенку!

Я иду и слушаю переулком старым,
Как, волнуясь, плачут под окном гитары.
Я люблю субботу в суете обычной...
Хорошо жилось мне у тропы фабричной.

Вечером субботним в сумраках квартала
Не одну гребенку... милая теряла,
Оставалась памятью после этой ночи
Черная гребенка в белом ободочке.

Подружился с песней; с песней не разлучен,
Все друзья покинули, стал казаться скучным.
Суетню окраины, ветреную радость
Выложил в припевочки, что же мне осталось?

А в субботний вечер, в голубом тумане
Колкою улыбкой милая помянет...
Вспомнит, рассмеется шустрая девчонка
И с другим оставит под кустом гребенку.

Не поет двухрядная про былую радость,
Все—теперь в припевках, что же мне осталось?
Неужели, правда, только эти строчки
И черная гребенка в белом ободочке?

Женщина эпохи французской революции

I. Теруань де-Мерикур

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

Сто десять лет тому назад в Сальпетриере, парижском убежище для умалишенных, умерла женщина, имя которой было на устах всего Парижа в первые годы революции. Свыше 20 лет провела она в железной клетке «для буйных». В последние годы ее жизни болезнь принимала все более тяжелые формы; дни и ночи безумная просиживала на соломенном тюфяке, лепеча бессвязные фразы, или, преследуемая кровавыми воспоминаниями прошлого, подолгу выла. Грязная и бесстыдная, она внушала отвращение.

Восьмого июня 1817 года в толстой больничной книге против ее имени проставлено короткое и трагическое «умерла». Опустила вымощенная каменными плитами камера, в которой без проблесков разумной мысли столько лет металась голая женщина. Эта пятидесятипятителетняя сумасшедшая, приковывавшая к себе жадное внимание ученых психиатров, была Теруань де-Мерикур, «красная амазонка», ведшая без страха толпы голодных на приступ королевского Версаля.

Анна-Жозефина Тервань, впоследствии изменившая свою фамилию на более благозвучную Теруань, родилась в 1762 году в маленькой бельгийской деревушке Маркур. Отец Анны-Жозефины был крестьянин, задавленный налогами, безземельем и заботами о детях. Каждый лишний рот был непосильным грузом для семьи. Пришлось рано подумать об отправке Анны-Жозефины в «люди»; ее предназначали в прислуги. Расставание с родными для девочки было очень тягостным—любовь к своей семье навсегда останется сильным чувством у Теруань.

Место нашлось в деревушке неподалеку, но служила она недолго. Юная Теруань из Маркура понравилась богатому англичанину, который, уезжая в Англию, берет ее с собой. Отъезд в Англию—начало превращения робкой золушки Анны-Жозефины в героиню шумных светских походов Теруань де-Мерикур.

По отрывочным биографическим сведениям, в жизни Теруань многое осталось невыясненным, в Англии вскоре она начинает вести жизнь

беспорядочную и разнообразную... Красота и способности привлекают к ней богатых и знатных любовников. Она многому учится, легко усваивая необходимые знания, жеманное кокетство, светские манеры, преуспевает в музыке. Прожив несколько лет в Лондоне и возвращаясь в среде кутящей денежной и купеческой аристократии, Теруань возвращается в Париж, уже полный противоречий и борьбы. Не улавливая признаков революции и попав в шальной круг кутил, она живет праздно и беззаботно. Однако в этой легкомысленной моднице сохраняется скептицизм и непосредственный демократизм недавней крестьянки; она не забыла своего детства, когда помещик и сборщик податей лишали ее родных краюхи хлеба. Теруань не порывает со своей деревней и семьей, не скрывает своего происхождения. Один из ее братьев проявляет способности к живописи, и, подметив это, она помогает его отъезду в Италию, обращаясь к друзьям и покровителям с просьбой руководить его образованием. Своих богатых поклонников Теруань разоряет с полным равнодушием к их мольбам и катастрофам. У Теруань появляются: дом, бриллианты, блестящий выезд, слуги и деньги. Она знает о своей красоте и уме, холодно эксплуатируя и то и другое. Расчетливая и трезвая, Теруань решает затем обеспечить себя постоянной рентой. Ей удастся достигнуть этого: один из друзей, действительно, подписывает следующее, характерное для эпохи, обязательство:

«Николай Дуйэ де-Персан, дворянин маркиз де-Персан, граф де-Ден и де-Пато обязуется выплачивать девице Анне Теруань, несовершеннолетней, пять тысяч ливров ежегодной пожизненной ренты с уплатой в два срока в году. Этот договор составлен в виду получения вышеозначенным маркизом де-Персан 50 тысяч ливров от девицы Теруань. Он сможет освободиться от уплаты ренты возвратом этой суммы».

Обеспечив прочное благосостояние, Теруань де-Мерикур пытается перестроить свою ничемную жизнь. Слишком талантливая и умная, к тому же постоянно неудовлетворенная и мятежная, она не может ограничиться ролью содержанки. Теруань пресыщена, она знает опустошенность души вслед за оргиями и излишествами, будущая революционерка ищет большой арены и славы. Когда-то в Англии итальянские певцы находили у нее незаурядный голос, и, вспомнив об этом, Теруань уезжает в Италию учиться пению. Впереди мелькает заманчивая карьера певицы. Она пишет из Италии своему банкиру и другу Перрего о надеждах и мечтах, связанных с работой над голосом.

Эти письма, дошедшие до нас, поражают деловитостью, умением разбираться в сложнейших денежных вопросах и постоянным беспокойством о близких. Стиль, образы и сравнения Теруань отражают начитанность и впечатлительный ум.

В 1789 году, узнав о событиях во Франции, бросив учебу и попытки сделаться певицей, она мчится в Париж, полная энтузиазма, готовая уйти целиком в революцию. Революция в этот период еще бескровна и «галантна». Очутившись в Париже, Теруань переживает полное перерождение, ее неустойчивый, бунтующий характер впитывает и вопло-

щает в себе порывы масс и их протест. Праздной куртизанки больше нет и не будет. Все силы, страстность, деньги она отдаст делу, в котором найдет полное удовлетворение. Теруань идет вместе с «людьми улицы», распевает революционные гимны, кричит проклятия Бурбонам, поклоняется первым звездам революции—Мирабо и Лафайетту. Вначале она теряется в толпе, ничем не выделяясь, но очень скоро Теруань пойдет впереди и поведет угнетенных за собой. В толпе она различает женщин, крайне отсталых, забытых, обездоленных. Теруань де-Мерикур, женственная, чуткая и пережившая немало горя, похмелий и унижений, становится организатором-вождем женщин. В первоначальных опытах журналистики и ораторства она впервые формулирует то, что женщины еще не осознали. Теруань, никогда не бывшая ни матерью, ни женой, инстинктивно находит доступ к их мыслям, желаниям и страданиям. Женщины охотно подчинялись неотразимому ее влиянию, и популярность Теруань быстро возрастает. Теруань олицетворяет женское освобождение.

Много лет спустя даже русские реакционеры-мракобесы XIX века, воевавшие против освобождения женщин, превращали имя Теруань де-Мерикур в нарицательное.

Теруань де-Мерикуры
Школы женские открыли,
Чтоб оттуда наши дуры,
В нигилистки выходили.

Так писал в пятидесятых годах прошлого столетия поэт Щербина, высмеивавший революционное движение русской интеллигенции.

В некогда роскошном особняке Теруань с первых дней революции все перевернуто вверх дном. Там создается своеобразный клуб, где выступают представители всех революционных партий, и обсуждаются злобы дня. Робеспьер, настороженный и еще неуверенный в себе, курносый шутник Дантон, Демулен с обиженной складкой рта, Мирабо, барин с мягкими руками, вкрадчивым голосом и лицемерной улыбкой, влюбчивой Шенье, меланхолический аббат Сийес, русский князь Строганов, сочувствовавший якобинцам, «римлянин» Сен-Жюст, и много других политиков, журналистов, поэтов посещали хаотическую квартиру Теруань. Это было утро революции.

14 июля 1789 года Теруань, пренебрегая опасностью,—среди смельчаков на мосту Бастилии; одна из первых она врывается в крепость, прокладывая себе дорогу шпагой. Толпа устраивает ей восторженную овацию.

Несколько месяцев спустя, Теруань вновь переживает триумфальный день. Верхом на лошади, с пистолетами в руках, в мужском краевом костюме, с развевающимся бантом на шее, она—впереди ободранных женщин, идущих к Версалю и требующих ответа от короля.

Под проливным дождем двигались армии предместий к Версалю, женщины, предводительствуемые Теруань, сзывали мужчин. Их голодный бунт 6 октября 1789 года был первым грозным предупреждением Людовику XVI. Зажигающий пафос речей Теруань, непреклонная уве-

ренность, готовность к бунтарскому натиску—именно это нужно было голодным беднякам предместий, которые легко сделали ее своей героиней.

Популярная в массах восставших против монархии, Теруань вызвала бешеную ненависть в среде роялистов. Газеты и памфлеты аристократов заливали ее имя грязью, называя не иначе, как «бродячая сволочь». Разъяренные пасквили, обильные карикатуры, многочисленные статьи—доказательства того, с какой настойчивостью газеты травили революцию, именно в лице Теруань. Клевета по ее адресу не прекращается до 10 августа, дня разгрома роялистов; ей припоминают уязвимое прошлое, давно искушенное временем и работой. Ее, призывающую к здоровой любви и труду, обвиняют в разврате, приписывая множество богатых любовников. Особенно изощряется в нападках на Теруань реакционный журнальчик «Деяния апостолов», где усердствуют ядовитые памфлетисты Сюло, Ривароль, Шансенэ. Теруань в это время почти без средств перебивается со дня на день, распродавая остатки имущества, закладывая позитки в ломбарде. Последние свои драгоценности она бросает на трибуну клуба кордельеров, призывая женщин следовать ее примеру и организовать сбор средств на постройку дворца Национального собрания на месте разрушенной Бастилии.

В начале 1790 года Теруань, вынужденная скрываться от роялистских преследований, уезжает в родную деревушку Маркур, находящуюся в Бельгии, недалеко от Льежа. Она привозит в тихий сельский уголок воинственные революционные настроения. Ее веселый, живой ум, доступный язык и безудержный энтузиазм покоряют ей в первую очередь деревенскую молодежь. Земляки из Маркура распевают парижские революционные песенки, мечтают о борьбе с монархистами. Вот на деревенской улице под вечер, окруженная пестро разодетыми крестьянками, Теруань де-Мерикур в десятый раз рассказывает подробности 5—6 октября, участницей которых она была. Отлично владея деревенскими оборотами речи, Теруань увлекает их подробностями версальских происшествий. С гордостью рассказывает она, как, предводительствуя толпой голодных женщин, ворвалась в покои «австриячки». С непередаваемым юмором рисует Теруань переполох среди прелестнейших дам королевы. Принцесса Ламбаль, приподняв похожую на абажур тяжелую юбку, мадам Елизабет, жирная и туполицая, мчатся следом за убегающей королевой, волосы которой распустились, разбрасывая вокруг белые брызги пудры. Теруань бросается за ними. Она хочет остановить предательницу-королеву. Опрокидывая затейливые раззолоченные кресла рококо, она догоняет королеву на пороге комнаты короля, где Мария-Антуанетта спасена нерастерявшимся Неккером. Теруань ненавидит Бурбонов и мечтает об их полном падении.

Пробыв на родине в Маркуре некоторое время, окруженная обожанием и поклонением своих односельчан, Теруань решает вернуться к активной работе. Ей хочется основать революционный журнал в Льеже, и с этой целью она отправляется туда, сообщая парижским друзьям обо всех своих планах. Ее мозг напряженно работает, и умственный кру-

говор ширится. В Льеже энергично и упорно Теруань ищет средств к организации задуманного журнала. На время, однако, жизнь ее резко меняется. Неожиданно Теруань исчезает. Ее перепуганный брат, находящийся в Льеже, тщетно занят поисками. В опустевшей квартире нет никаких указаний на то, что могло с ней произойти. Пьер Тервань пишет о пропаже сестры в Париж банкиру Перрего. Он допускает романтическую подкладку в истории с таинственным похищением. Но исчезновение Теруань об'яснилось иначе. В маленьком Льеже она была слишком заметна, и слишком известна была ее ненависть к королеве Франции, австрийской принцессе по происхождению. В январе 1791 года Льеж был занят австрийскими войсками. Теруань арестовали по доносу французского дворянина, эмигранта Лавалетт, и под специальным конвоем отправили в австрийскую крепость Кюфштейн. Плен и неизвестность угнетали Теруань, она рвалась во Францию и, как могла, боролась, требуя освобождения. Ей удается изредка посылать из крепости друзьям и брату письма, в которых она не забывает просить о том, чтобы больше всего берегли ее библиотеку. Во время ареста у нее отобрали сочинения Сенеки и Мабли, с которыми она обычно не расставалась.

В инструкции, данной следователю, австрийские власти так характеризовали Теруань: «Ее фанатический энтузиазм в отношении всего, что связано с идеями демократии,—общеизвестен». Австрийцы пытались запугать французскую революционерку вечным заточением и вынудить у нее признание в «государственной измене». Теруань тяжело заболела. Пришлось перевести ее из крепости в Вену, где она пробыла еще некоторое время под домашним арестом. Следствие затягивалось, но доносы дворян-эмигрантов на Теруань не могли быть подкреплены доказательствами; следователь склонялся к прекращению дела. К этому времени Теруань добилась приема у императора Леопольда австрийского, которого заинтересовала необычная пленница. Во время свидания с ним Теруань решительно и хладнокровно высказала свои взгляды и готовность бороться со всеми монархами мира за свободу и равенство. Леопольд решился на рыцарский жест—Теруань получила свободу. Кое-как выбравшись из Австрии, она возвращается в Брюссель. В сентябре 1791 года во Франции проводится закон, отменяющий все судебные преследования против участников революции, начатые монархическим правительством. Теруань поспешила воспользоваться этой амнистией, и в начале 1792 года, горя нетерпением и потребностью участия в борьбе, она опять появляется в Париже. В якобинском клубе ее встречают овацией, ораторы приветствуют ее гражданскую доблесть, перечисляют политические заслуги и преклоняются перед ее мужеством. В ней видят жертву заговора коалиции европейских монархов, героическую мученицу, вырвавшуюся из крепостных стен, куда хотели запрягать ее эмигранты и австрийцы. Ее просят прочесть в клубе доклад, и 1 февраля она излагает якобинцам историю своего ареста и подробности заточения в Кюфштейне. Теруань пылко доказывает, что единственный способ укрепить свободу во Франции состоит в том, чтобы повести бес-

пошадную войну против мятежников-эмигрантов и европейских деспотов. Она заявляет слушателям, что французская революция имеет многочисленных друзей в Голландии, в Германии, вплоть до императорского дворца. Призывы к наступательной войне Теруань, горевшей желанием отомстить австрийцам, нашли особенно сочувственный отклик в газете «Французский патриот», издававшейся Бриссо.

Начинается период наибольшего расцвета ее умственных и ораторских сил. Она проводит дни в Палэ-Рояле, в Тюльери, в редакциях газет, среди женщин предместий. Теруань слушают, ее мнение ценится высоко. Демулэн, Дантон и другие отзываются с восторгом об ее талантливых выступлениях, остроумных и патетических. Равенство с мужчиной, не словесное, а в обыденной и политической жизни, учении и работе было провозглашено; как один из лозунгов революции, именно Теруань де-Мерикур. Ее импровизированные речи и обращения к гражданам всегда полны твердости и убедительности. Большую речь, заканчивающуюся предложением приступить к организации батальона амазонок, Теруань произносит в «Братском обществе», передавая знамя женщинам Сент-Антуанского предместья:—«Гражданки, не забудем, что мы должны целиком отдать себя отечеству. Вооружимся—природа и даже закон дают нам право на это; покажем мужчинам, что мы не ниже их в доблести и храбрости; покажем Европе, что француженки сознают свои права и что они стоят на уровне идей XVIII века, презирая предрассудки, которые бесцельны и безнравственны, поскольку именно добродетель об'является преступлением. Француженки, сравните то, чем мы являемся, с тем, чем мы должны были бы быть в общественном порядке. Чтобы познать наши права и наши обязанности, нужно обратиться к суду разума, и, руководясь им, мы сможем отличить справедливое от несправедливого... Француженки, повторяю вам еще раз, наше значение должно быть высоким; сокрушим наши оковы, пора женщинам выйти из того постоянного ничтожества, в котором они находятся, столь давно поработанные невежеством, гордостью и несправедливостью мужчин, вспомним времена, когда наши матери, галльские и гордые германские женщины, участвовали в общественных собраниях и сражались рядом с своими мужьями, отражая врагов свободы... Великодушные гражданки, вы все, слушающие меня, вооружимся, приступим к военным упражнениям, откроем запись в списки французских амазонок и пусть в них записываются все те, которые действительно любят свою родину»...

В Сент-Антуанском предместье Теруань устраивает женский клуб. Три раза в неделю женщины проводят в нем вечера, занятые чтением, диспутами и практической общественной работой. Это очень скоро начинает вызывать недовольство мужей. Дети без присмотра, обед не разогрет, костюм не починен,—жена не на месте. Брожение в мужской среде против «шляющихся по собраниям женщин» принимает настолько большие размеры, что в клубе якобинцев ставится вопрос о закрытии женского клуба. Женщина—жена и мать мелкого буржуа, ремеслен-

ника, рабочего, основа его семейственной жизни. В ту пору общие столовые, не трактирного типа, еще не существовали, без женщины домашнее хозяйство бедняка замирало.

Когда в якобинском клубе поднялся вопрос о чрезмерном феминистском уклоне гражданки Теруань, дебаты разгорелись, вскрывая подлинные чувства собрания. Недаром многие толковали декларацию прав «человека», как декларацию прав «мужчины». Робеспьер сухо отрекся от каких бы то ни было симпатий к гражданке Теруань. Ряд других ораторов отзывались о ней и ее работе среди женщин с платоническим сочувствием. Женский клуб был закрыт единогласным постановлением. Двумя годами раньше Теруань пыталась быть принятой полноправным членом районного клуба кордельеров. Однако просьба ее не была удовлетворена. Клуб отклонил прием в члены, отметив, впрочем, в постановлении, что так как церковный собор в Маконе признал наличие у женщины души и разума, то нет оснований запрещать ей далее развивать свои способности. В течение двух лет революции, как видно, женщины многого не добились. Но в моменты народных восстаний вырастает и значение женщин и роль Теруань.

10 августа, когда измена короля очевидна, и народ идет в Тюльери, Теруань, как всегда, в авангарде... Она теряет голос, взывая к мщению. В бою беспощадная и решительная, Теруань принимает непосредственное участие в расправе с Сюло, молодым роялистским писателем, защищавшим монархию своим язвительным пером.

Утром 10 августа охранительный отряд вместе с Теруань находился на Фельянской террасе. В числе захваченных подозрительных, приведенных на террасу, находились ярые монархисты, давнишние непримиримые враги народа. Они оказались переодетыми в форму революционного патруля. Среди арестованных был Сюло. Теруань ненавидела его за издевательства, которыми он осыпал ее в реакционной парижской прессе.

Вместе со своим отрядом Теруань добивается разрешения у полицейского комиссара на то, чтоб Сюло и десяток других арестованных были тотчас же судимы публично. Толпа беспощадно расправляется с ними. Сюло умирает под ногами Теруань.

Наступает сентябрь. Происходит так называемая сентябрьская резня заключенных в тюрьмах аристократов и подозреваемых в сочувствии монархии. Вслед за этим обостряется внутренняя борьба Горы с Жирондой. Уже в 1792 г. весной Теруань была втянута в борьбу партий. Коллод-Эрбуа в апреле этого года бесцеремонно высмеял ее, в отместку за плохой отзыв о Робеспьере. Что побудило Теруань примкнуть к жирондистам? Воинственная революционерка, демагогическая феминистка, она отступила, когда окончательная победа над монархией открыла новую страницу якобинской борьбы против умеренной буржуазии, не желавшей дальнейших социальных потрясений. Известно, что на нее имел большое влияние умный, красноречивый Бриссо, с которым она была связана дружбой. Воинственный пафос Бриссо и Жиронды

в вопросах внешней политики был ей гораздо больше по душе, чем расчетливый пацифизм Робеспьера и Горы. Обострение гражданской войны, которое вело к террористической диктатуре якобинцев, казалось ей только гибельной внутренней распрей перед лицом внешнего врага, интервенционных армий, руководимых Питтом. Теруань становится проповедницей мира в межклассовой борьбе. Весной 1793 года, незадолго до исключения жирондистов из конвента и казни их, она обращается ко всем секциям Парижа с примирительным воззванием. «Ко всем 48 секциям»—так называлась составленная ею и расклеенная по городу прокламация-афиша, начинающаяся следующими словами: «Граждане, куда мы идем? Нас увлекают все страсти, которые искусно можно было разжечь, мы почти на краю гибели. Граждане, остановитесь, пора одуматься». Теруань рисует дальше картину начинающейся междоусобицы. «В нескольких секциях уже имели место уличные столкновения, предвестники гражданской войны; нужно внимательно и спокойно рассмотреть, кто такие, вызывающие их провокаторы, чтобы узнать, кто наши враги... Граждане, остановитесь и одумайтесь, иначе мы погибли... Наступил момент, когда общий интерес требует, чтобы мы об'единились и пожертвовали своей ненавистью и страстями ради общественного блага».

Теруань показывает, что победа неприятельских армий, наступающих в союзе с эмигрантами, жаждущими реставрации, грозит истреблением всех, примкнувших к революции без различия партий. И в качестве способа обеспечить в Париже внутренний мир, она предлагает—вмешательство женщин. Надо избрать в каждой секции шесть гражданок, «наиболее добродетельных и серьезных, чтобы примирять и об'единять граждан, и напоминать об опасностях, которые грозят отечеству». Эти гражданки будут носить шарф с надписью «дружба и братство» и будут охранять порядок в общественных собраниях. Предложение Теруань не получило применения. Увещевания были бесполезны, борьба Жиронды и Горы быстро шла к кровавой развязке. Воззвание Теруань было, конечно, жирондистским по духу. Она теряла прежнюю тесную и непосредственную связь с движением и кровными нуждами народных низов. Это отступление Теруань стало причиной ее гибели. Незадолго до 31 мая 1793 года, дня изгнания вожаков Жиронды из конвента, Теруань находилась в Тюльери. Перед дворцом женщины предместий, озлобленные бедствиями войны, безработицей, недоеданием, кричали свой приговор Бриссо: «Долой бриссотинцев». «Мы требуем низвержения Бриссо». Они бросались на проходящих депутатов жирондистов с угрозами. Потрясенная Теруань наблюдала начинающееся восстание с каменного дворцового под'езда. Вдали показалась немного сутулая фигура Бриссо. Он шел, нерешительно и боязливо поглядывая на разъяренных санкюлотов. Предчувствуя расправу, Теруань побежала ему навстречу. Зная о своем влиянии на женщин, она надеялась оградить Бриссо от нападения. Но она ошиблась: любя и доверяя Теруань первых лет революции, женщины-якобинки не могли простить ей перехода в лагерь ненавистных «бриссотинцев». Завидя Теруань рядом с самим Бриссо,

олицетворяющим для них измену и предательство, они озверели. «Прекрасную лъезуазку»,—как называли Теруань в предместьях,—схватили десятки женских рук. Ее потащили на одну из террас Тюльери. Не слушая криков и мольбы, изорвав платье, женщины жестоко высекли ее.

На следующий после избиения день, в парижской газете «Окружный Курьер» сообщалось следующее:

«Одна из героинь революции потерпела вчера маленькое фиаско на Фельянской террасе: Теруань набирала сторонниц в партию роландистов. К несчастью, она попала на приверженков Робеспьера и Марата, которые, не желая увеличивать партии Бриссо, схватили вербовщицу и отстегали ее со всем подобающим усердием. Явившаяся стража вырвала жертву из рук рассвирепевших фурий».

Рассудок Теруань де-Мерикур получил непоправимую трещину на каменных плитах дворца Тюльери, к которому столько раз она вела неистовые отряды предместий, с саблей в руках, с ружьем за спиной, верхом или на пушке, везомой рабочими. После этого потрясения ее политическая деятельность прекратилась. Заболевший мозг не оправился, и через год Теруань окончательно сошла с ума.

ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Проф. Г. Я. ГУРЕВИЧ

Если мы не знаем, не можем точно определить первичный источник жизни, то во всяком случае для нас ясно, что *жизнь есть выражение бесконечных превращений мировой энергии.*

Все сущее на земле почерпает энергию извне. Но тогда как предметы неорганического мира лишь пассивно вовлечены в мировые физико-химические процессы, *живые существа*, неизвестным образом возникшие из мертвой материи, начали творить свою собственную жизнь и жизнь себе подобных в бесконечных поколениях, и творят жизнь, создавая ее с помощью собственной жизненной энергии из окружающей материи и элементов мировой энергии.

И эта жизнь, которая наглядно разворачивается перед нами в форме роста и непрерывного размножения отдельных живых существ, принадлежащих к растительному и животному миру, *немыслима без питания.*

Эти живые, но недолговечные существа построены из элементарных живых единиц-клеток, сбчетающихся, у более организованных видов, в ткани и органы. Главную же массу тела каждой клетки составляют нерастворимые в воде коллоидные вещества, особенные, сложные, но нестойкие органические соединения, из которых наиболее сложными и многообразными по своим, возможным только для них, превращениям являются *различные виды белка.* В состав их обязательно входят углерод, водород, кислород и азот. Но только азот *сообщает им особые свойства* и способность к сочетаниям в бесконечных вариациях.

Только живые существа имеют в своем составе белки в своеобразных нестойких сочетаниях с жирами, липоидами и углеводами, водою и минеральными солями. И это-то и создает ту живую материю, благодаря которой уже низшие организмы и растения *обладают способностью изменяться* во всем своем состоянии, при изменении внешних условий, различным образом *отзываться* (специфически реагировать) в ответ на всевозможные раздражения извне, входить с окружающей средою в особые взаимоотношения, *создавать особые виды энергии*, не свойственные предметам неорганического мира.

Живая материя не только поддается воздействию кислорода, воздуха и воды, но сама активно поглощает кислород, при чем часть ее все время *окисляется, сгорает, разлагается* на свои составные части; она активно поглощает воду и отдает воду с растворенными в ней вредными отбросами, и вследствие этого также *расходует свое вещество*; она тратит его также при активных движениях для поддержания своей

животной теплоты и при образовании в ней электрической энергии и животного магнетизма, она непрестанно *функционирует и изнашивается*. И все эти траты должны быть пополнены.

Но кроме того каждая *клетка* до известного предела увеличивается, *растет* и непреодолимо *размножается*, и для этого ей нужен *строительный материал*. Таким образом, каждая живая клетка, каждый *живой организм* должен суметь найти этот материал в окружающей среде, переварить его и усвоить, превратив в часть собственного существа. Он должен непременно *питаться*. Он должен *уметь питать себя*.

Те *виды существ, которые более удачно приспособились к этому*, постепенно, путем эволюции, усложнили свои жизненные отправления (функции), *усложнили* в самых разнообразных отношениях и *свою организацию*, выработали новые формы существования. Необычайно *усложнились* и *способы взаимодействия между живым организмом и внешней средой* и способность к восприятию посредством органов чувств происходящих в окружающем мире явлений, и способность ощущать эти явления, отвечать на них, проявлять себя, двигаться, действовать, точно воспринимать изменения в собственном организме, регулировать собственные сложные отправления. Эти *соотношения между восприятиями и проявлениями*, именуемые рефлексам, все осложняясь у животного, создали сложную нервную систему и *высшую нервную деятельность*, которая у человека выдвинулась в еще более сложную *нервно-психическую деятельность*, в целый ряд проявлений нервно-психической энергии.

И ведь все такие *проявления* этой особой *нервно-психической энергии*, как внутренние переживания (эмоции), мышление, воля, устремления, творчество, строительство жизни, *являются продуктом тончайших физико-химических превращений* особого вида живой материи,—нервного вещества. Но *исходный материал*, потребный для построения и такого драгоценного вещества, *изготавливается не в самом организме*. Он должен быть доставлен *извне, в форме питательных веществ* для дальнейшей тонкой переработки,—как хлопок доставляется на фабрику, где из него сучатся тончайшие нити, из которых затем ткуются сложные ткани; как песок на стеклянном заводе, где путем особой обработки из него создается тончайший хрусталь.

Надо найти такой исходный питательный материал. И человек, унаследовавший эту способность от предков своих—животных, не только нашел его в продуктах растительного ¹⁾ и животного происхождения, но изощрился в самом широком и сложном использовании его.

Потребность в пище, а вместе с тем и внимание к вопросам питания как у отдельного человека, так и в жизни семьи, племен и народов *всегда стояли на первом месте*.

Всеобщая борьба за существование есть прежде всего борьба за пищу. Ведь пищу надо или создать, или достать, положив на это много труда, или отдавая за готовую пищу продукты своего труда. Весь вопрос в том, *ценою какого труда, каким количеством труда можно окупить стоимость пищи*. А этот вопрос стоит в зависимости от того, *какое количество пищи признается потребным* для поддержания в полной мере сил и здоровья и *какое—действительно потребно* для этой цели.

Можно ли положиться на естественное чувство меры, на инстинкт, который, казалось бы, должен быть вложен в живой организм и должен был бы предохранить его от недоедания или переедания.

Несомненно, что и у растений и у животных развитие в общем соответствует количеству потребляемого питательного материала. Од-

¹⁾ Только растения при помощи солнечной энергии создают белки из неорганических веществ, почвы и воздуха.

нако известно, что избыточное питание нередко создает пышные формы и ожирение в ущерб общей устойчивости тканей и способности к плодоношению—у растений, в ущерб развитию мышечной системы и способности к размножению—у животных. И вообще, *инстинкт самосохранения не предохраняет от заболеваний и преждевременной смерти от последствий переедания*. Всем известно также, к чему ведет жадность к еде у детей и дикарей. Но и взрослые люди всех классов и состояний, даже самые, казалось бы, культурные, в общем *затрачивают на пищу несомненно больше внимания и средств, чем это соответствует их действительной потребности*. Малейшее повышение достатка почти всегда влечет за собой, прежде всего, количественное и качественное улучшение стола. И если это вполне естественно, поскольку вызывается потребностью в более доброкачественной и разнообразной пище, то, главным образом, *это объясняется* присущим человеку, как и животному, *влечением к пище и удовольствием от вкусной пищи*. У некоторых же к этому присоединяется обывательский страх за свое драгоценное здоровье, вызываемый укоренившимся *убеждением, что здоровье повышается соответственно упитанности, что пополнить, значит поправиться*. А в результате постоянные *излишние расходы* на питание и целый ряд *болезней* вследствие переедания.

В этом отношении недавно пережитый продовольственный кризис, отнявший у многих, особенно городских жителей, немало здоровья и даже жизни, оказался в своем роде поучительным: при вынужденной сдержанности в пище многие избавились от избыточной полноты, от одышки, упорных запоров, головных болей и многих проявлений подагры; стали гораздо подвижнее и выносливей; и для многих стало ясно, насколько это лучше и выгоднее. Говорят, что не иначе как вследствие голода погибло так много народа от сыпного тифа и испанки и усилился туберкулез. При этом, однако, упускается из вида, что сыпной тиф распространялся благодаря вшивости и особенно свирепствовал в местах, совершенно обеспеченных довольствием, а испанка поражала преимущественно молодых и часто давала наиболее тяжелые, смертельные осложнения у людей, хорошо упитанных. Более упитанные и вообще чаще заболевают острыми инфекционными заболеваниями и тяжелее их переносят. И даже при туберкулезе былое увлечение откармливанием, как главным средством лечения, совершенно не оправдалось. При восстановлении аппетита и правильном выборе пищи, особенно же при одновременном длительном пребывании на воздухе; больные поправляются скорее и прочнее, чем при откармливании, которое значительно понижает жизнедеятельность тканей.

А между тем, как раз там, где питание стоит под врачебным контролем, в санаториях и домах отдыха, пищевое довольствие обычно на много, иногда вдвое и втрое превышает действительную потребность и неизменно включает в себя избыток мяса, птицы и рыбы, большую часть жареных на масле, с жирными соусами и подливками, и, конечно, для многих, и без того злоупотреблявших таким столом и наживших уже ожирение и подагру, со всеми их последствиями, это является только вредным. Предпочтительное же питание таких больных белым мясом, которое легче прожевывается, переваривается и усваивается, оказывается еще более вредным. Хлеб отпускается также в явном избытке. Да и вообще добрая половина этого довольствия несомненно не может быть использована ¹⁾.

¹⁾ В то же время в больничных и даже клинических учреждениях пищевое довольствие остается невероятно скудным.

Во всяком случае несомненно, что в городах, среди мало-мальски достаточного населения, больные, страдающие болезнями органов пищеварения и расстройством обмена на почве нерационального питания, поражают своей численностью. Они составляют добрую половину лечащихся на курортах, особенно на кавказских минеральных водах, при чем и там попадают в условия нерационального питания.

Таким образом, *вопрос о рациональном питании имеет громадное значение прежде всего в смысле сохранения народного здоровья.* С хозяйственной же и общественной точки зрения, *избыточные расходы на питание*, производятся ли они отдельными лицами, организациями или государством, если это не сопровождается уменьшением заболеваемости населения и повышением производительности труда, *являются безвозвратной потерей драгоценной энергии*, притом в ущерб тем, кто не доедает.

Этот вопрос не может быть безынтересным для кого бы то ни было. Но, даже среди более образованных групп населения, в этой области господствуют весьма смутные представления и превратные понятия, как и в области, хотя бы элементарной, анатомии и физиологии пищеварения.

За недостатком места (нам) придется, однако, ограничиться рассмотрением только основ рационального питания:

I. *Потребность организма в пище*, как уже указано выше, *вызывается необходимостью постоянного возмещения его повседневных трат*, ибо организм, даже при полном покое, постоянно *теряет часть* своей живой материи, состоящей в большинстве тканей из *белков*. Под влиянием непрестанной жизнедеятельности они разлагаются на так наз. нормальные конечные продукты обмена, которые выделяются в форме содержащей азот мочевины—с мочью, в виде углекислоты—через легкие, в виде воды—разными путями.

Часть продуктов распада тканей, выделяющаяся через печень в составе желчи, попадает в кишечник и вместе с остатками непереваренной пищи, а также выделениями самой кишечной стенки выводится с калом.

Разлагается в организме и жир, освобождая при сгорании, т.-е. окислении кислородом воздуха, много тепла; жироподобные вещества *липиды*, которые несут более квалифицированные функции, *также разрушаются*.

Для возмещения всех распавшихся белков и жиров организму необходимо потребление таковых из пищи.

Но еще в большем количестве живой организм нуждается в горючем материале, при сгорании которого, во-первых, образуется тепло, необходимое для поддержания постоянной температуры тела в пределах 36—37° С, и, во-вторых, освобождается энергия в форме движения, т.-е. сокращения мышц.

Этот *горючий материал дают углеводы*, получаемые из пищи и превращаемые в организме в глюкозу (виноградный сахар).

Организму *необходимо также* постоянный приток воды для возмещения того количества жидкости, которое удаляется с мочой, потом, испарением с поверхности кожи, с выдыхаемым воздухом и через кишечник.

Вместе с водой выделяются разные соли, главным образом, *хлористый натр* (поваренная соль), который *входит в состав всех тканей*, крови и всех тканевых жидкостей.

На ряду с хлористым натром в состав тканей неизменно *входят и другие минеральные соли*. Особенно большое значение для организма имеет фосфорно-кислая известь и магнезия, которые составляют главную часть костной ткани и зубов; фосфор и известь входят также в состав других тканей и крови; железо—в красящее вещество крови, так наз. гемоглобин; калий необходим для построения мышц и сосудов, кремневая кислота—для гнзз, волос и зубов, фтор—для зубной эмали.

Из всего сказанного ясно, что *пища должна содержать все указанные вещества в достаточном количестве*. Если же человек недоедает или пища бедна нужными частями, получается голодание, истощение, болезненные состояния и даже смерть.

Эти вещества распределены в различных сортах пищи неравномерно.

1. *Белки* являются главной составной частью (до 20%) мяса различных животных, включая птицу и рыбу, в меньшем количестве они находятся в белке яиц—12%, в рыбьей икре, в молоке—3½% (главным образом, в виде казеина—творога). Но некоторые растительные продукты, особенно бобы, чечевица и горох, содержат белков даже больше чем мясо—до 33%. Значительное количество белков—до 14%—находится в зерне, особенно в овсяной и гречневой крупе, меньше—5—8%—в хлебе, еще гораздо меньше в картофеле и других овощах, ягодах, фруктах и т. д.

Во всяком случае очевидно, что обычное противопоставление пищи белковой и растительной не состоятельно.

2. *Жиры* в большом количестве находятся в животном сале и в жирном мясе, включая, конечно, откормленную домашнюю птицу и жирные сорта рыбы. В наиболее чистом виде—до 96%—животный жир содержится в перетопленном сале и «рыбьем жире». В яйцах жир в количестве 11% входит в состав желтка, который также богат лецитином, заключающем органические соединения фосфора, чрезвычайно важные для питания нервных тканей. В молоке жира немного, около 3½%, но в масле—продукте молока—жир составляет 82%; в сырах также немало молочного жира. Растительные масла состоят из жира почти на 100%.

3. *Углеводы*, которые так необходимы организму в качестве горючего материала, находятся в пище больше всего в форме крахмала, которым особенно богаты зерновые продукты: овсяная и гречневая крупа содержат его около 68%, рис—78%. В хлебе на крахмал приходится только 50%, потому что он содержит гораздо больше воды. В картофеле же крахмала всего около 20%. Чисто углеводную пищу представляет свекловичный и тростниковый сахар, мед. В сладком винограде довольно много виноградного сахара (глюкозы); в сладких фруктах значительное количество плодового сахара (фруктозы); в молоке углеводы представлены молочным сахаром в количестве 4,5%.

Все перечисленные виды углеводов легко перевариваются и усваиваются в форме глюкозы. Впрочем, в растительной пище, особенно в овощах и фруктах, углеводы содержатся еще в большем количестве в форме клетчатки, которая для травоядных составляет главное питание, в человеческом же пищеварительном канале переваривается недостаточно. Из этого, однако, не следует, что клетчатка вредна. Даже напротив: при потреблении растительной пищи, богатой клетчаткой, улучшается стул.

4. Различные *минеральные соли* находятся почти во всех продуктах растительного и животного происхождения. Значительная часть их распределена в оболочке семян, в кожуре фруктов, в листьях, стеблях и корнях, которые обычно считаются в публике не имеющими никакой питательной ценности, что, однако, совершенно несправедливо.

5. *Вода*, которая так нужна организму, что без нее труднее обойтись, чем без пищи, всегда к нашим услугам в виде питьевой воды источников и рек. Но всякая вода содержит определенное количество минеральных солей; их нет только в дождевой и дистиллированной воде. Впрочем, очень многие, по крайней мере отчасти, вместо воды употребляют разные напитки, как чай, кофе, квас и т. п.; которые отличаются от воды только вкусом и слегка возбуждающим действием; прибавляемый же сахар является уже высоко питательным средством. Но и в большинстве пищевых средств, а тем более в кушаньях, воды находится несравненно больше, чем обычно себе представляют. Так, мясо содержит почти 80% воды, яйца, картофель, овощи также, в молоке воды около 88%. А наше тело, считая вместе с костяком, заключает в себе около 70% воды.

Обычная смешанная пища заключает в себе в различных сочетаниях большую часть все перечисленные вещества. В чистом же виде—углеводы находятся в различных сортах сахара; жиры, почти в чистом виде,— в растительных маслах, в очищенном перетопленном несоленом сале; белок, впрочем, в смеси с водою,— в яичных белках.

II. *Какое же общее количество пищевых веществ и сколько каждого в отдельности должен потреблять* взрослый здоровый человек, исполняющий умеренную физическую работу и находящийся в умеренном движении?

Конечно, весьма неодинаковое, т. к. во многом это зависит от личных особенностей, темперамента, привычек, состояния, быта. Кроме того, состав пищи постоянно меняется, вычислить среднюю норму возможно только весьма приблизительно и нельзя непосредственно определить, в каком количестве один сорт пищи может быть заменен другим. Поэтому необходимо установить научно обоснованный способ определения питательной ценности пищевых продуктов, входящих в пищу.

Для этого надо учесть количество тепла, освобождающегося при сгорании пищевых веществ в теле под влиянием окисления кислородом. При этом за единицу меры принимается так наз. *калория*, т.-е. количество тепла, нужное для того, чтобы нагреть один литр воды на один градус по Цельсию, которое, в переводе на механическую силу, потребно для поднятия одного килограмма на 425 метров. Так, 1 гр. белка, равно как и 1 гр. углеводов, дает при сгорании 4,2 калории (в круглых цифрах— 4 кал.), а жир—9,3, (в круглых цифрах—9 кал.). Исходя из только что указанного принципа, питательная ценность различных веществ, по предложению Рубнера, при одинаковой их калорийной ценности, считается равноценной. Так, например, 20 гр. жира, которые дают 180 кал., могут быть заменены 45 гр. белка или углеводов, дающих тоже 180 кал.

Однако положение это не вполне точно, т. к. жиры и углеводы могут заменить белки лишь при условии, что организм получает известный необходимый минимум белков; углеводы и жиры могут заменять друг друга далеко не полностью и далеко не при всех состояниях; целиком покрыть потребность организма в питании одними белками фактически

очень трудно, потому что тогда пищи, содержащей белок, пришлось бы давать слишком много; наприм., вместо 2 фунтов хлеба 5 ф. мяса.

Сколько же пищи на сутки нужно по расчету на калории? Разные авторы определяют это количество неодинаковым числом калорий как для отдельных составных частей пищи, так и в совокупности.

В Германии долго господствовала пищевая мера, высчитанная Фойтом для мужчины в 70 кило при средней работе, а именно:

белков . . .	118 гр.	(× 4,2)	— 495 кал.	} в сумме около 3116 к.
жиров . . .	56 »	(× 9,3)	— 524 »	
углеводов . .	500 »	(× 4,2)	— 2100 »	

что составляет по 44,5 кал. на кило веса.

Рубнер предложил еще несколько большие цифры: 127, 52 и 509. Американская норма по Этвотеру (Atwater):

При средней работе:		При особенно тяжелой:	
белки	150—600 к.	200—800 к.	
жиры	150—1350 »	350—3150 »	
углеводы . . .	500—2000 »	800—3200 »	
	ок. 4000 к.	ок. 7450 к.	

Но уже цифры, установленные Фойтом, не могут считаться несомненными, потому что ряд авторов показывает, что *можно*, не изменяя образа жизни, без малейшего вреда и даже с пользой для здоровья и самочувствия, притом у людей разных профессий, не исключая спортсменов, *уменьшить количество потребляемого белка приблизительно вдвое*. Особенно доказательны в этом отношении многочисленные опыты Читтендена (Chittenden), Хиндхеде (Hindhede) и Умбера (Umber).

Война и революция заставили еще раз пересмотреть высокие нормы питания. Ведь питать население государственным пайком, установленным Фойтом и другими, положительно не было возможности. Так, германскому населению к концу войны и блокады пришлось довольствоваться уже совсем скудным пайком, в котором было всего около 30 гр. белков, ничтожное количество жиров, неполноценная, трудно усвояемая растительная пища, а в общем на душу населения приходилось иногда всего около 1.100 калорий. И это имело, конечно, безусловно тяжелые последствия.

Но есть достаточно оснований признать, что общее уменьшение прежней *большой* пищевой нормы, установленное в Зап. Европе международной комиссией, не идет в разрез с действительной потребностью. Очень рациональными надо признать цифры, предложенные итальянцем Ро:

Белков . .	по 1,0	гр.	
жиров . . .	} соответственно	{ 0,6—0,8	» — на 1 кило веса тела.
углеводов . .			

Крупнейший современный ученый Abderhalden также указывает, что прежние нормы для белков в 120—200 грамм безусловно преувеличены и что, при введении достаточного количества углеводов, довольно

60—80 грамм и даже меньше, хотя во всяком случае не меньше 0,5 гр. на кило веса.

Научно проверенным примером достаточности такого скромного питания может служить многомесячный опыт на самом себе недавно проведенный Pässle, который, совершая работу рабочего на мельнице, потреблял только по 40 гр. белков, 47—жиров, 370—углеводов, не теряя ни веса, ни физических и интеллектуальных сил. Наблюдения же из повседневной жизни студенчества, крестьянства, особенно же отшельников, питающихся необычайно скудно при значительной работе, необходимой в условиях их жизни—наблюдения эти, хотя и не точные в научном смысле, но достаточно наглядные, говорят сами за себя в том же смысле.

Таким образом для питания умеренно работающего взрослого человека можно спокойно признать совершенно достаточным по 1 гр. белков и жиров и по 5—6 грамм углеводов на кило веса, а на непродолжительное время количество белков и жиров может быть еще значительно уменьшено.

III. Однако сравнительно недавно оказалось, что для питания безусловно необходимы еще некоторые добавочные вещества, химическая природа которых еще недостаточно выяснена и значение которых раньше совершенно не принималось в расчет. Это так наз. *витамины*. Без них, при самой питательной пище, ни животное, ни человек совершенно не могут обходиться.

Витамины находятся преимущественно в растениях, больше всего в свежей капусте, репе, брюкве, фруктах, особенно в лимонах и апельсинах, в ягодах, особенно в землянике и клюкве. Из животных продуктов—в сыром молоке, в сливочном масле, в яичных желтках, меньше в свежем мясе, особенно же много в «рыбьем жире», который добывается из печени трески. Консервированное мясо и молоко, сушеная рыба и яичный порошок, печеный хлеб, сухие овощи, сахар, растительное масло почти или вовсе не содержит витаминов.

Витамины делятся на несколько категорий. Главные из них:

Витамин А—возбуждающий рост.

» В—поддерживающий тонус, т.-е. нормальное напряжение нервной системы.

» С—поддерживающий нормальное состояние крови и питание тканей.

Растущий организм, не получая в пище витамина А, перестает расти, хиреет, у него расстраивается и замедляется окостенение хрящей—*рахит*; иногда поражается роговая оболочка глаз—*ксерофтальмия*.

У взрослых, не имеющих в пище витамина В, теряется аппетит, расстраивается общее состояние и функции нервной системы, парализуются конечности. Это болезненное состояние называется *бери-бери*; оно особенно распространено в Японии, вследствие питания одним, освобожденным от оболочки (полированным) рисом. Экспериментально же установлено, что, если кормить голубей таким рисом, то в начале они едят его с жадностью, потом неохотно, затем совсем отказываются. При этом у них делается паралич ног, крыльев и шеи и они лежат в беспомощном состоянии. Но стоит только дать им поклевать шкурки от того же риса или вспрыснуть под кожу настой из этих же шкурок, как они приходят в нормальное состояние.

При недостатке витамина С все ткани приходят в ненормальное состояние, изменяется состав крови, делаются кровоизлияния в ткани, не заживают раны и т. д. Ярким примером такого состояния являются: у детей, питающихся кипяченым мо-

локом,—болезнь Барлова (Barlow), у взрослых, не имеющих свежих продуктов—цынга. Путешественники в полярные страны, золотоискатели на дальнем севере (Клондайк), судовые команды при долгих путешествиях в былое время,—коротко сказать, люди, долго не получающие свежих продуктов—легко заболевают цынгой, и выздоравливают только в том случае, если начинают получать свежие овощи, лимоны, апельсины и т. под.

У нас, в голодные годы, в некоторых детских домах, которые в виде исключения обильно снабжались мучными продуктами и рисом, но не получали сырого молока, масла, овощей и т. п., дети начинали хиреть, впадали в какое-то тяжелое состояние общего расслабления, несмотря на, казалось бы, достаточный паек. С другой стороны, во время голода, когда у нас население наиболее пораженных мест, питаясь кореньями, древесной корой и т. п., доходило до невероятного истощения, ни цынгой, ни другими заболеваниями этого рода оно не страдало.

И нет сомнения, что, главным образом, среди городских жителей, получающих пищу, бедную витаминами, многие болезненные состояния, которые шаблоно тракуются, как результат малокровия и какой-то неопределенной неврастении, представляют собою не что иное, как состояние *«авитаминоза»*, т.-е. болезненного состояния в зависимости от недостатка витаминов.

Из сказанного ясно, что *пища непременно должна состояться из таких продуктов, которые содержат витамины.*

Не менее важно принять во внимание, что, устанавливая потребное для питания количество белков, жиров и углеводов, мы в действительности *не можем кормить* людей этими веществами в химически чистом виде фабричного производства, напр., белками, извлеченными из яйца или мяса, казеином (из творога) и т. д., чистым растительным маслом, салом, крахмалом, сахаром. В таком виде они не идут в пищу, несмотря на свою безусловную питательность.

В пищу может идти только то, что привлекает и возбуждает аппетит своим запахом, вкусом и видом, что вызывает соответствующее возбуждение и в органах пищеварения. Такие свойства придают пище *вкусовые вещества*, которые могут быть вовсе не питательными, тем более, что находятся в пище в очень малом количестве, но имеют громадное значение.

Таковыми, особенно в сырых продуктах, являются, во-первых, *растительные кислоты*, ясно ощущаемые и приятные на вкус, как щавелевая—в щавеле, шпинате и томатах, клюквенная, лимонная, апельсиновая, яблочная и т. д.

На ряду с этим многие пищевые вещества, особенно растительные, заключают в себе так наз. *эфирные масла*, придающие пище тот или иной особенно привлекательный запах и вкус. Их в большом количестве содержит укроп, лук, чеснок, тмин, разные корни, листья, грибы, фрукты, и, так наз., пряности.

Из многих продуктов растительного и животного происхождения при настаивании и варке с водой извлекаются и переходят в раствор так наз. *экстрактные вещества*, которые и придают вкус, особенно супам, соусам, подливкам, настойкам и т. п. Они возбуждают отделение желудочного сока, вызывая вместе с тем чувство приятного удовлетворения; и потому-то наварные супы издавна считаются питательными и высоко полезными для пищеварения, хотя собственно питательного в них почти ничего нет. Чай и кофе сами по себе тоже совсем не питательны, но настои из них, содержащие теин или кофеин, приятно возбуждают нервную систему.

Привлекательными в пище и в напитках являются также различные *продукты брожения: органические кислоты, углекислота* и, образующийся при некото-

рых видах брожения,—*спирт*. Брожением пользуются для приготовления хлеба и других изделий из муки, для заквашивания молока и сливок (простокваша, сметана, кефир, кумыс); при помощи брожения изготавливаются также моченые яблоки, квашеная капуста, квасы, пиво и т. д. Все эти вещества приятны на вкус, возбуждают пищеварение, а отчасти и нервную систему.

К вкусовым веществам часто причисляются также сахар и спиртные напитки, но это, конечно, неточно: сахар, и сам по себе приятный на вкус, очень улучшает вкус многих блюд и напитков, но вместе с тем является одним из самых питательных веществ, а алкоголь, хотя тоже имеет питательное значение, но, конечно, привлекателен, главным образом, по своему возбуждающему действию, имеющему, однако, и свои, чрезвычайно отрицательные, последствия.

Большое вкусовое значение имеют также *продукты поджаривания*, при чем они возбуждают также желудочное сокоотделение. Ими определяется вкус многих кушаний, а также кофе и его суррогатов. Подобное же значение имеет и копчение. Но поджаренные и прокопченные продукты, несомненно, не гигиеничны.

И при нормальном аппетите вкусовые вещества имеют громадное значение, т. к. пища, непривлекательная на вкус и не вызывающая отделения желудочного сока, оставалась бы не переваренной. При расстройстве аппетита наличие в пище веществ возбуждающих получает еще большее положительное значение. Но для людей, легко возбудимых, это имеет и отрицательную сторону, т. к. создает повод для переедания, при чем нередко происходит чрезмерное отделение желудочного сока, имеющее уже вредные последствия.

IV. При выяснении свойств, которые должна иметь пища, надо учесть также ее *насытительную ценность*, т. е. степень насыщения, которая ощущается после еды. Это важно потому, что, раз нет чувства насыщения, создается потребность поест еще столько, чтобы чувствовать себя сытым. У здорового это получается в том случае, если пища, хотя бы и питательная,—не вкусна или не соответствует вкусу данного лица, или же мало об'емиста и быстро переходит из желудка в кишки. Примером может служить яичный белок, невкусно приготовленная лапша или манная каша, вываренные овощи, или хотя бы и вкусные, но легкие печенья и сладости, которые очень питательны, но не дают чувства насыщения.

Далее необходимо иметь в виду большую или меньшую *удобоваримость пищи*. Для человека с чувствительным и большим желудком это имеет большое значение. Неудобоваримая пища ¹⁾ будет раздражать и обременять такой желудок. Напротив, для людей с повышенным аппетитом менее удобоваримая пища, если она сама по себе не вредна, и при том мало питательна, имеет даже некоторые преимущества, т. к. долго остается в желудке и уменьшает потребность в новом приеме пищи.

Нельзя не указать также на громадное значение *способа приготовления пищи*, от чего зависит и вкус и ощущение насыщения и удобоваримость и возбуждающие или раздражающие слизистую оболочку желудка свойства пищи. От этого же зависит в большей степени, сохраняются

¹⁾ Неудобоваримы преимущественно жирные сорта мяса, рыбы, птицы, твердые, жирные сорта копченой колбасы, консервы, сыры, жирное мучное, все жареное на сале, грибы, огурцы, капуста, редька, черный хлеб.

ли в пище или будут уничтожены такие важные, но не стойкие вещества, как витамины.

Уже чисто *технические приемы* в большей степени изменяют свойства пищи; напр., размачивание, вымачивание, большее или меньшее размельчение, длительность и способ нагревания (паренье, варение, жарение, тушение). Не меньше зависит и от различных более или менее удачных *сочетаний*, которыми и определяется кулинарное достоинство данного блюда, а вместе с тем и его питательная ценность в широком смысле слова.

V. Еще один вопрос возникает при определении рационального питания. Это *пищевой режим*.

В России в этом отношении дело обстоит гораздо хуже, чем в Зап. Европе. Там установлены определенные часы для каждого приема пищи: около 8—9 час. утра, в 1—2 ч. дня и 7—8 ч. вечера и с этим все считаются. У нас обеденный перерыв, и то только в последние годы, установлен лишь в торгово-промышленных учреждениях и местах производства. В общем же регулярное распределение времени еды плохо прививается у нас, главным образом, потому, что важность этого не сознается. Между тем, своевременный прием пищи имеет громадное значение для рационального питания. Как слишком короткие, так и слишком долгие промежутки между едой могут быть очень вредны. При коротких промежутках может получиться недоедание потому, что человек чувствует себя еще сытым и ест неохотно и мало, если же у него повышенный аппетит и он не ограничен в количестве, то получится переедание. При слишком длинном промежутке человек, естественно, ест очень по многу зараз, и это, несомненно, вредно. Если же он не может есть по многу, то он скоро проголодается, что также вредно, а может быть, даже и успеет потерять аппетит до ближайшей трапезы, прежде чем будет удовлетворен, как это нередко бывает, следовательно, будет недоедать.

Многое зависит также от *обстановки*, при которой человек садится за стол.

Если чистоплотному, брезгливому человеку приходится есть в грязной столовой, где по столу ползают тараканы, если человек отвлекается от еды неприятными разговорами или чувствует себя чем-нибудь стесненным; если даже доброкачественную пищу приходится есть наспех, обжигая рот и желудок, не пережевывая как следует; если приходится получать пищу остывшую, засалившуюся, хотя бы приготовленную и вкусно, или есть всухомятку, то едва ли человек получает удовлетворение и должную пользу от еды. Напротив, *ненормальные условия приема пищи* часто являются причиной различных заболеваний пищеварительных органов.

Все изложенное может осветить вопрос о рациональном питании. Надо еще только иллюстрировать *расчет питательной ценности дневного рациона*, представляемый ниже примерной таблицей, которая построена в соответствии с принятой нами общей меркой, а именно: на каждое кило веса тела белков и жиров по 1 грамму, а углеводов по 5—6 грамм. Расчет дан на среднего мужчину 70 кило веса, исполняющего умеренную работу.

Число калорий для белков и углеводов установлено множением на 4, для жиров на 9, т.-е. откинута десятые доли, и в общем числа несколько округлены. Питательная ценность всех продуктов вычислена с учетом неполной усвояемости их в пищеварительном канале.

Вследствие всего этого конечные цифры калорийности и их общая сумма несколько меньше обычно принятых.

Примерная таблица пищевого пайка ¹⁾

Название продукта	Колич.	В граммах	Белков, жиров, углеводов			Всего калорий Осн. Добав.
			в граммах			
Хлеб разн. сортов (в среднем)	1 ¹ / ₄ ф.	400+100	20+5	1,9+0,5	205+51	933+233
Крупы (разные или макаронны)	18 зол.	75	7	1	51	241
Картофель	1 ¹ / ₂ ф.	200	3,3	—	41	172
Овощи разные	1 ¹ / ₂ »	200	3,2	—	16	66
Мясо (средн. по жирн.)	1 ¹ / ₄ —1 ¹ / ₂ ф.	100+100	19+19	7,2+7,2	—	141+141
Молоко	1 ст.	200	6	6	9	116
Яйца	2 шт.	100	12	11	—	147
Масло сливочн.	12 зол.	50	0,3	41	—	385+56
» раст. масло						
Сахар	12 зол.	50	—	—	49	196
Фрукты разные	1 ¹ / ₂ ф.	200	1	—	7,5	108
	ок. 4 ф.	1.575+200	71+24	68+14	308,5+51	2.505+430
			95	82	450	2.935

Приведенный рацион по высказанным соображениям должен быть, несомненно, достаточен. По общему числу калорий он даже не ниже предложенного Фойтом; но количество белков в нем значительно меньше (118—70), жиров больше, углеводов меньше. Недостаточным он может казаться, главным образом, потому, что мяса в нем положено только $\frac{1}{4}$ ф. на день. Людям, которые постоянно питаются мясом, такое количество непривычно. Они, обычно, едят мясо и в супе и на жаркое, по крайней мере, раз в день; при этом идет больше и масла или жиру на поджаривание или на соус. Некоторые к обеду имеют еще и рыбу, или же на завтрак, а то и на ужин, что-нибудь мясное, хотя бы в виде ветчины и колбасы. Так же и в санаториях.

Но хотя это твердо укоренилось, как привычная потребность, подкрепляемая ощущением и убеждением, что без мяса голодно, избыток мяса в пище вредно отражается на здоровье. Может показаться, что и фунт хлеба тоже мало, но городские жители, не исполняющие значительной физической работы, часто не с'едают и фунта, восполняя этот недостаток углеводов сладким. Во всяком случае к указанному рациону можно прибавить по $\frac{1}{4}$ ф. хлеба и мяса, что сразу скажется увеличением всей суммы калорий, подняв питательную силу пайка (на 233 кал.—141 кал.) до уровня, потребного для человека, несущего порядочный физический труд.

Овощи и картофель часто потребляются в меньшем количестве, но от этого получается меньше витаминов, к тому же происходит за-

¹⁾ Питательная ценность перечисляемых в этой таблице пищевых продуктов представлена в средних цифрах на целую категорию продуктов; так, напр., взяты средние цифры для черного и белого хлеба, средние для 6 сортов круп, для 4 сортов овощей, для нескольких сортов фруктов.

держка стула. Сахара и масла многие едят больше, но это также излишне и ведет к ожирению. Если же признать весь указанный рацион недостаточным и прибавить к нему мясного (или рыбного), яиц, масла, сливок, мучного и сладкого, то может получиться отличный поварской стол и вообще вкусная, сытная еда. Но будет ли от этого толк?

Жизненным опытом и точным экспериментом достаточно выяснились два очень важных обстоятельства, которые могут решить вопрос в отрицательном смысле.

1. При умеренном питании, особенно, если человек не слишком жаден до пищи и сознательно готов быть сдержанным, *привычка много есть скоро пропадает и самочувствие становится* не хуже, а даже *лучше*, бодрее. *Количество неусвоенной пищи*, остатки которой в значительной степени бесполезно разлагались в кишечнике, *уменьшается; стул*, который часто задерживался, если человек будет есть черный хлеб, овощи, и хотя бы немного фруктов, *направляется*.

2. Для здоровья *увеличение количества мяса и жиров в потребляемой пище* после 25 лет, особенно, при недостатке физической работы, движения и пребывания на чистом воздухе, в большинстве случаев может быть только опасно. Главное, надо принять в расчет, что на переваривание и усвоение пищи, особенно мясной, а тем более жирно-мясной, требуется значительная затрата квалифицированной энергии, большая часть которой идет на обезвреживание веществ питательных, но в значительной степени ядовитых. Человек хронически все же отравляется, нередко жиреет, но количество белков в его теле не увеличивается и энергия отнюдь не нарастает. Исключение составляет организм растущий, истощенный голоданием или болезнью.

В результате—постепенное перерождение органов, особенно печени и почек, нередко образование желчных и почечных камней, серьезные изменения в сердце и сосудистой системе, ожирение и подагра. В дальнейшем часто полнокровие; кровоизлияние в мозг и томительное доживание в искаленном виде, в тягость себе и другим.

Много труда и энергии затрачено на то, чтобы оплатить расходы на питание себя и семьи; масса внимания и забот пошло на то, чтобы обеспечить себя яко бы от недоедания; нередко—в ущерб гигиеническому и комфортабельному образу жизни, которые также не даются даром. Запросы интеллектуальные часто оставались неразвитыми или неудовлетворенными, на воспитание детей, на участие в общественной жизни не оставалось ни времени, ни внимания, ни сил. Надо подумать уже, «пока не поздно», о поправлении расстроенного здоровья. Но на это нужны часто не малые средства, которые опять большею частью надо добывать усиленным трудом.

Во что же обходится человеку непрерывная погоня за усиленным питанием и неразумие того, что должно было бы сохранить ему средства и здоровье?!

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

- I. А. ВОРОНСКИЙ. Заметки о художественном творчестве. — П. А. ЛЕЖНЕВ. О „Разгроме“ Фадеева. — Ш. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. Сорная трава бюрократизма. — IV. ВЛ. ВИЛЕНСКИЙ-СИБИРЯКОВ. Америка на мировой арене. — V. БОР. ГУБЕР. Заговенье.

ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

А. Воронский

Литературной шумихи у нас хоть отбавляй. Это вполне естественно. К сожалению, суета сплошь и рядом мешает нам оценить по достоинству значительные литературные явления. Не так давно вышли из печати три тома воспоминаний Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» и об'емистая книга К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Книги замечательные, а о них говорили и писали мало. Их отметили, но именно только отметили. Меж тем они заслуживают несравненно большего внимания. Они дают богатейший материал для самых разносторонних размышлений. Они написаны неторопливо, ясным, простым и выразительным языком, с глубокой любовью к тому, о чем они повествуют, с сосредоточенностью и с редкой в наши дни искренностью и честностью. Словом, они принадлежат к прочным литературным фактам нашей современности.

И к воспоминаниям Кузминской и к книге Станиславского возможны и законны самые разнообразные подходы. Они интересны с историко-бытовой стороны, так как в них ярко воскресает прошлое; они крайне любопытны и со

стороны портретной: перед читателем проходит в живом изображении ряд лиц, известных всему культурному человечеству: Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. Горький, Метерлинк, Фет, С. А. Толстая и прежде всего сами авторы. Но кроме того, эти книги поднимают вопросы, относящиеся к психологии художественного творчества, при чем речь идет о творческих путях таких несравненных и единственных корифеев, какими являются Толстой в прозе и Станиславский на сцене. И Кузминская и Станиславский позволяют нам заглянуть несколько в таинственную лабораторию творческой работы. Психология и методы художественного творчества занимают современное литературное поколение с каждым днем все сильнее и сильнее, начиная с рабочих корреспондентов и кончая опытными мастерами. В этом оправдание нашего особого подхода к мемуарам обоих авторов.

I. Реализм Толстого.

Т. А. Кузминская—младшая сестра Софии Андреевны Толстой, урожденная Берс. С нее Лев Николаевич писал

Наташу Ростову. Воспоминания ее относятся ко времени 1846—68 годов. Она помнит Толстого еще военным. Она рассказывает о знакомстве с ним, об его ухаживаниях за Софией Андреевной, о сватовстве и женитьбе Льва Николаевича. Перед нами проходят далее первые годы семейной жизни Толстых в Ясной Поляне, куда Кузминская часто ездила, и где она подолгу гащивала. Семейные вечера, праздники, охота, пикники, поездки к знакомым и к родным, переписка, личная жизнь «Тани», ее любовные увлечения и огорчения, беседы со Львом Николаевичем последовательной чередой следуют друг за другом. В ту пору Толстой написал своих «Казачков» и «Войну и Мир». Воспоминания Кузминской, таким образом, воспроизводят лучшие годы и личной и художественной жизни Льва Николаевича.

Книга Кузминской подтверждает, что гений Толстого был вполне реалистический. Толстой прежде всего наблюдал, видел, запоминал, подмечал и меньше выдумывал и сочинял. Он шел иными путями, чем, скажем, Гоголь и Достоевский. Гоголь и Достоевский в своем творчестве лишь *оттадживались* от жизни, от действительности. Своих героев они помещали в полу-реальную, в полу-фантастическую среду. Они так делали потому, что действительность их угнетала, не удовлетворяла. Они жили с ней не в ладу. Находясь в особом полу-фантастическом мире, их герои и сами как бы приобретали черты, жизненно неправдоподобные, но, конечно, правдоподобные художественно. Их лица то вытягивались редькой хвостом вверх, то суживались редькой хвостом вниз, то становились похожими на тыкву, то у них, как у чудесного колдуна из «Страшной мести», вырастали звериные клыки и появлялись горбы, то искажались такой судорогой, что помимо этой судороги трудно и разглядеть что-нибудь другое. Кто, когда и где видел в живой жизни Плюшкина, Хлестакова, Ноздрева, а тем более Раскольников, Смердякова, Свидригайлова, Карамазова? Ноздревщину, карамазовщину, хлестаковщину всякий встречал и встречает на каждом

шагу, но в реальном виде ни герои Гоголя, ни герои Достоевского не существуют. Они мыслимы лишь в той искусственной среде, в какую они поставлены волею художников. Поместите их в нашу повседневную жизнь и они потускнеют, поблекнут, потеряют свои краски, свою заостренность.

Другое дело Толстой и герои его произведений. Разумеется, и он не был копировальщиком. Наблюдая и создавая своих героев, он отбирал одни черты и свойства, отменяя их, затемняя другие. Он прибавлял к своим героям то, чего им, по его мнению, не доставало. Вопреки утверждению М. Цявловского, можно согласиться со Львом Николаевичем, который однажды заметил: «я переделок Соню с Таней и выпшла Наташа». Это правдоподобно. Но все же в Наташе больше «Тани» и меньше «Сони». Самое же главное в том, что Толстой никогда не окружал своих героев искусственной, полу-реальной средой. У него не было к тому никаких побуждений. Такой мир ему был чужд, ибо в те годы Толстой жил полновесной и полноценной для него жизнью настоящего. Он любил в то время жизнь, как она есть, он был доволен, счастлив, здоров. Он несколько не тяготился своим положением помещика, ни своими родными и знакомыми. Безусловно и тогда ему были знакомы известные сомнения, но они не занимали в его жизни сколько-нибудь заметного места. Недаром в предисловии к «Войне и Миру» он писал в 1864 г.: «Жизнь аристократии того времени, благодаря памятникам того времени и другим причинам, мне понятна, интересна и мила» (цитирую по предисловию М. Цявловского к мемуарам Кузминской). Толстой находился по отношению к своей тогдашней среде в состоянии счастливого душевного равновесия. Он увлекался своим поместьем, хозяйством, разводил свиней, охотился, его семейная жизнь была благополучна. Кузминская приводит в своих книгах богатую семейную переписку. Вот какие письма Лев Николаевич писал в те годы вдвоем с Софией Андреевной:

Лев Николаевич: «Татьяна, милый друг, пожалей меня, у меня жена глупая (глу), выговариваю, как ты.

Соня: «Сам он глупый, Таня.

Лев. Ник.: «Эта новость, что мы оба глупые, очень тебя должна огорчить, но после горя бывает и утешение, мы оба довольны, что мы глупы и другими быть не хотим».

Такие и подобные письма пишутся только в довольстве и в счастье. Вот рассказ Кузминской о случае на охоте. У Кузминской ослабла подруга седла, седло стало с'езжать на бок, и вместе с ним стала с'езжать с лошади и Кузминская, запутавшись в амазонке.

«Я снова стала звать Льва Николаевича, но голос терялся за ветром, а я услышала неотразимо привлекательный крик:

— Агу его! Агу его!

И через несколько секунд мимо меня пронесся заяц, большой русак, преследуемый вытянувшимися в струнку борзыми. За ними рванулись и мои собаки.

— Левочка! Падаю!—кричу я изо всех сил, видя, как он летит мимо меня на своей быстрой, сильной белой лошади.

— Душенька, подожди! — проскакав, закричал он».

Возвратившись, Лев Николаевич прежде всего сказал с досадой: «Ушел». В другом месте Кузминская рассказывает, как поступал тогда иногда будущий непротвиленец:

«Когда мы сидели в воде, проходили какие-то два «пиджака». Они начали смеяться, дерзить нам, говоря, что унесут наше платье. Мы сидели глубоко в воде и только говорили: «пожалуйста, уйдите», но они не унимались. К счастью, вдали шел Лев Николаевич. Они увидели его и ушли. Соня отчаянным голосом закричала:

— Левочка!

Мы никого уже после не видели, но узнали, что Лев Николаевич, поймав одного из них, отколотил его палкой».

Да, тогда Лев. Ник. был далек от непротвиления злу насилем и от мизантропического отношения к жизни. Он любил и ценил прелесть простых вещей, ощущал их аромат, он находился

в зените славы и добра. И ему не нужно было отрываться от земли, покидать ее, ему незачем было создавать полу-реальный, полу-бредовой мир Гоголя и Достоевского. Он не видел вокруг себя ни «мертвых» душ, ни злую сладострастную карамазовскую силу. Его мир был ясен, чист. В полном соответствии с таким восприятием жизни развивался, креп, рос и гений Толстого. Воспоминания Кузминской отчетливо и убедительно показывают, что Лев Николаевич в своих произведениях изображал близких ему людей и подлинные события с наибольшей приближенностью к действительной правде, какая только мыслима в искусстве. Читая мемуары Кузминской, все время невольно вспоминаешь соответствующие главы и части из «Войны и Мира». Образ Наташи Ростововой совпадает с образом «Тани» до такой степени, что является сомнение, не повлиял ли роман Толстого на мемуары Кузминской, чего на самом деле, конечно, нет. Поразительно совпадают не только образ Тани с образом Наташи, но и события в их жизни: увлечение Анатолом, болезнь, раздумия, выздоровление, охота, гроза и т. д. Полной пригоршней Лев Николаевич черпал из окружающей его семейной жизни даже «мелочи», те мелочи, которые больше всего ценятся в искусстве. В одном из своих писем Поливанову «Таня» пишет: «Он (Лев Ник. А. В.) будет скоро печатать третью часть. Он немного читал нам. Прелестно. Но что ужаснее всего, что Анатоля описал, да ведь как похоже! Его разговоры со мной, и даже как разглядывал бархотку на шее». Мы узнаем также, что одна из самых очаровательных деталей в «Войне и Мире», сцена с куклой, целиком перенесена Львом Николаевичем в роман из действительности.

Нет сомнения, Толстой изображал «похоже» мир Наташи, Болконских, Долли, Анны Карениной, так как он ни на миг в то время не хотел оторваться от этого мира, он был ему мил и интересен. Если у Гоголя и Достоевского их герои тускнеют в реальной повседневности и, наоборот, становятся ярко зримыми в искусственной, часто в полубредовой обстановке, то герои

и персонажи романов Толстого мыслимы только в своем подлинном быту. Окружите Наташу Ростову, Пьера, Кити, Куракина миром Гоголя и Достоевского, и они станут в нем просто невозможны, они в *такой* действительности не нужны, не ко двору. Можно поэтому сказать в виде обобщающего вывода: *толстовский реализм с его «потомками» изображениями лиц и событий питается в искусстве языческой жизнерадостностью, любовью к реальному миру. По толстовскому пути в искусство идут люди, которые жадно и радостно «приемлют мир», любят «клеякие весенние листочки» без надрыва, без вручения билета, без мук и опасений.*

Какой путь ближе в наши дни нам, взыскующим нового града, путь ли «похожего» изображения Толстого, или путь отрицания и сочинительства Гоголя и Достоевского? Надо полагать, что нашим современным художникам надлежит искать синтеза обоих методов в искусстве. Нам близок и дорог Толстой, так как, подобно ему, и мы крепко любим плоть жизни, землю, ее радости и утехи, мы тоже жадные до жизни люди, мы язычники, но нам далеко не все «мило» в той действительности, какая нас все еще окружает. Мы, новые и решительные преобразователи, не можем находиться в том счастливом душевном и физическом равновесии, каким обладал Лев Николаевич, когда писал «Войну и Мир». Не все мы в мире принимаем, и здесь нам близок Гоголь и Достоевский с их острой неудовлетворенностью, с их тоской по выпрямленному во весь свой рост человеку. Но, отрицая действительность, Гоголь и Достоевский не сумели примирить идеальное с реальным, им не хватало диалектического, жизненного отрицания, и потому их протест против жалкой, пошлой и страшной действительности заканчивался тупиком, либо выводил их в мир бреда и фантастики. Искусство революции должно суметь органически слить реализм Толстого с романтикой Гоголя и Достоевского, освободив первый от чрезмерного преклонения перед действительностью, а второй от мрачной мизантропии, пес-

симизма и скепсиса. В конце же концов реализм Толстого нам ближе, он полнокровней, сочнее, от него пышит здоровьем и радостью, поэтому его, как принято теперь выражаться, следует принять за основу. Задача сочетания реализма с романтикой у нас, собственно говоря, даже и не поставлена как следует. У нас предпочитают пока, к сожалению, топтаться на месте, повторять общие места, политиканствовать и искать всяческих уклонов даже там, где их нет и в помине. Больше других к разрешению этой задачи практически подошли в некоторых своих вещах М. Горький, а из молодых писателей Бабель.

2. Тайна художественного перевоплощения

«Война и Мир» и другие художественные произведения Льва Ник. до сих пор поражают ясновидением. Гению Толстого как будто были открыты тайники человеческой психологии, особенно поразительна его способность проникать в бессознательные, в самые темные недра нашего поведения. Кажется присутствуешь при чуде, когда с помощью несовершенного нашего языка ясно и наглядно показывается, изображается то, что с первого взгляда и не поддается словесному оформлению. Однако мы знаем, что ничего сверхестественного в необычайном даре Толстого нет. Он основан на свойстве художника перевоплощаться, вживаться в другого человека, мыслить его мыслями и чувствовать его чувствами. Свойством перевоплощения Лев Николаевич обладал в наивысшей мере. «Он умел понимать и сочувствовать всякому возрасту», — замечает Кузминская. «Он пристально глядел на меня, и мне казалось, что его глаза насквозь пронизывают меня и читают все мои сокровенные мысли без всяких препятствий». «Левочка все знает»... «он слишком много вмещал в себе» и т. д. Именно в связи с этой интуитивной способностью понимать и сочувствовать всякому возрасту следует рассматривать утверждение Льва Николаевича — все, что разумно, то бесильно; все, что безумно,

то творчески производительно. Но и дар художественного перевоплощения, как и все в мире, развивается только при наличии благоприятных условий. Воспоминания Т. Кузминской, между прочим, замечательны тем, что наглядно показывают—какие условия благоприятствовали Льву Николаевичу с таким интуитивным проникновением изображать и Наташу, и Кити, и Левина, и Анну Каренину, и Анатоля и старого князя. Пожалуй, в этом главная ценность ее мемуаров.

Кузминская сообщает:

«Надо было знать его (Л. Н. А. В.), чтобы понять, что обыденная картина счастья—жена, дети, богатство—не могли удовлетворить его, как удовлетворяла большинство людей типа Берга в «Войне и Мире». Запросы такого человека, как Лев Николаевич, были исключительные». С этим нельзя не согласиться: душевный мир Толстого и тогда был сложным. Но мы отметили выше, что «запрос» в те годы не колебали счастливого душевного равновесия Льва Николаевича. Среда, в которой с довольством жил тогда Толстой, прежде всего была средой домашнего и помещичьего уюта, жены, детей, родных и знакомых. «Обыденная картина» стояла на первом плане. В трех томах воспоминаний Кузминской лишь кое-где случайно и скупо разбросаны намеки на общественные настроения яснополянских, черемошницких, пироговских и кремлевских жителей. Замечания эти крайне бледны и наивны. Общественная жизнь в яснополянском быту тогда занимала третьестепенное место. Вспомним, что в то время уже в разгаре было разночинное движение 60-х годов, что это была эпоха резких и острых общественных сдвигов. Как же отнесся Лев Николаевич к этому сдвигу? Очень отрицательно. Прежде всего он уехал в усадьбу, занялся хозяйством, правда, неудачно. Кузминская рассказывает, что Львом Николаевичем была сочинена комедия «Нигилист», переделанная им позже в пьесу «Зараженное семейство», кстати сказать, до сих пор не опубликованную по неизвестным причинам. В этой пьесе нигилисты осмеиваются

и осуждаются потому, что они разрушают добрые, патриархальные семейные устои. Такое отношение Толстого к шестидесятиникам для него отнюдь не случайно. Лев Николаевич в вопросах семьи и брака придерживался тогда весьма консервативных взглядов. Он был против высшего образования женщин, против женского равноправия. По свидетельству Кузминской он утверждал: «Вот Вильгельм говорит: для женщины должно быть: Kirche, Küche, Kinder¹⁾... А я говорю: Вильгельм отдал женщине все самое важное в жизни». «Самое важное в жизни» в те годы в Ясной Поляне были жена, дети, родственные связи, благополучие. Нам, поколению иного социального происхождения, выросшему в накаленной революционной общественной среде, теперь трудно, даже почти невозможно представить яснополянскую жизнь того времени,—до такой степени общественное у нас подчинило, заглохло собой личное, семейное, да и семья у нас совсем другая. Можно удивляться этому укладу, где все приспособлено, приурочено было прежде всего к семье, где все дышало, насыщено было женой, детьми, кухней. По-своему это была очень крепкая, счастливая жизнь, очень узкая, очень эгоистическая, косная, огражденная от окружающего высоким частоколом, равнодушная ко всему, что делалось за этим частоколом, со своими богатыми радостями и огорчениями, в своем роде единственная и неповторимая, ибо едва ли она когда-нибудь восстановится хотя бы и в подновляемых несколько формах.

Общественной жизнью очень мало занимались в Ясной Поляне, зато сколько внимания уделялось семье, рождению первенца, родственникам, плохому самочувствию кого-нибудь из родных. Кузминская подробно рассказывает о своих увлечениях Анатодем, о любви к Сергею Николаевичу, старшему брату Льва Николаевича, об отношениях к Кузминскому, о своем замужестве. Лев Ник. неотступно следит за всеми думами и чувствами, во-

¹⁾ Церковь, кухня, дети.

свечками своей свояченицы. Он подробно выспрашивает ее, входит в мелочи, советует, предупреждает, пишет пространные письма, наводит справки, волнуется, огорчается, радуется. Когда «Таня» не приехала вовремя из Черемшны в Ясную Поляну, он писал ей:

«Милый друг, Таня! Ты не можешь себе представить, как мы вас ждали в продолжение двух дней 30-го и 31-го, до той печальной минуты, когда после обеда 31-го, принесли нам твое письмо. Благодаря нашим милым девочкам и, должно быть, любви к тебе и Дьяковым мне сделалось 13 лет. И такое страстное желание было, чтобы вы приехали, что эти два дня я ничем не мог заниматься, ни об чем думать, как об вас, и каждую минуту подбегал к окну и обманывал девочек: «едут, едут!» и все напрасно. Потом, как получили твое письмо, у меня было чувство, как будто какое-то несчастье случилось, или преступление с моей стороны, которое отравило и отравит теперь всякое удовольствие».

В письме нет никаких преувеличений. Лев Николаевич не только, как принято теперь выражаться, «принимает близкое участие» в судьбе свояченицы, он живет вместе с ней одной жизнью, он с ревливой братской и отеческой нежностью, с преданностью, любовно и самоотверженно, как человек, а не как только писатель, собирающий интересный для романа материал, входит во все обстоятельства жизни Кузминской. И свояченица платит ему той же цепой, — она не умеет, не может скрывать от него даже и таких настроений и помыслов, в которых трудно ей признаваться и себе самой. И она также постоянно обращается за советами к «Левочке», пытается его, живет его интересами. Надо отметить, что в этих их отношениях нет ничего необычайного: все остальные члены семьи, близкая родня связаны друг с другом не менее крепкими узами, — старик Берс, София Андреевна, Сергей Николаевич, семья Дьяковых и т. д. В тогдашней Ясной Поляне семейная жизнь не только занимала главное место, она была *раскрыта* для каждого члена семьи, она была известна до мелочей друг другу.

В Англии есть поговорка: мой дом — моя крепость. Яснополянские дома тоже были крепостью для всего неродственного, инословного, иногласового, но они были радушно открыты для членов фамилии, открыты не только в смысле хлебосольства и гостеприимства, но и во взаимных, во внутренних друг ко другу отношениях людей. Вот почему с такой потрясающей прелестью, с силой, с неподражаемой художественной правдой, с такой исключительной интуитивной прозорливостью изображены в «Войне и Мире» и Наташа, и Пьер, и Анатолий, и Долохов, и Петя и вся вообще семейная жизнь дворянских гнезд прошлого века. Толстой обладал удивительным даром художественного перевоплощения, но ему сравнительно, легко было перевоплощаться, думать думами, чувствовать чувствами Ростовых, Облонских, Карениных, Вронских, потому что эти думы и чувства, благодаря особо благоприятным условиям, были для него на виду, открыты, ясны и понятны. Герои «Войны и Мира», «Анны Карениной» были любимы им, и в свою очередь любили своего «Левочку», делились с ним самыми потаенными своими чувствами. В этом тайна гениальных интуиций великого писателя. Не так давно тов. Правдухин в статье, написанной им по поводу повести Фадеева «Разгром», сетовал на то, что наши современные и в особенности пролетарские писатели слишком риторично, сухо, по-монашески и геометрично изображают своих героев и в частности не умеют показывать их в их личной и семейной жизни. В пример он ставил Толстого, у которого Пьер, Ростовы и т. д. изображены со всеми их семейными и личными интересами. Это, конечно, правда, что наши молодые писатели часто схематично и сухо подходят к своим героям, но думается, что наши художники и не смогут никогда с такой обольстительной и чудесной силой показать своих героев в их личной и семейной жизни, потому что такая семейная, личная жизнь, какая запечатлена Толстым, была и былшем поросла, да и кроме того она более скрыта для всякого даже родственного взгляда. Современный ху-

дожник даже и с большим даром интуитивного чутья не сможет, не сумеет поэтому дать нам личную жизнь своих героев так, как ее в свое время нам показал Толстой. У нас общественное подчиняет себе личное, семейное даже и у тех, кто сторонится общественной жизни и хотел бы закрыть себя в обывательской скорлупе. Таков стиль эпохи. По-другому мы живем, другая у нас семья, другие отношения внутри ее. Правда нашей семейной жизни ближе к отношениям между Дашей и Глебом, и скорее всего художественно прав Фадеев, когда он повествует как Левинсон сунул нераспечатанным в карман письмо от жены и только вечером вспомнил о нем. Но это уже тема особая, нам же здесь надо отметить пока следующее: *дар художественного перевоплощения,— есть дар природный, но он развивается только тогда, когда есть наличие известных благоприятных условия. Одним из таких условий является, например, живое воображение. Другим не менее, а может быть, более важным условием служит «любовь ревнивая» со стороны художника или ненависть его, вообще, наличие сильных чувств по отношению к тем, кого он изображает в своих произведениях.* Нельзя с холодным бесстрашием перевоплощаться, каким бы разнообразием и богатством мыслей и чувств не обладал художник, нельзя этого делать и в том случае, если художнику не оказывается могучей, любовной и искренней поддержки со стороны тех, кого он потом «похоже» изображает. Лев Николаевич создал неповторимый образ Наташи, а вот революционеры в романе «Воскресенье» ему удались хуже: и он им и они ему были чужды. *Теоретический акт есть акт, в котором принимают участие и художник и модель для его произведения.* Вот о чем убедительно свидетельствуют, между прочим, превосходные воспоминания Т. Кузминской. Эту простую истину о перевоплощении, к сожалению, постоянно забывают очень многие из наших современных писателей, беспощадно и легкомысленно штампующие и фабрикующие свои вещи по «социальному заказу», который столь же беспощадно,

вульгарно, легкомысленно и примитивно пред'является им не в меру ретивыми критиками и лирическими управделами. Поэтому напоминать о некоторых простых и необходимых истинах сейчас совсем не бесполезно.

3. О технике, об отзывах современников

Поучительны и занимательны в воспоминаниях Кузминской и рассказы о том, как технически работал Лев Николаевич над своим лучшим романом, как он в то время относился к отзывам критиков и своих современников.

Лев Николаевич часто диктовал Кузминской главы из «Войны и Мира».

«Я как сейчас вижу его: с сосредоточенным выражением лица, поддерживая одной рукой свою большую руку, он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух:

— Нет, подошло, не годится.

Или просто говорил.

— Вычеркни.

Тон его был повелительный, в голосе его слышалось нетерпение и, часто, диктуя, он до трех, четырех раз изменял то же самое место. Иногда диктовал он тихо, плавно, как будто что-то заученное, и тогда выражение его лица становилось спокойное. Диктовал он тоже страшно порывисто и спеша».

Известно, что Лев Николаевич был строг и требователен к себе, как к художнику: «Война и Мир» переделывалась и переписывалась много раз. Ныне об этом многие забывают. Рукописи даже с внешней стороны свидетельствуют о неряшливости, о чрезмерной торопливости автора, иногда сдается почти черновая работа. Обычные ссылки—у нас нет дворянских Ясных Полян—справедливы, но не убедительны. Это—одни лишь «жалкие слова». Когда читатель раскрывает книгу, ему нет дела, что автор романа, повести, рассказа, поэмы не имел кабинета, голодал, не имел достаточно времени, чтобы отделать свою вещь. Ему нужна высокая художественная

квалификация. Он может сказать,—я готов содействовать писателю, бороться и помогать вместе с ним улучшению его материального и правового положения, но, когда он отдает на суд мне свою книгу, здесь каждое слово должно быть взвешено и проверено.

Лев Николаевич впоследствии, на ущербе своей жизни, весьма равнодушно относился к отзывам критики на его художественные произведения, но в ту пору, когда он писал «Войну и Мир», его отношение к критике было совсем иное.

«Мне рассказывал брат, — вспоминает Кузминская, — что Лев Николаевич, как вышел февральский «Русский Вестник», по утру, еще не вставши, послал его за газетой, где должна была быть, не помню чья, критика. Он с волнением ожидал ее, и когда брат замешкался, Лев Николаевич торопил, говоря: — Ты ведь хочешь быть генералом от инфантерии? Да? А я хочу быть генералом от литературы! Беги скорей и принеси газету!».

Толстой писал в то время жене:

«Опасно, когда не похвалят, или наврут, а зато полезно, когда чувствуешь, что произвел сильное впечатление».

Тут невольно опять и опять приходят на ум наши современные настроения. Почему принято сейчас думать, что хвалить «обещающего» художника вредно? Правда, у нас часто не хвалят а захваливают и притом захваливают не по заслугам, а из групповых, из кружковых интересов. Это, конечно, вредно. Но лучше, полезней для художника помочь ему, ободрить, чем набивать критические шишки. Лучше это и для читателя, так как приучает его внимательно относиться к художнику, искать у него положительное, ценное. В нашей же литературе складываются и худшие нравы: наврать, исказить, «обложить», оборвать цитату там, где ее никак нельзя обрывать, вставить в нее даже свои словечки считается делом обычным и как бы даже и молодецким. Между тем монопольное положение коммунистической печати обязывает к особой осторожности, к особой ответственности, и следует в частности всегда помнить слова Толстого: «опасно, когда не похвалят».

Любопытны отзывы о современников-писателей о первых частях «Войны и Мира». Тургенев ответил отцу Кузминской «нехотя»:

— Да судить еще трудно, мало выяснено, да и генеральчики его мало напоминают Кутузова и Багратиона, настоящих генералов. Увидим, что будет дальше. Но описания его, сравнения—художественны... На это он мастер.

Салтыков отозвался совсем желчно:

— Эти военные сцены—одна ложь и суэта... Багратион и Кутузов—кукольные генералы. А вообще—болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше, так называемое высшее общество графливо прохватил...

М. Горький недавно писал: «художник может научиться мастерству только у художника». Это справедливо. Но к отзывам и оценкам их следует относиться с особой осторожностью и осмотрительностью: они обычно очень субъективны и однобоки. Приведенные Кузминской отзывы Тургенева и Салтыкова наглядные тому примеры. Такая однобокость чаще всего объясняется тем, что у каждого писателя есть свой конек, своя основная тема, свое особое видение жизни. Немудрено, что и в оценках произведений других художников они все примеривают лишь на свой глаз и на свой аршин. Поэтому их оценки часто бывают подобны тем, какие дали роману «Война и Мир» Тургенев и Салтыков.

4. Надо трудиться. Песок и камни

Воспоминания Т. Кузминской дают богатый материал для суждений о художественном творчестве, но сама Кузминская, когда писала книгу, имела в виду в первую очередь рассказать о своей жизни «дома и в Ясной Поляне». В книге К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» вопрос о путях и методах, о психологии художественного творчества сознательно сделан центральным, бытовая сторона в его книге занимает место подчиненное.

Книга Станиславского это—история его художественных исканий, новых методов, открытий, это—повесть о неудачах, о сомнениях, о достижениях и

о новых поисках. Без преувеличения, «Моя жизнь в искусстве» продуманный, монументальный труд, в нем один из самых великих людей театрального мира подводит итоги своей неутомимой почти столетней работе. Отныне работа Станиславского должна стать настольной книгой для всякого артиста, вдумчиво относящегося к своему искусству, но ее нужно знать и любому художнику: поэту, прозаику, живописцу, скульптору, музыканту. В сущности, о книге Станиславского нужно писать обстоятельные монографии,—до такой степени они насыщены важными, значительными мыслями на самые основные темы об искусстве. Размеры настоящих заметок не могут позволить воспользоваться надлежащим образом этим несравненным кладом, хорошо, если удастся наметить самое главное; трудность здесь заключается в том, что глаза невольно разбегаются при обозрении всего этого богатства: не знаешь, на чем лучше сосредоточиться.

Общее впечатление от книги, однако, очень цельное. Станиславский поражает неутомимым упорством своих исканий, сознанием огромных трудностей, какие приходится преодолевать настоящему художнику,—гигантской борьбой над материалом и работой над самим собой, работой поистине каторжной и мучительной, но и вдохновенной, но и доставляющей свои отрады.

В итоге же—открытие самых «простых» истин, которые даются тем не менее труднее всего и которые постигаются после долгих блужданий и сомнений. Истинный художник обязан неутомимо трудиться, не успокаиваясь ни на миг на достигнутых результатах—вот о чем прежде всего говорит книга Станиславского. Талант талантом, нуто нуто, но и талант, но и нуто требуют тщательной отшлифовки и самого кропотливого труда. Книга Станиславского сочится кровавым потом.

«Когда я,—пишет в конце своей книги Станиславский,—оглядываюсь теперь на пройденный путь, на всю мою жизнь в искусстве, мне хочется срав-

нить себя с золотоискателем, которому сперва приходится долго странствовать по непроходимым дебрям, чтобы открыть места нахождения золотой руды, а потом промывать сотни пудов песку и камней, чтобы выделить несколько крупинок благородного металла». Эти итоговые строки надо наизусть заучить тем, которые надеются найти клад и отказываются от собирания крупинок, а таких художников у нас немало. Да, в искусстве приходится промывать сотни пудов камней и песку, чтобы получить крупинки благородного металла.

Артистический путь К. С. Станиславского требовал прежде всего от него освобождения от чужого и лишнего груза. Таким грузом являлись штамп, шаблон, копирование, слепое подражание игре других артистов. Станиславский в известной мере прошел путь наших рабкоров. Он начал с любительских спектаклей, он дальше побывал в театральной школе того времени, где преподавание велось по обычной, застывшей шаблонной методе. Пути самостоятельного, самобытного творчества пересекались этими в конце захлаженными перепутьями. Актера учили копировать своих учителей, при чем копировались и недостатки хороших артистов. Станиславский рассказывает об одном видном в то время артисте: при всех его достоинствах у него был один недостаток, он качал головой. Последователи его таланта тоже заставляли учеников качать головой. «Целые выпуски учеников выходили из школы с качающими головами». Когда молодому Станиславскому пришлось играть «Скупого рыцаря», он создал, как завзятый копировальщик, образ рыцаря, очень сходный с одним итальянским баритоном; у баритона были хорошие, крепкие ноги, чудесные туфли и, главное, шпага. Старик Фодотову пришлось объявить артисту самую суровую войну и, хотя он и переломил артиста, но баритон все же отомстил за себя: Станиславский, по его словам, лишь внешне воспринял другой образ; спектакль имел успех, но сам артист чувствовал, что игра не удалась. Второе, что мешало авто-

ру, было неумение брать роль по плечу, неспособность на первых порах самоограничить себя. Опасность тут в том, что художнику из-за недостатка творческих средств невольно приходится прибегать к искусственным и ложным приемам; от этого обычные недочеты в игре артиста делаются еще более заметными. «Когда фальшивят вполголоса—неприятно, но когда фальшивят во все горло, то неприятность становится еще большей». Это правило применимо вполне и к словесному искусству. От забвения его нередко страдали и художники «божьей милостью», например, Леонид Андреев. Он был чрезвычайно талантлив, но этот одаренный писатель иногда брал темы не по плечу. Ему явно не хватало широкого философского образования, а он любил философствовать в своих произведениях, отсюда его такие неудачные вещи, как «Красный смех», как «Мои записки», как «Тьма». Но Андреева спасал огромный талант; у нас же теперь есть художники слова, у которых таланта Андреева нет, но самонадеянность сверхмерная. Они и фальшивят во все горло. Фальшивит частото Пильняк, хотя и он, несомненно, талантлив, фальшивит Лавренев, фальшивят Лёфы и многие пролетарские писатели.

Была, наконец, еще одна преграда, на которую не раз указывает в своей книге Станиславский: она заключалась в игре «вообще»; такая игра «вообще»,

лишенная индивидуальности, своеобразие, характерности, деталей, тесно связана с копированием, со слепой подражательностью. Вместо конкретного, живого образа создается схематический отвлеченный шаблон, штампованная наигранность.

Штамп, неумение самоограничить себя, игра «вообще», в конце концов, мешают артисту «вжиться» в роль, перевоплотиться, а это главное во всяком искусстве и в театральном искусстве в особенности. В словесном художественном творчестве, в скульптуре, в живописи художник может отложить работу в сторону, может подождать другого более вдохновенного момента, актер же играет в определенные дни и часы, его время точно зафиксировано, он не может отказаться от выступления на сцене, сказать, что у него нет нужного настроения. «Здесь все дело в том, чтоб искренне поверить своему глупому или невероятному, или безвыходному положению, искренне волноваться и страдать от него». Так как для актера способность поверить «самому глупому или невероятному» в строго установленные сроки, по заказу, на виду у всех становится особо острой, то естественно, что и в своей книге К. С. Станиславский уделяет этому вопросу главное внимание. Вся «система» создателя художественного театра—о ней речь впереди—ставит своей целью помочь артисту уметь перевоплотиться в определенные часы.

(Окончание следует.)

Н. О „РАЗГРОМЕ“ ФАДЕЕВА

А. Лежнев

1.

Недавно вышедший роман Фадеева не стал «событием», но он привлек к себе пристальное внимание читателя и критики. С «Разгромом» автор впервые вышел на широкую литературную дорогу. К этой вещи и действительно следует приглядеться поближе.

Одно обстоятельство говорит уже в ее пользу. В противоположность большин-

ству нынешних молодых писателей, торопящихся осчастливить мир поскорее, не теряя ни одной минуты, и выбрасывающих свои произведения в предельно-короткий срок, Фадеев работал над «Разгромом» довольно долго и не спешил с изданием романа: отрывки из него появились еще в 1925 г.,—а ведь надо помнить, что эта книга—небольшая.

Те, кто ожидали увидеть в «Разгроме» нечто монументальное, героический

эпос или даже просто «широкое полотно», разочаруются. Ничего монументального здесь нет. Масштабы романа скромны—и не только количественно. «Сценическая площадка» его невелика и сдавлена. Автор урезал поле действия. Число персонажей ограничено. Масса действует сравнительно мало. Центр тяжести перенесен в психологию отдельных действующих лиц. Ударение именно на индивидуальной психологии, а не на массе и массовых сценах. Точно также нельзя здесь найти и героической романтики. «Разгром» написан в очень трезвых, почти натуралистических тонах, без приподнятости и идеализации.

Все это говорится не как упрек, а для того только, чтобы точнее определить характер и границы фадеевского произведения, то, что в нем есть, и то, чего искать не следует. Значение и «смысл» «Разгрома» не в его мнимой монументальности или широте захвата, а в попытке подойти к своим героям изнутри, в попытке перейти к углубленному психологизму.

Кое-что нам может сказать здесь сравнение с Артемом Веселым. Артем Веселый изображает преимущественно массу или массового человека, который служит как бы алгебраическим знаком массы и обладает только резко-выраженными, типическими массовыми чертами¹⁾. Он его показывает всегда извне—твердыми и характерными штрихами. Он никогда и не пытается изобразить душевное состояние своего героя. Не говорю—рефлектирующий, но просто думающий человек—не в его средствах или—во всяком случае—не в его художественных вкусах.

Фадеев не обладает сильным художественным темпераментом Артема Веселого. Он уступает ему и в мастерском владении словом, цветной и яркой русской речью, окрашенной всеми красками провинциальных говоров и профессиональных жаргонов. Уступает в оригинальности, в звучности дарования. Но оставим на время в стороне

эту разницу в таланте и самобытности. Приглядимся, как раз по-разному подходят к людям оба писателя. Люди у Фадеева те же, что так охотно изображает Артем Веселый: партизанщина, «вольница». И в то же время кажется, что это—совершенно иные, непохожие люди. У Артема Веселого человек весь в действии. Движение—вихревое, захлестывающее—для него все. Динамика революционных дней преувеличена и доведена до максимальной степени. У Фадеева—с его реалистической трезвостью, чуждой романтического гиперболлизма—уже самый темп гораздо медленнее. Его люди действительны, но действительность их не исключает сложной внутренней работы—и эту сложную внутреннюю работу Фадеев, главным образом, и показывает. Для Фадеева его герой—не просто алгебраический знак массы, но и личность. Люди те же у обоих, но взяты с разных точек зрения. И хотя Артем Веселый и ярче и богаче Фадеева, мы верим Фадееву больше, потому что, показывая человека «изнутри», во всей его сложности (а часто и противоречивости), он ближе к правде, убедительнее, человечнее.

Литературная манера Артема Веселого сложилась, конечно, под определенными влияниями, но это уже—своя манера, и в каждой написанной им строчке чувствуется яркая писательская индивидуальность. Этого нельзя сказать про Фадеева. Его индивидуальность еще только начинает складываться. Его психологизм явно идет от Толстого, иногда до того явно, что роман отдает бесхитростным ученичеством. И все-таки путь, выбранный художественно менее сильным и самостоятельным Фадеевым, оказывается—в данный момент, в данных условиях—более целесообразным. За Артемом Веселым некому и некуда идти. Его своеобразный путь—путь индивидуальных достижений. Он не открывает широких перспектив. Он возвращается к исходной точке. Это—блестящая и яркая манера быстро исчерпывать себя. В последних своих вещах Артем Веселый вынужден повторяться. «Россия кровью умытая»—его лучшее произведение, но это, в сущности, лишь более

¹⁾ Особенно отчетливо это проявляется в его последнем произведении «Россия кровью умытая».

совершенная вариация его первых мотивов. Чувствуется, что писатель здесь подошел к какому-то пределу, что в дальнейшем он должен будет приступить к изменению, к ломке своей отстоявшейся манеры (первые признаки чего наметились уже в «Стране родной»).

Путь Фадеева не им найден. Он — продолжение той большой дороги, которая давно была проложена писателями времени расцвета русской литературы. Это путь психологически-углубленного реализма. Реалистическое искусство не может сейчас обойтись без «психологизма», дающего ему глубину, жизненную теплоту и убедительность. Он нужен особенно в данный момент, как выход из поверхностного бытовизма, охватившего значительную часть современной литературы. Конечно, Фадеев не первый наметил этот выход. Но он провел в своем «Разгроме» «психологизм» на редкость последовательно и открыто. Вот в чем значение этой книги. Оно увеличивается еще тем, что подобная попытка вышла из среды пролетарской литературы, где бытовизм особенно силен.

2.

Сюжет у Фадеева несложен и играет лишь роль цемента, связи между отдельными эпизодами. Основное, на что обращено внимание автора «Разгрома», это — развертывание характеров.

Здесь узел Фадеевского творчества, где сплелись типические для него достоинства и недостатки, фокус, в котором пересеклись все лучи.

Среди действующих лиц романа трудно выделить группу, которую можно назвать героической: Левинсон, Бакланов, Метелица, Дубов, Гончаренко. Эта группа, являющаяся литературно наиболее захватанной, использованной в бесчисленном количестве рассказов, повестей, баллад, поэм и т. д., изображена Фадеевым совсем не банально, с очень «показательным» своеобразием. Если бы свести это своеобразие к короткой формуле, его следовало бы обозначить, как «очеловечивание героизма». Вместо «высокого»

и абстрактного героизма революционной одописи, вместо сверкающей романтики баллад — перед нами героизм, изображенный простыми чертами и простыми средствами, без приподнятости и какой бы то ни было позы, вырастающей из почвы «будничных» чувств так же естественно, как трава растет из земли, — героизм, если угодно, «сниженный», но за то тем более близкий и тепло окрашенный.

«Очеловечивание» и снижение достигаются каждый раз иными средствами. Возьмем Левинсона. Это — герой без ковычек, т.-е. характер, чрезвычайно трудный для реалистического изображения. На нем терпел неудачу не один писатель (получалась либо ходульная, либо схематическая фигура). Такой характер «удобен» только для баллад с их приподнятой романтикой: в них дается не человек, а лишь его силуэт, намеченный достаточно общими чертами. Но и то удобен до тех пор, пока баллада сохраняет свой подчеркнутый романтический колорит. Она начинает терпеть затруднения, как только приобретает полу-бытовую окраску. В забытом уже «Комбриге Иванове» Лелевича (послужившем темой и для кино картины), выйти из затруднения автор пытался внесением мелких бытовых, юмористических черточек, которые должны были оживить порядочно-таки деревянную фигуру комбрига. Это очень распространенный, очень легкий и очень дешевый способ добиваться жизненности «положительных» типов. Дешевый потому, что эти мелкие юмористические черточки оказываются внешними по отношению к изображаемому характеру, не связанными с его сущностью, а «жизненность» — видимой, не подлинной.

Фадеев иногда тоже пользуется этим приемом, например, в сценке, где Левинсон играет в городки: «Только что пробил маленький человечек в высоких ичигах и рыжей, длинным клином, бороде, похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках, — позорно промахнув все палки. Над ним смеялись. Человечек конфузливо улыбался, но так, что все видели, что ему нисколько не конфузно, а тоже очень

весело». Но он и пользуется им реже и сам прием не носит у него такого характера слащавости. «Очеловечивание» фигуры Левинсона достигнуто у Фадеева—в основном—иным способом: тем, что автор показывает, так сказать, механизм героичности.

Если мы попробуем проанализировать, почему героические образы кажутся часто ходульными, надуманными, неживыми, то мы увидим, что это происходит от того, что героизм сплошь и рядом берется (и брался), как какая-то сверх-обычная, почти не имеющая аналогии и корней в «будничных» чувствах, чуть ли не чудесно возникающая черта—так, как прежде рассматривалось вдохновение. Вдохновение—не выдуманное понятие, а реальность, но для того, чтобы стать реальностью, оно должно получить рациональное (в противоположность преждему полумистическому) толкование. Взятое в своем реальном смысле оно означает сумму двух связанных друг с другом явлений: optimum'a внутренних условий для умственной работы и нервного под'ема, сопровождающего эту работу. В таком понимании вдохновение не включает в себе уже ничего мистического и сверх'естественного и входит в общую цепь «психических» процессов. Героизм в литературе и кажется ходульным тогда, когда нет этого включения в общую цепь: он чужд, как все непонятое. Для того, чтобы сделать его близким, непосредственно-ощущаемым, надо свети его к простым элементам, раскрыть механизм его образования. Вот такое включение в общую цепь, вот такое объяснение механизма произвел Л. Толстой (в «Севастопольских рассказах», в «Войне и Мире») по отношению к основному ядру героизма, к храбрости. Храбрость берется им не как нечто раз навсегда данное в готовом виде и сразу проявляющееся в необходимую минуту, но как нечто становящееся, постепенно возникающее, как результат вторичных «раздражений». Его герои (напр., Николай Ростов) «трусят», смущаются, теряются в первом сражении. Только с течением времени, только после нескольких стычек приобретают

они то умение владеть собой в минуту опасности, ту «привычку» к ней (физиолог бы сказал: условный рефлекс), которая называется «храбростью». Толстой изображает как бы суб'ективную сторону того, что об'ективная наука изучает как рефлекс.

Сама храбрость у Толстого лишена утрированно-романтического характера. Это—не отсутствие страха (т.-е. инстинкта самосохранения), а преодоление страха. Толстой показывает так же, какую значительную роль в развитии и оформлении храбрости, героизма играет подражание старшим, более опытным (Петя и Николай Ростовы).

Фадеев в изображении Левинсона следует за Толстым. Вообще говоря, в «Разгроме» сказывается достаточно отчетливо не только влияние Толстого, но и прямое подражание ему. Но в данном случае (т.-е. по отношению к раскрыванию «механизма» героичности) слова о подражателности были бы неуместны, как неуместно было бы обвинять в подражании Павлову молодого ученого, работающего по павловским методам.

Героизм, раскрываемый Фадеевым, иной, чем у толстовских персонажей—не только по специальной окраске, но и по составным элементам. Он не сводится к проблеме храбрости. Здесь в гораздо большей степени—проблема руководства коллективом. Личная смелость, инициатива, умение организовывать, разбираться в обстановке, настаивать на своем и т. д.—все это входит сюда отдельными слагающими элементами. Вслед за Толстым Фадеев отмечает большую роль в выработке этих необходимых качеств подражания (старшим, более опытным товарищам), постепенность их образования, значение привычки. Целый ряд сцен в «Разгроме» имеет целью показать, какими способами удается Левинсону импонировать отряду, ставить себя, свою волю над ним, сохраняя в то же время с отрядом живую товарищескую связь. Это очень трудная задача—и в действительности, и для художника. Фадеев справляется с ней большей частью хорошо—резво, умно, отбрасывая случайные черты и отмечая характерное,

типическое. Отношения между Левинсоном и данной группой партизан превращаются в отношения между отрядом и руководителем, как таковым.

Раскрытие «механизма» руководства можно назвать снижением героизма лишь условно—лишь по отношению к героизму примитивно понимаемому, лубочно-батальному. Мы видим нередко Левинсона внутренне-растерянным, но скрывающим свою растерянность под маской напускного спокойствия, которая должна удерживать отряд от паники и внушить ему, что все это предвидено и ничего страшного здесь нет. Что же, «снижает» это его в наших глазах? Нисколько! Трудно избежать временной дезориентировки в необычайно тяжелых условиях борьбы, а «притворство» (маска) в данном случае вполне целесообразно.

Такого рода спенами Левинсон не «снижается», а делается только более понятным (раскрываясь). Но Фадеев иногда прибегает в его обрисовке к приемам прямого «снижения». Почему Левинсон сделан физически-слабым, лишенным «жизненной силы», рыжебородым «гномом»? По той же причине, по которой Толстой заставляет своего Кутузова находиться вечно полусонном состоянии и засыпать на докладах. Т.-е. для того, чтобы возможно дальше уйти от героического шаблона. Но у Толстого эти черты гораздо более гармонируют с общим обликом Кутузова, с его презрением к военной позе, к громким словам, с его небрежностью и ленью русского барина и т. д. В физической же слабости Левинсона, в его рыжебородом тшедушии, даже в его еврействе нет ничего «необходимого». Это—все черты случайные: так Левинсон мог и не быть евреем; специфически-еврейское в нем отсутствует. Иногда это стремление избегнуть шаблона и позы, сделать характер жизненным путем внесения мелких, не героических, смешных или отрицательных черт—приводит к фальши. Так, несомненно фальшивым является тот эпизод, где Левинсон рассказывает похабные сказки: это не согласуется с тем его образом, какой дает автор на остальном протяжении книги, с образом человека боль-

шой душевной чистоты и скромности. Не согласуется особенно потому, что в характер Левинсона внесена Фадеевым небольшая доля сентиментально-романтического элемента (см., например, письмо жене, где «много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону»).

Бакланов представляет собой в некотором роде alter ego Левинсона: не только в смысле их взаимоотношений в романе, но и в том смысле, что он как бы повторяет тот путь, который Левинсон уже прошел и, таким образом, «воплощает» его первую фазу развития. Он подражает Левинсону, учится у него—и, процесс революционной закалки, завершившийся у Левинсона, на нем показан в «становлении». Впрочем, как героическая натура, он стоит, пожалуй, выше Левинсона. Его героизм «опрошен» посредством подчеркивания юношеских, даже ребяческих черт, манер, физических особенностей (манера умываться, подливая голову из ладонки, или есть молоко с накрошенным хлебом из чашки, добродушная возня при борьбе с Левинсоном, усиленное подражание последнему и т. д.). В этом подражании, быть может, явственнее всего проявилась ученическая зависимость Фадеева от Толстого (Петя Ростов).

3.

До сих пор мы рассматривали «героические» фигуры Фадеева в разрезе их «героичности». Мы увидели, что писателю удалось сделать жизненными такие «положительные» типы, которые чаще всего получают ходульными и надуманными. Мы установили, что это произошло от того, что автор подошел к своим героям с методом детального психологического анализа, обнажения механизма и развития склонностей, привычек, рефлексов. Мы отметили также, что, применяя этот метод, Фадеев отпадался непосредственно от Л. Толстого, ученическая зависимость от которого нередко доходит у него до откровенного подражания. Теперь законен будет вопрос: что же пред-

ставляют собой фадеевские «герои» в разрезе *классовом*?

Но беда в том, что Фадеев дал слишком мало материала для ответа на этот вопрос. Ни в Левинсоне, ни в Бакланове эти черты не подчеркнуты достаточно резко. Правда, о Бакланове кое-что на этот счет можно заключить из разговора с Мечиком о значении образования. Но это недостаточно, как недостаточно указаний на его революционную целеустремленность. И тяга к знанию и революционная целеустремленность может быть свойственна—в известные моменты—представителям разных классов: скажем,—и рабочему и крестьянину. В образе Бакланова нет отпечатка социальных условий, в которых он вырос и которые должны были определить его характер и мироощущение. Он выступает перед нами, как революционер «вообще», с достаточно индивидуальной, но не социальной конкретностью.

Несколько конкретнее Левинсон. Автор дает несколько беглых сведений о среде, где он вырос, о его семье, бедной мещанской еврейской семье. Но, во-первых, Фадеев, очевидно, сам плохо знает эту среду и потому предпочитает на ней не останавливаться (то же, что он о ней сообщает,—на границе еврейского анекдота: «отец всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке»), а, во-вторых, Левинсон рано оторвался от своей среды, потерял те особенности, которые она ему сообщила, не приобретя прочного отпечатка других социальных условий. В нем есть известная социальная бытовая абстрактность, свойственная нередко интеллигенту-революционеру.

Порой он слегка напоминает койкого из персонажей Либединского (например, Миндлова из «Комиссаров»). Можно даже полагать, что первоначально Левинсон и был задуман, как характер, аналогичный Миндлову, как аскет и мученик идеи, сгорающий на костре революционного долга, но хранящий в душе много большой, почти романтической нежности (и тогда подчеркивание его физической слабости, постоянного утомления и т. д., а с дру-

гой стороны—наличие в нем кое-каких сентиментально-романтических черточек—перестают быть случайными и получают об'яснение). Но, очевидно, автор скоро и сам увидел надуманность и книжность подобного образа и поспешил «оживить» его, во-первых, путем сугубо-трезвого аналитико-психологического подхода, во-вторых, внесением ряда «снижающих» — иногда смешных, иногда и отрицательных—черт. Отсюда получилась известная противоречивость фигуры Левинсона (например, такая «фальшивая» деталь, как рассказывание похабных сказок).

Действительно-конкретные социально бытовые типы мы можем встретить у Фадеева *вне* группы «героических» характеров. Таковы: Морозко, Мечек, Варя. Образом Морозко Фадеев приближается к своему антиподу,—Артему Веселому. Морозко так же «масковиден», как и герои Артема Веселого, т. е. он почти весь слагается из безлично-массовых черт. Но в то время как у Артема Веселого отдельные персонажи кажутся лишь масками массы, Морозко все же производит впечатление индивидуальности, даже довольно сложной. Это обуславливается разницей художественных методов обоих писателей. Подход «изнутри», т. е. аналитико-психологический, позволяет Фадееву углубить тот, как-будто элементарный образ, который с такой выпуклой четкостью вырисовывается в произведениях Артема Веселого.

Черты бытовые, безлично-массовые проявляются в Морозке с первых же его шагов в романе, и вначале все больше отрицательные: неуважение к женщине, нелюбовь к «инородцу» (мысли о «жидах» при разговоре с Левинсоном), бытовая распущенность, озорство. Но постепенно его «массовость» открывается нам и другой своей стороной: Морозко тесно связан с коллективом, с дружной и привычной товарищеской средой—и нормальным, «настоящим» человеком он чувствует себя только в этой среде, занимая в ней пусть и не очень видное, но определенное место. Связь с коллективом у этого сучанского шахтера «в крови», и он не задумывается пожертвовать собой, ко-

гда это нужно в интересах целого. Но в то же время он не обладает достаточной устойчивостью: выпадая из обычной среды, теряя хотя бы на короткий срок тесную связь с ней, он легко и скоро опускается.

Обостренное, хотя и не всегда ясно осознанное, классовое чутье, тесная спайка с коллективом—это в Морозке от пролетария. Но его неустойчивость, темнота, ряд бытовых навыков делают его представителем наиболее отсталых слоев рабочего класса, еще не порвавших с крестьянством и соприкасающихся с люмпен-пролетариатом. Интересно отметить, что передового рабочего Фадеев в «Разгроме» так и не дал. Ступеньку выше, чем Морозко, Дубов, но он не развернут и остается эпизодической, второстепенной фигурой.

Мечик—один из центральных характеров «Разгрома». Он является как бы антитезой к партизану из «низов»: Морозко, Бакланову, Дубову. Задание автора видно явственно: он хочет дать типичного интеллигента, не впадая в преувеличение, но и не щадя его. При чем основное задание—не падить, а боязнь преувеличения—явление вторичное, вызванное желанием соблюсти известную меру художественной об'ективности. Многое в образе Мечика удалось Фадееву превосходно. Но в целом он испорчен двойственностью задания (которая чувствуется—в смягченном виде—и в Левинсоне). Характер Мечика не выдержан. Каким образом идеалистически настроенный юноша, добровольно отправляющийся к партизанам, тяжело раненый в бою, превращается к концу романа в жалкого труса и предателя—автором не показано—или, если показано, то с недостаточной убедительностью. Тон Фадеева по отношению к Мечiku неустойчив. Подходя к нему «изнутри», он принужден хоть иногда смотреть его глазами и обнаруживать закономерность и известную оправданность его чувств и поступков. Тут его отношение не лишено, и по существу подхода—не может быть лишено некоторого элемента симпатии (как следствие «вчувствования»). Но в то же время он уже с самого начала (поль-

зуясь тем, что он «проводит» Мечика сквозь восприятие Морозки) тщательно выпячивает вперед такие подробности, которые сами по себе, пожалуй, и безобидны, но должны уронить Мечика, скомпрометировать его в глазах читателя (так, подчеркнуты страх его за жизнь, чрезмерная чувствительность и т. д. в сцене, где его подбрасывает Морозко). Либединский где-то правильно отмечает, что Толстой остерегался подходить «изнутри» к тем типам, которые он хотел представить, как отрицательные (например, к Бергу). И это понятно: иначе неизбежна двойственность. Мечик, несомненно, играет роль отрицательного типа: осуждение его автор произносит устами Левинсона. Это—беспочвенный, рыхлый, никудышный интеллигент, лишний и мелкий человек. Для того, чтобы выполнить свой замысел с наибольшей убедительностью, Фадеев должен был бы подойти к Мечiku извне. Нельзя сатирическое по существу задание выполнять при помощи приемов, основанных на вчувствовании. В результате читатель не очень-то верит Левинсону, когда тот выносит свой жестокий приговор Мечiku, и автору, когда он составляет Мечика превратиться в мерзавца и шкурника.

Повторяем: многое в образе Мечика автору удалось чрезвычайно—и особенно именно социально-бытовая сторона его характера. Можно даже сказать, что Мечик является «узловой» фигурой «Разгрома». Но узловой в том смысле, что в ней сплетаются типические достоинства и недостатки Фадеева. А из последних—противоречивость задания и неустойчивость тона самые крупные.

Стилистически Фадеев идет от Толстого в такой же мере, как и в обрисовке характеров. Почти любая его фраза сразу обнаруживает толстовскую конструкцию. «Все те запутанные, надоедливые мысли, которые впервые родились в нем, когда он жарким июльским днем возвращался из госпиталя, и курдючные косари любовались его уверенной кавалерийской посадкой—те мысли, которые с особенной силой овладели им, когда он ехал по опустевшему полю

после ссоры с Мечиком, и одинокая бесприютная ворона сидела на покрывившемся стогу,—все эти мысли приобрели теперь небывалую мучительную яркость и остроту». Эта выдержка напоминает Толстого не только стилистически. Она почти повторяет известное место из «Войны и Мира», где Андрей Болконский проезжает мимо дуба—в первый раз оголенного среди молодой зелени, другой раз покрытого листьями—и связывает свои мысли с этим образом старого дерева. Здесь—тот же параллелизм внутреннего состояния и природы, правда, проведенный не с такой последовательностью и соответствием, как у Толстого.

Такой явственный отпечаток чуждого влияния говорит о том, что Фадеев—писатель еще не сложившийся. Как не хороша толстовская школа, но и ее надо «преодолеть». А Фадеев ее пока не преодолел.

Но он показал, что у него есть талант, с силой пробивающийся сквозь подражательность, и умение работать над собой. Он создал ряд типов, в которых под оболочкой толстовской формы—новое содержание и немалая широта общения. Он с успехом применил толстовский аналитический психологизм к художественной переработке современности. В этом—значение «Разгрома».

III. СОРНАЯ ТРАВА БЮРОКРАТИЗМА

А. Дивильковский

1. Разных корней трава.

Нет лучшего пропашника для бесповоротного истребления сорных трав бюрократизма, как советский, истинно-трудовой строй.

Советский строй не терпит духу всяческих паразитов и эксплуататоров, немало он их повыдергал оптом и в розницу из зараженной ими ранее «до отгазу» почвы. А с другой стороны, бюрократизм по сути своей—стремление снова и снова в наших рамках создать такие островки «правительствующей» служебной челяди, где бы, отгородясь от рабочих и крестьянских трудовых масс особыми преимуществами, могли процветать новые чужеродные элементы.

Откуда же такое незаконное стремление, среди совершенно ему враждебного общего строя?

Ясно, что не из советского строя самого по себе. Ленин и коммунистическая партия давно уже показали, что прежде всего тут имеем дело с унаследованной от войны разрухой, а затем и с прямыми побегами от свергнутых «господ»—от царя, помещиков, чиновничества, капиталистов. И сейчас, по мере восстановления всего народного хозяйства, по мере перехода

к широким кругозорам социалистического строительства, индустриализации в городе, как и в деревне (вместе с кооперированием последней), это гнилое наследство, хоть и с великим трудом, но изживается. В частности, задача Наркомата РКИ, под руководством партийной Контр. Комиссии,—обновить в крупном масштабе всю организацию госхозяйства и госуправления, где еще слишком часто отзываются отпрыски царско-буржуазных времен. Личный же состав, по крайней мере, более ответственных руководящих работников за последние годы, благодаря ближайшему участию рабочих и лучших крестьян в управлении, в такой мере обновился, что может уже сейчас считаться значительно выше старого, чиновничьего состава. Остается дать лишь вполне подходящие организационные рамки.

Все это так. И мы глубочайшим образом уверены, что задание РКИ и ЦКК, при энергичной поддержке революционного пролетариата и более сознательных крестьян, будет выполнено, хотя это—и задание многих лет. Однако есть еще почва, где белена и репей бюрократизма будут цепляться—и еще с каким упорством!—за каждую кочку, за каждую песчинку и терме-

зять советский трактор на его победном пути. Задачи крупно-масштабной перестройки хотя с виду и грандиознее, следовательно, и труднее, но при всей своей громаде—по «стилю» куда проще и, если хотите, доступнее. Стоит их вполне отчетливо определить, и общий под «ем жизни дает возможность решительно к ним приступить. Но вот работа мелочного выпалывания чуть не микроскопических, перепутанных корешков сорного зелья—будет в действительности куда посложней.

Ибо суть тут заключается во *внутренних и массовых* «естественных» тяготениях к бюрократизму со стороны самого, недавно лишь «управляемого», трудового населения, а не просто во внешнем для соввласти наследстве, скажем, канцелярий да контор. Извольте-ка разделаться в «два счета» с законорельными «убеждениями», жизненными привычками и с массовой *психологией* уже не старого чинуши, подобранного с царских мусорных куч, а—с психологией наших же новых соработников, «выдвиженцев» и т. д., пришедших отсюда, с низов!

Опять-таки Лениным и партией указывалось и на эту сторону вопроса. Ленин предупреждал нас о «мелкобуржуазной стихии», которая—напр., в виде вековой обломовщины—отзывается проклятием на каждом трудящемся, на лучшем из нас. Ведь даже наш пролетариат только на небольшой процент—старинный, городской и промышленный, в подавляющей же части он остается кровно связанным с деревней. Это—и сила его в нашей революции, но отчасти и великая слабость. Мелкобуржуазная и полурабская психология все еще кладет часто на него *свой отпечаток*, естественно, сказываясь и на нашей управленческой работе.

Ленин и говорил поэтому, что «до конца победить бюрократизм» можно лишь «длительным воспитанием» трудящихся, по мере того, как мы все большие и большие кадры их будем вовлекать в опыт управления.

Отсюда видно, какое это настоячивое, сколько терпения требующее, сколько пристального изучения наших же ошибок и успехов предполагающее

дело. Тем не менее есть в нем и более разрешенные пункты, где борьба с «внутренним» или «психологическим» бюрократизмом обещает сравнительно успешное продвижение уже сейчас. Ибо в данных пунктах мы встречаемся *прямо* с *доброй волей* соработника низов, с его *сознательным согласием* освободиться от вредного ему самому бюрократического налета. Надо лишь уяснить ему, в чем именно его, стихийно навеянные, мнения и «теории» неправильны, чем именно противоречат его же собственному классовому интересу и интересам пролетарской революции и социалистического строя.

А ведь немалый процент в нашем Союзе таких именно «низовых прищельцев», соработников и активистов, всею душою готовых всегда постоять до конца за свою советскую власть и в то же время не знающих, как это дело делать—не в бою, а ежедневно, у себя в учреждении, на фабрике, на селе; не знающих, или, еще хуже, убежденных *наивно*, что делают советское дело вполне как следует, а вместо того незаметно для себя «закжимающих» его бюрократически, отпугивая от него все еще слишком робкую к власти, отсталую массу.

Из многочисленных рабкоровских и селькоровских сообщений с мест видно, что за последнее время главная волна местного бюрократизма—вот отсюда, из этих умственных туманов прошлого, а уже не от злостных проделок всякого рода прохвостов старого чиновничества, засевших в управлениях, заодно с кулаком и попом. Было и последнего рода засилие, да прошло почти всюду. Сейчас с этой стороны главное: прояснение мозгов, чистка предрасудков среди нашей толщи рабкорников (помимо, повторяю, крупнокалиберной работы перестройки форм организационных и помимо общей работы по хозяйственной линии).

Тогда сорная трава начнет чахнуть без привычной пищи.

2. Та, какую сами растим

На чем же следует сосредоточить необходимое дело раз'яснения? Конечно, на вскрытии наиболее распространен-

ных в массе (от нее—и у передовиков) «ошибок суждения», относительно власти и управления вообще.

Наиболее распространенной ошибкой этого рода надо считать смешение слова «власть» со словами: «начальство», «команда» или «заким». Все прочие проявления бюрократизма—канцелярщина, волокита, бумажность, дерганье всякого рода, копеечная опека и прочие мучительства над человеком—только производные величины от сказанного основного смешения слов и понятий.

Ошибка эта свойственна была, например, бывшим фронтовикам и комиссарам годов военного коммунизма. Энергичный и сильно инициативный работник этой складки, в роли выборного «преда» или назначенного «зава», все равно, понимал нередко свою роль так, что он (или высшая власть через него) только отдает приказы, а все «подчиненные» слепо повинуются. Даже у себя дома, в деревенском, да и рабочем быту такой, проникнутый величайшим почтением к своей «политграмоте», отпускиник, открывал, например, медленную и беспощадную борьбу с «дурманом религии»: смахивал с полки «богов» и предавал их огню.

Горький опыт показал тогда, что такое скоропалительное насаждение «нового быта» приводило на деле к обратным результатам: вместо искоренения предрассудков—их укрепление.

И вот верная, сама по себе, идея о вреде фантазий для трудящегося может, по незнакомству с основами пролетарской советской власти, приводить к тому же бюрократизму, хуже того: к форменной войне между «переусердным» представителем нажима и перепуганной на смерть деревенщиной. И война эта случилась, как видно хотя бы из многочисленных произведений нашей беллетристики: Застрельщику «нового быта» и культуры война эта тоже, в конце концов, даром не проходила—даже помимо чисто физических ушибов. Нередко он сам разочаровывался в силе и благодетельности культуры и несущего ее Октября, а также и власти, и вместо воздействия на забитую рабством и мелкобуржуазным

ковырянием земли массу, сам подчас испытывал заново ее воздействие, вплоть до впадения в религиозный туман.

Нет сомнения в том, что он вполне правильно считал лучшим выражением Октября революционную власть. А в этой власти, конечно, железный централизм и железная, с другой стороны, дисциплина—драгоценнейшее орудие борьбы; строительства и победы. Без этого твердого «железа» власти сама, наприм., революционная законность, защитница интересов массы против всяческого попятывания и эксплуатации, вовсе бы расхлябалась; суд, администрация работали бы с уклоном в сторону кулака и капиталиста (чего в общем нет и быть не может). Некоторое, хотя и крайне досадное, «бюрократическое извращение» (Ленин) превратилось бы в форменную власть бюрократии...

И спасительная сила пролетарской диктатуры в крайних случаях выражается даже так грозно, как, может быть, не снилось ни царю, ни буржуям. Но все дело в том, *как и когда* проявляет себя эта великопепная сила: когда это проявление (явно или молчаливо, но всегда несомненно) *одобряется всею, и прежде всего, пролетарской, революционной массой* и когда, затем, это проявление не подрывает, а, наоборот, укрепляет союз *с бедняком и с середняком*, т.е. с подавляющей массой крестьянства. Иначе эта железная сила превратилась бы в свою противоположность—в бесплодное насилие над пролетариатом, а затем и крестьянством. Т.е. стала бы явным безумием и изменой.

Таковы возможные цветочки, вырастающие как из сорного зерна, так и из непродуманного смешения иными работниками самой сущности соввласти с одним из (существенных, правда) ее проявлений, с одною из свойственных ей форм. Сейчас, нет сомнения, и эта путаница понемногу начинает изживаться. Перевыборы советов нынешнего года, надо надеяться, сыграют тут немалую роль. Но и сейчас разве большая редкость—жалобы по деревням, да и в городах, скажем, на гру-

бое обращение властей, приказчиков в кооперативах и проч? И разве же это — непременно все контр-революционеры или недобросовестные, злостные нарушители своего долга? Есть, конечно, и такие, но большинство — нет.

Естественно, что на другом полюсе, в массе, в качестве противодействия, родится не только всем знакомая боязнь и недоверие ¹⁾, но и упорное, хотя и пассивное, сопротивление «зажимам». А массовое сопротивление создает в свою очередь бессилие власти — еще недавно столь обычная картина в низовых условиях. Оставалось прикрываться чисто-бумажным исполнением высших директив, ограничиваться показными «кампаниями», 3-часовыми лекциями на заданную тему зевающим крестьянам, знаменитой «статистикой» с потолка, всякого рода отпиской и оттяжкой, сваливанием ответственности органами друг на дружку, словом — всеми махровыми цветами канцелярщины и волокиты.

Словом, совершенно не приходится считать, что все эти непролазные заросли бюрократизма, изобличаемые сейчас во всем известных докладах ЦКК, обязательно проистекают только из «зараженного» центра. Конечно, необходимость для того же ВИК'а отвечать в год на 30.000 вопросов центра (50 форм) по одному лишь земельному делу, на 59.000 вопросов (31 форма) по культу-просвету и здравоохранению ²⁾ и т. д. чудовищно давит на этот ВИК в сторону бюрократического отношения к делу. Но не менее верно, во-первых, что низы слишком часто сами, не за страх, а за совесть, бывают *убеждены* в единospасающей силе подобных путей управления своими «необразованными» согражданами, а во-вторых, еще важнее то, что центральные грехи в свой черед рождаются и питаются не чем иным, как вот такими же «теориями», естественно и «непринужденно» плывущими

и захватывающими нас именно оттуда, снизу, от полу-мещанских масс.

В наш переломный момент, когда «оживление Советов», «кооперативная общественность», «профессиональная демократия» и все прочие виды «развернутой пролетарской демократии», можно сказать, ребром стоят в порядке дня, в особенности выше изображенное понимание власти, — смешение ее лишь с одной ее стороной, с одной функцией, становится безусловно нетерпимым. На первый план выдвигается другая сторона этой власти, столь же важная, как и железный «нажим» в нужных условиях, — если не еще более важная, — а именно: умелый подход к массе, учет массовой психологии. Партии приходится здесь повторять и повторять те необходимейшие истины, которые многие из «передовиков» совработы все никак не возьмут всерьез. Вот, напр., т. Молотов в одном из недавних своих докладов (на общегородском собрании профактива Ленинграда 27 янв.) о перевыборах советов отмечает следующее: «Коммунисты, которые должны были выполнять роль руководителей деревни, оказались на деле *оторванными от крестьянской массы*. Процент коммунистов в деревенских советах был не плохой, а связи с крестьянской массой у них было мало... Благополучие получалось чисто внешнее, казенное. Увеличение % коммунистов в советах шло за счет *навязанных кандидатур*: это были оторванные от масс коммунисты, которых впоследствии нам приходилось немало «чистить» — «выгонять из нашей партии». С другой стороны, эти явления отражались и на искажении директив по вовлечению беспартийных в советы: «Партия, — продолжает т. Молотов, — вовсе не хотела поддерживать также и простую видимость участия беспартийных крестьян в советах, так как у коммунистов нередко входило в привычку на каждых выборах протащить одних и тех же людей, одних и тех же *беспартийных завсегдаев*, ни у кого из крестьян не пользовавшихся авторитетом».

Вещь понятная: когда, имея власть, не хочешь потрудиться размыслить, как выявить самых энергичных, самых

¹⁾ Мы даже в практике рабочих производственных встречаемся с боязнью «вылететь» за откровенную критику «начальства» (ср. письмо рабочего т. Пантюхина в Правде № 19 т/г., отдел «К борьбе с бюрократизмом»).

²⁾ Данные обследования РКИ.

самостоятельных из беспартийного окружения, как у них пробудить охоту к работе вместе со своею, трудовой соввластью, то самое легкое дело—набрать пару-другую во всем согласных (словесно!) «подхалимов» (по выражению т. Орджоникидзе из его доклада Моск. партконференции). Понятно, что собранная таким простым манером бюрократическая ячейка на деле оказывается нередко немного лучше любой хулиганской ячейки.

Незаметно подкрадывается и ощущает своими щупальцами нашего бывшего «борца» дедовская обломовщина. Ибо, что же это такое, в конце концов, как не обломовщина—вот эта самая *лень мысли*, которая не дает нам вникнуть в совершенно новые, особенные, небывалые черты и требования рабочей, революционной, творческой социалистической власти и управления? Что, как не обломовщина—это невероятнейшее легкомыслие, с которым мы на все усилия ленинской партии, почесывая за ухом, твердим свое: «Э, что, мол, там об'яснять? Чай, не дурак, все сам знаю; власть—подумаешь, какое хитрое дело! Я это с малых ногтей превосходно понимаю!»

Вот то-то, что с малых ногтей. То как раз и было понимание, усвоенное инстинктивно из преданий крепостного рабства, да из собственнического, «хозяйского» произвола. Отношения власти крепостных «отцов» и «детей», действительно, до крайности просты и в об'яснениях не нуждаются. Что касается мелкого хозяйчика, то нет свирепее «домашней» эксплуатации, как у «самостоятельного» владельца 2 десятин и 1 лошади. А, отсюда—тоже весьма простое и «понятное без об'яснений» представление о всякой вообще власти: приказ без разговоров и повиновение зажмура глаза.

Другое дело, как исполняется подобный приказ. Само собой разумеется,—как только можно хуже, чтобы побольше сохранить сил для себя, не надорваться ради «прекрасных глаз» хозяина или начальника. Вот откуда—и та крайне низкая производительность труда (помимо низкой техники), которая вошла в привычку и у рабочих на

фабрике и заводе николаевских времен, и с которою—при недостаточно развитом еще представлении о соввласти—мы и доселе все никак не справимся. А между тем рабочие чуть не на все 100%—«за Ленина» и, случись военная интервенция против нас со стороны империалистов, нечего и говорить, какое будет одушевление и под'ем.

Если так обстоит с рабочими, то чего же требовать от других трудящихся, гораздо сильнее зажатых и по сей день в тисках старины? С другой стороны, есть, конечно, немало уже и отдельных элементов действительно «нового быта», людей, уже пробужденных соввластью от «сонной одури», обломовщины, уже вовлеченных ею в живой интерес к управлению и к общественному хозяйствованию, уже проявляющих и действительную самостоятельность и здравую критику больших вопросов строительства. Но слишком еще нередко они наталкиваются со стороны доморощенных бюрократов на придирки всякого рода и на возмущение: мол—бузотер! под ногами вертись! мешаешь твердую власть осуществлять! Получается форменная неразбериха: как раз те, кто стал сознательно и революционно относиться к живым требованиям пролетарской демократии, попадают в ее «враги», чуть не в «контр-революционеры», а бестолковый, неразвитый поклонник чистого «нажима» воображает себя солью земли...

Пора, пора заняться нарочитым, отчетливым разбором этого вреднейшего недоразумения, и начать дело прочистки бюрократической дерновины.

По крайней мере, тут мы мало-мальски освободимся от тех ее цепких, как мельчайшие, но зубастые крючечки травы-череды, побегов, которые *мы уже сами растим*: от бюрократии нашего собственного производства.

3. Управа на нее под руками

Ленин не даром говорил, что бюрократизм наш в значительнейшей мере зависит от нашей некультурности, и главное средство против него—культура. Одно из первейших проявлений культуры в советских условиях—

это надлежащее понимание истинных свойств советского управления, понимание, слишком еще недостаточно усваиваемое советскими работниками, не исключая общественников.

Но это показывает тем большее значение необходимого перелома во взглядах по этому вопросу среди большинства работников. Когда, наконец, установится среди добросовестных работников нашего управления, а нет сомнения, что они уже преобладают) своего рода «общественное мнение», еще точнее—*классовое самосознание*, исключаящую всякую ненавистно-полицейскую практику, то дело уничтожения чуждых нам зарослей бюрократизма пойдет вперед быстрыми шагами.

Надо, конечно, не ограничиваться одной лишь критикой отсталых, некультурных взглядов на власть, как на нагайку и на молодецкий окрик, как на «тащи и не пушай». Критика—лишь начало дела. Надо и с положительной стороны усвоить себе на практике, в чем суть ленинского лозунга: «и принуждением и убеждением». Ибо суть эта в особенном понимании у него «диктатуры пролетариата», которая у него является, как известно, крепчайшим союзом, «смычкой», политической и хозяйственной, пролетариата с другими революционными классами, т. е. прежде всего крестьянством.

Иному, вполне искреннему работнику, еще не отставшему, однако, от дедовской мешанской указки, представится даже противоречивым и странным такое совмещение слов «диктатура» и «союз». Ему может представляться: коль диктатура, так уж диктатура, а союз—значит длинные разговоры да увещания, да еще, пожалуй (какой ужас!), равноправное *согласие* требуется со стороны «союзных» крестьян, интеллигенции, городского мелкого мещанства и т. д.! Ну, а это ведет в полному развалу рабочей власти... Вот в том-то и дело, чтобы на этом видимом противоречии честный работник, действительно желающий подняться на высшую ступень революционного сознания, практически поучился Ленинской диалектике. Там, где старому миропониманию, привыкшему к отвле-

ченным «абсолютам», резко исключаящим друг друга, кажется непримиримое противоречие, на самом деле—полнейшее единство.

Диктатура рабочего класса, класса угнетенного, эксплуатируемого (а не диктатура одного лица-эксплоататора или кучки эксплуататоров), только и может осуществляться на основе убеждения, прежде всего, самих рабочих масс, которые сознательно и добровольно передают неуклонное проведение в жизнь своей революционной воли, скажем, ЦИК'у. Принуждение своего декрета, закона, вообще, своей власти они, следовательно, поручают своим вождям по вполне свободному, классово-разумному *согласию*. И тогда уже такая же свободная и разумная *самодисциплина* железно-логически требует от них полнейшего (конечно, всегда обусловленного правом на критическое обсуждение) повиновения собственному, рабочему закону или власти. Ибо железный кулак-то этой власти направлен—куда? На беспощадное подавление злейших врагов рабочего: империалистов—вне страны, остатков бар и хозяев—внутри. Какой же может быть тут разговор о несогласии?

Союз же с другими, мелко-собственными классами, а особенно с самым из них угнетенным до революции, с крестьянством (точнее: с беднотой и середняком), стоит, в свою очередь, на прочной, как гранит, основе разгрома дотла тех же общих классовых врагов. Укрепляется он при таком, достаточно убедительном, «задатке», как вся земля, переданная деревне, и все более ясным для последней ростом ее собственного благосостояния при рабочей, социалистической власти. Все это—недурные средства убеждения, обеспечивающие, чем дальше, тем больше, полное согласие союзников—крестьян «выносить» столь для них выгодную, хотя бы и самую железную, диктатуру рабочего класса. Даже—когда она достаточно сурово подчас «одергивает» неизбежно проявляющиеся все же частно-собственнические инстинкты и колебания того же крестьянства. Ворчание в этих случаях естественно и даже неизбежно, но в общем и целом трезвый

материалистический расчет громко говорит в пользу согласия.

Диктатура и союз, таким образом, друг друга взаимно *обеспечивают*, а вовсе не исключают, не противоречат по существу дела. Получается, как говорит Гегель (учитель и Маркса, и Ленина), *тождество, единство* в глубине данных явлений, на месте их столкновения на поверхности. Это и есть самая суть того, что называется «диалектикой», т.-е. высшего, наиболее правильного мышления о действительных фактах жизни.

Следовательно, самое правильное в данном случае—выбросить раз навсегда из своей головы такое одностороннее, узкое и *некультурное* (в нашем социалистическом смысле) понимание власти, как чистой плетки, и научиться полностью, всестороннему пониманию диктатуры пролетариата как «гегемонии» (руководящей власти) пролетариата. Тогда сразу станет посветлей не только в наших головах, но и в массовом быту. Ибо из нее исчезнут пугающие нас самих, хотя нами же самими сочиняемые, призраки, идейные туманы, заставляющие иную слабую голову и робкое сердце, чуть что не так, твердить:

— Ох, батюшки, та же бюрократия, что и при Николае...

То-есть, попадать, что называется, пальцем в небо. Ибо, что при батюшках царях было общим стилем или классовой системой угнетения, то в советских условиях (как бы ни являлось действительно возмутительным на 10-й год социалистического Союза), во всяком случае, есть лишь нарост, искажение нашей системы, пятно на ней, вопиющее нарушение всего светлого стиля. Надо, значит, не дугаться призраков собственной фантазии—бездельный испуг-то и дает разрастаться сорным травам на нашей доброй пахоте,—а, как лев, бросаться на выявляющиеся гнезда врага—бюрократизма, выцарапывать его со всеми корневищами и побегами. Тогда и туманные призраки рассеются, и вся картина нашей новой жизни отраднo просветлеет, и в наших глазах, и в глазах массы, зорко следящей за нашей работой и, конечно,

смущаемой, в свою очередь, испугом перед призраками—*нашим* испугом людей, в ее глазах, олицетворяющих революцию, следовательно, уже достаточно *знающих*, как идут ее дела.

Да, немножко переродиться нам самим внутренно следует, и такое моральное перерождение, можно сказать, общедоступно в условиях тех неслыханных наглядных успехов, какие на наших глазах делает и совхозяйство, и неудержимый напор масс к культуре, к просвещению. В таких условиях «буйного» исторического роста страны рабочих и крестьян, наоборот, та старая, отсталая, некультурная точка зрения на власть, как на механическую погонялку, становится, наконец, просто ненормальна и дика. Надо, надо усваивать себе—и другим передавать—привычку ежедневно, ежеминутно, во всех больших и малых делах, мыслить о власти, как лишь о могучем вожде целого круга общественных сил трудовой массы, сил самостоятельных, широко ставящих свою работу на связи с общей задачей всего Советского Союза, а не только уткнувшихся в интересы своей колокольни. В тот момент, когда сверху, из центра идет сплошная перестройка органов власти, деятельный пересмотр громоздких и дорого стоящих поэтому органов управления хозяйством, оба пути—сверху и снизу—«бьют в одну точку» и превосходно друг друга дополняют.

Когда, например, проведено будет, сейчас проектируемое, расширение самостоятельности и ответственности красного директора заводов и фабрик по отношению к гостру,—в высшей степени важно, чтобы такой «освобожденный» работник оказался к тому моменту в подавляющем большинстве «освобожденным» и внутренно от последних следов теорий административного «зажима». Чтобы не за страх, а за совесть он налегал на развитие рабочих «производ-совещаний», конференций, контрольных комиссий. Ибо сам он прежде всякого горячо убежден в единственной возможности на практике осуществить великую задачу социалистической реконструкции в союзном масштабе—лишь на основе сознательного

пот'а самих же рабочих масс (а не как у Форда: плетка плюс узкий денежный расчет отдельного рабочего). Ведь пот без «согласия», т.-е. без опять-таки революционного самосознания рабочих—чистейшая утопия!

И вот этакий современно-культурный директор - общественник свободно-планомерно делает из производ-совещаний живой и постоянный орган своего управления — своего рода «конституцию» (на место самодурно-самодержавного «образа правления» фабрикантских времен). То же, конечно,—и в любой отрасли советского управления. Напр., только тогда так называемое «оживление советов» перестанет быть тем, все же нередко, родом «просветительных заседаний» (термин заимствован из докладов т. Баумана, зав. орг.-распределом моск. комитета партии), каким оно оказывалось до последних перевыборов даже в «культурнейшей» Москве.

То же, скажем, и с кооперативной жизнью, где актив из рабочих, крестьян и их жен только тогда обнаружит всю подлинную мощь заложенной сюда творческой мысли—в частности, по борьбе за снижение цен—когда сознание истинных отношений между властью и активно ее строящей массой, хотя бы в главном, проникнет уже в этот актив. А, между тем, до сих пор в этом смысле было маловато сделано, судя, напр., по крайне поучительным данным т. Угланова, секретаря москомитета партии, сообщенным в его докладе 21 февраля на собрании актива Моск. губ. потребкооперации. В самом деле, если даже в Москве кооперировано не более 45% всех рабочих и служащих ¹⁾, то это значит, что мощь кооперации опирается большей своей половиной лишь на банковский кредит, а не на членские взносы (т.-е. на активность масс). А за кредит, конечно, платятся проценты, которые перекладываются на цену то-

вара. Какое же тут мыслимо реальное снижение цен?

И, много, много можно бы еще привести подобных примеров, от сельсовета до центра, откуда с неотразимой ясностью видна была бы ближайшая зависимость «доморощенного» бюрократизма, т.-е. негодного, фальшивого, холостого хода управленческой машины, от культурно-идеиной незрелости нашего кадра новых работников. Они в этом, конечно, на большую часть «без вины виноваты», тем не менее от их недостаточной работы над самим собою происходит немало новейшего «крапивного семени» советской марки.

Зато и—обратно. Необходимый под'ем сознательности по этой линии может дать нам сравнительное ускорение в оздоровительном под'еме «власти на местах» (в центре, конечно, уровень сознательности гораздо выше). Понятно и то, что успешная «разделка» с бюрократизмом в кадрах управления, особенно близких к массе, явно идущий прогресс на этих участках фронта, сильно способствуют перелому во мнениях массы насчет нашей власти вообще, т.-е. насчет ее способа применения. А то, чего греха таить?—не так уж редко и посеячас, в провинции в особенности, услышать (и не без фактических к тому оснований) этот, как бы вековой и наследственный вздох:

— Что же? неужто и здесь правды не добьешься?

Лед будет, наконец, сломлен во мнении масс и на данном участке фронта.

Массы на ежедневном опыте станут, наконец, выносить иные, правильные суждения о той фактической пропасти, какая отделяет по природе массовую советскую власть от власти «бар» и «хозяев». Массы начнут верить, что, действительно, соввласть держится по отношению всяческих отрывков бюрократического духа единственной и твердой линии:

— Дурная трава—из поля вон!

¹⁾ В Ленинграде, впрочем, до 70%.

IV. АМЕРИКА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Вл. Виленский-Сибиряков

Не так давно карикатурист газеты «Нью-Йорк Таймс» на страницах последней дал следующую картинку. На груди мешков с долларами сидит, развалившись, с самодовольным видом «дядя Сэм», а по бокам у него стоят с удивленным видом легендарные цари-богачи Мидас и Крез. Эта картинка была иллюстрацией к статье о национальном богатстве Соедин. Штатов.

По данным официальной американской статистики национальное богатство Соедин. Штатов с 186, 3 миллиард. 1912 г. возросло к 1922 г. до 320,8 миллиардов. Некоторые из экономистов делают к этой последней цифре поправку на падение покупательной способности доллара, что должно, конечно, понизить общую сумму национального богатства Соедин. Штатов. Но и то, что получится в результате этого уменьшения, представляет собою огромную сумму, почти равную сумме национальных богатств Англии, Франции, Германии и Италии взятых вместе.

То же самое нужно сказать и в отношении роста наличности золотого запаса Соедин. Штатов. До войны, т.-е. в 1913 г. золотой запас Соедин. Штатов был равен 35,5% мирового запаса, а к концу 1924 г. он уже достигал 48,5%. Эти огромные золотые резервы Соед. Штатов выросли в результате того перекачивания, которое имело место во время войны. Мир стонал под тяжестью войны, гибли миллионы трудящихся, разорялись целые страны: но зато Соедин. Штаты богатели—они получили «золотое ожирение».

Современная Америка, т.-е. Соедин. Штаты—мировой банкир, которому Европа должна астрономическую сумму в 22 с половиной миллиарда долларов (если считать, что долг Европы, равный 11,5 миллиардов будет платиться с процентами в течение 62 лет, аналогично франко-американскому соглашению относительно погашения французской

задолженности Америке). Если к этому прибавить 60% мирового производства чугуна, 71,9% нефти, 59,8%—стали, 43,5%—угля, 82,7%—автомобилей и т. п., то нам должна быть ясной та экономическая база американского империализма, которая сейчас внимательно изучается экономистами всего мира. Этой теме посвящена вышедшая недавно книга—«Америка на мировой арене» М. Танина, который дает приведенные выше цифры, и затем пытается проследить пути и особенности развития современного американского империализма.

Времена, когда Соедин. Штаты проповедывали «политику изоляции», уходят в отдаленное прошлое. Знаменитая «доктрина Монро», согласно которой Соедин. Штаты долгое время отгораживались от Европы, сейчас встала вверх ногами и уже не Европа угрожает Америке, а скорее наоборот.

Хотя у нас обычно и принято отождествлять Соедин. Штаты с Америкой, но фактически Америка, или т. н. Новый Свет, значительно больше Соедин. Штатов Северной Америки. Последние всего -на- всего представляют собою одну четвертую территории Нового Света и имеют немногим более половины населения всей Америки. Все остальное приходится на долю Канады и т. н. Латинской Америки, которая охватывает около 20 республик Центральной и Южной Америки. Эти республики распадаются на две группы. В состав первой группы, составляющей фактически «сферу влияния» Соединенных Штатов, входят: Гаити, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор и Сан-Доминго.

В более «независимом» положении находятся республики второй группы: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор. Здесь идет ожесточенная борьба за влияние между Соедин. Штатами и Англией.

*) М. Танин. «Америка на мировой арене». Гиз. 1927 г.

Когда президент Монро провозглашал свою доктрину и говорил: «Американские континенты, в силу занятого и поддерживаемого ими свободного и независимого положения, впредь не могут быть рассматриваемы как объекты для будущей колонизации со стороны какой бы то ни было европейской державы», то здесь было стремление не только обезопасить себя от новых вторжений, но и скрытая мысль о будущей гегемонии Соедин. Штатов. Сейчас эта скрытая мысль уже достаточно расшифрована. Формула «Америка для американцев» уточнена и превратилась в—«Америка для янки».

Сейчас, когда Соедин. Штаты утвердили свое влияние в Центральной Америке, превратив большинство находящихся там республик в свои полукolonии, они ведут борьбу за Канаду и старательно внедряют свои капиталы в республики Латинской Америки.

Но борьба за Новый Свет уже не удовлетворяет Соедин. Штаты. Борьба за мексиканскую нефть, за южно-американский каучук это—вчерашний день политики Соедин. Штатов; сегодняшний и завтрашний день—это борьба за рынки Тихоокеанского бассейна, за Восточную Азию, за мировые торговые пути, за контроль над Европой.

Если «доктрина Монро» служила и продолжает служить Соедин. Штатам «идеологической» ширмой для прикрытия империалистического наступления на республики Латинской Америки, то «доктрина открытых дверей» создана американской дипломатией для того, чтобы обеспечить пути проникновения Соедин. Штатам в Восточную Азию.

Будучи занятыми своими делами в Новом Свете, Соедин. Штаты опоздали к моменту дележа рынков в Восточной Азии. А когда они явились туда, то нашли уже там «сферы влияния», которым американские дельцы и противопоставили «доктрину открытых дверей», что по замыслу творцов этой доктрины должно было уравновесить шансы Соедин. Штатов в борьбе за наибольшее влияние. В этой борьбе за азиатские рынки Соедин. Штаты столкнулись с империалистической Японией. Последняя в этом вторжении Соедин.

Штатов усмотрела непосредственную угрозу своим интересам в Восточной Азии. Нуждаясь в железе и угле азиатского материка, а равным образом и тех емких рынках отсталых азиатских стран, которые могли бы поглощать японские фабрикатy, Япония стала ревниво следить за каждым шагом Соединенных Штатов в тихоокеанском бассейне. Соедин. Штаты, учтя роль и значение Японии в своих тихоокеанских планах и комбинациях, объявили Японию одним из своих главных врагов в Тихом океане—отсюда началось то знаменитое американо-японское соперничество, под знаком которого сейчас разворачивается новейшая история восточного полушария.

Ареной американо-японского соперничества явился Китай.

В современном своем виде Китай—страна-полукolonия, опутанная кабальными договорами, почти лишенная самостоятельности. Империалистические державы Европы вместе с молодой азиатской хищницей Японией всячески мешают объединению Китая в единое целое. Поддерживая отдельных китайских генералов и натравливая их друг на друга, империалистические державы раздували пожар гражданской войны в Китае и под шумок обделывали свои делишки. Особенно в этом отношении усердствовали Япония и Англия. Первая выпестовала на севере пресловутого генерала-хунхуза Чжан Цзо-лина; вторая всячески поддерживала ряд китайских генералов срединного Китая; Соедин. Штаты, придя в Китай, фактически делали то же самое, но они старались натравливать китайских генералов на тех, кто им мешал, а именно, на Японию и Англию, которые были для Соедин. Штатов конкурентами в Китае.

Рядясь в одежды друвей китайского народа, Соедин. Штаты надеялись перессорить Англию с Японией, и затем руками китайцев свернуть шею каждому из своих конкурентов в отдельности. На т. н. Вашингтонской конференции в 1921 году Соедин. Штаты принудили Англию отказаться от обновления англо-японского союза. Там же Соедин. Штаты заставили Япо-

нию отказаться от германского наследства в Китае, т. е. возвратить китайцам захваченный у них Шаньдунь.

Кто знает, как бы далеко пошли Соединенные Штаты в своей китайской политике, если бы мощная волна китайского национально-революционного движения не спутала крапленные карты американской дипломатии. Рост китайской революции и успехи последней сильно испугали американцев, и англичане очень ловко их поймали на этом испуге. Приняв участие в совместном с англичанами обстреле Нанкина, Соедин. Штаты скомпрометировали в глазах китайцев себя и свою политику, чего они не особенно хотели.

После совместного с англичанами выступления под Нанкином Соедин. Штаты шарахнулись от своих союзников в сторону. Впрочем, это не новость в американо-английских отношениях. В империалистической политике Соедин. Штатов имеется довольно много точек соприкосновения, которые дают основания говорить о возможностях англо-американского «блока». Это—общность интересов английского и американского капитала в борьбе с СССР и восточными народами, т. е. с революционным и национально-освободительным движением. Это—то обстоятельство, что все более и более слабеющая Англия вынуждена идти навстречу все более усиливающейся Америке. Однако все это парализуется тем, что Соедин. Штаты, стремясь к экономической гегемонии, на каждом шагу спотыкаются на выпирающую необходимость борьбы с Англией за первенство. Слишком явно выпирает стремление американского капитала лишить Англию роли политического гегемона и верховного судьи в Европе. А это, конечно, не может не отразиться на англо-американских отношениях.

Англия не может сдать без боя своих позиций. Жизненной задачей английского империализма является сохранение своей господствующей роли в мировой политике. В данном случае, Англия как раз сталкивается с Соедин. Штатами, которые стремятся отвоевать от Англии эту роль. А так как двух мировых гегемоний капиталистический

мир вместить не может, поэтому борьба между Англией и Америкой должна неизбежно все более и более обостряться.

Собственно в этом плане и необходимо рассматривать всю т. н. европейскую политику Соедин. Штатов и их отношение к Лиге Наций.

Соедин. Штаты шарахнулись в сторону и не вошли в Лигу Наций, главным образом, потому, что они не желали связывать себе руки для дальнейшей борьбы за мировую гегемонию. Правда, сейчас Соедин. Штаты до известной степени стоят на пороге пересмотра своих старых позиций. В январе 1926 года сенат принял резолюцию о вступлении Соедин. Штатов в Гаагский международный трибунал, и хотя в связи с этим сенатом сделан ряд оговорок, вроде того, что «присоединение не может быть истолковано в том духе, что оно влечет за собою юридическое взятие на себя Соедин. Штатами обязательств согласно Версальского договора», тем не менее это, конечно, должно служить ступенькой для урегулирования отношений Америки к Лиге Наций.

А что скрывается за этим?

Нам думается, что, ревизуя свои отношения к Лиге Наций, Соедин. Штаты делают это, учитывая неизбежность ослабления гегемонии английского капитала в Европе. Иными словами, американские дельцы полагают, что настало время им действовать для того, чтобы потеснить своего конкурента—Англию, и они заблаговременно абонируют себе удобные места.

Недавно в Соедин. Штатах была дискуссия между сторонниками и противниками вхождения в Лигу Наций. Мы позволим себе привести цитаты из этого спора.

Защищая точку зрения необходимости вхождения в Гаагский международный трибунал, сенатор Свонсон так аргументировал: «Мы стали великим кредитором; нам должны огромные суммы; наши инвестиции рассеяны по всем странам мира. Мы имеем величайшую в мире торговлю. 20% нашей многообразной продукции должны найти выход на внешний рынок; в противном случае нас ждут депрессия, убытки и

банкротство. Как бы многие из нас ни желали национальной изоляции, эти времена уже прошли. Наше развитие пошло по такой линии, что все, задевающее остальной мир, задевает и нас. Это—неизбежное следствие нашего продвижения в передние ряды».

Противники Лиги Наций говорят: «В легкие Америки накачивают газы морали и, одурманивая, хотят втянуть ее, как легковоздушного кролика, в псарню». Это пишет «Чикаго Трибуна»—реакционный орган, который заключает свою статью выводом: «Если мы хотим счастливого сочетания собственных интересов с моральными обязательствами, то оно уже дано нам в форме доктрины Монро».

Но так как остаться при «доктрине Монро» Соедин. Штатам сейчас уже нельзя, то на сцену появляется новая «доктрина» Ховтона, который по адресу Европы говорит—либо она должна смириться, либо проститься с возможностью получения новых американских займов». Это—политика доллара, политика финансового нажима на Европу. На этот путь сейчас стали Соедин. Штаты в своих отношениях к Европе.

Эта новая политика Соедин. Штатов нашла себе выражение в т. н. «дауэсизации» или, проще говоря, плане Дауэса. Этот план был применен к Германии, которая, запутавшись в репарационных платежах, должна была, спасаясь от банкротства, продать свою экономическую самостоятельность Соедин. Штатам, превратившись в колонию, порабощенную американским капиталом с помощью самой германской буржуазии. План этот вымажается в том, что Соедин. Штаты ссужают Германию капиталами, но зато ставят все ее народное хозяйство под американский контроль.

Этот же план американские дельцы выдвинули и в отношении капиталистической Франции, которая испытывает большие финансовые затруднения.

Расшатанная и обедневшая Европа почувствовала, что на нее насаждает Америка. Европейская буржуазная мысль судорожно зматалась в поисках рецептов для спасения Европы от американского ига. Такой рецепт был найден неким «сиятельным» пацифистом

графом Куденгове-Калерги, который создал в Вене «пан-европейский союз» и исписал горы бумаги о том, как можно спасти погибающую Европу.

Если положительная часть венского пророчка представляет собою мало реальную затею, то критическая часть его деятельности заслуживает некоторого внимания. Налю отплатить справедливость «сиятельному» пацифисту: он наговорил по адресу Европы много верных, но довольно кислых слов.

В своей книге «Пан-Европа» он пишет: «Европейская мировая гегемония навсегда обанкротилась. Когда-то Европы боялись; теперь ее жалеют. Вся в долгах, раздробленная, беспорочная, расслабленная, раздираемая национальной и социальной борьбой, тяжело пострадавшая в экономическом отношении и в смысле живой силы—в таком состоянии она идет от безутешного настоящего к неизвестному будущему. Как политическая категория, Европа не существует. Та часть света, которая носит это название, представляет собою хаос народов и государств, пороховой погреб международных конфликтов, реторту будущих войн».

В предвидении этой новой империалистической войны (граф тоже может иногда придумать), он пишет: «В будущей войне не будет разницы между фронтом и тылом. Всякий город в пределах досягаемости будет разрушен; всякий враг в пределах досягаемости будет убит... Такая истребительная война будет означать гибель Европы».

Наряду с этим на Европу насаждает Америка.

«Благо состояние Америки возрастает, в то время как благосостояние Европы падает.. На мировых рынках европейская индустрия не будет в состоянии выдержать конкуренцию со стороны Америки, так как она (европейская индустрия) все более дорожает вследствие внутренних пошлин, насильно и бессмысленно отрывающих сырье от фабрик, руду от угольных шахт и аграрные районы от индустриальных. В то время как Европа остается раздробленной, на том берегу Атлантического океана организуется целая часть света».

И так «Пан-американизму» должен быть противопоставлен «Пан-европеизм». Это тем более необходимо, что Европе еще угрожает Восток—Москва. Он пишет: «Начинаются гонки между Россией и Европой. Кто из них раньше оправится от разрухи. Пока Европа еще имеет преимущество: ее производственный аппарат и железнодорожная сеть остались почти неповрежденными. Но зато Россия имеет преимущество политической и экономической целостности, в то время как Европа разбита на две дюжины экономических районов. Удастся России путем нескольких хороших урожаев восстановить свое хозяйство, прежде чем Европа сплотится—и судьба Европы предопределена».

Выход такой.

«Европа должна — через столетие после Америки—провозгласить свою доктрину Монро: «Европа—для европейцев». Пройдя через стадии пан-европейского арбитражно-гарантийного договора и таможенного союза, пан-европейское движение выльется в форму Соединенных Штатов Европы, по образцу Соединенных Штатов Америки».

Таков план «Пан-Европы», как его родила буржуазная пацифистская мысль. Этот план находит одобрение у европейской социал.-демократии, которая устами с.-д. Прагера заявляет: «Социал-демократия с давних пор работает... над созданием предпосылок для сотрудничества народов... Напомним, что на международных конгрессах социалистических партий и профсоюзов националистические тенденции никогда не выявлялись, и что здесь неоднократно и настойчиво указывались пути к умиротворению нашей части света. В этом смысле рабочее и пан-европейское движения сходятся. Оба течения могут друг друга дополнить: социализм даст пацифистской идее реальное содержание». Словом—все дороги ведут с.-д. к сотрудничеству с буржуазией.

Каково же отношение творцов идеи «Пан-Европа» к Лиге Наций?

Куденгове-Калерги пишет: «Всеобъемлющая мировая Лига Наций, о которой мечтал Вильсон, оказалась

утопией. Женева—это только туловище без головы. Две мировые державы отказываются от Лиги Наций: Россия и Соедин. Штаты. Лига Наций охватывает только половину человечества... Женевская Лига Наций сильно скомпрометировала себя: она стала, с одной стороны, бессильным институтом, претендующим на силу, а с другой стороны, несправедливым институтом, претендующим на справедливость. Она не представляет собою ни политического, ни морального мирового авторитета».

Может ли, однако, буржуазия справиться с задачами об'единения Европы в одно целое для предотвращения надвигающегося банкротства? Может ли буржуазия создать необходимые предпосылки для восстановления Европы, дабы последняя могла успешно конкурировать с Америкой?

Увы, опыт последних лет показал, что эта задача не по плечу капиталистическому миру, который раздирается сейчас внутренними противоречиями. Вся Европа кипит этими противоречиями. Нет маленького уголка в Европе, где не сталкивались бы различные империалистические интересы. Достаточно взглянуть на следующий далеко не полный перечень международных противоречий, чтобы понять безнадежность затеи буржуазных пацифистов.

Вот этот перечень: 1. Буржуазные государства Европы против СССР. 2. Европа против Америки. 3. Континентальные буржуазные государства против Англии. 4. Англо-французская борьба. 5. Фрайко-германские противоречия. 6. Англо-германские противоречия. 7. Италия против каждого из бывших союзников, Италия против Германии, Австрии и балканских народов. 8. Польско-германская борьба. 9. Польско-литовский конфликт (Виленина). 10. Малая Антанта против Германии. 11. Малая Антанта против Венгрии. 12. Югославия и Греция против Болгарии. 13. Албанский узел. 14. Балканские государства против Турции. 15. Бывшие союзники против Турции и т. д. и т. п. Это только в Европе, если же список конфликтов расширить на восточное полушарие, то он возрастет в несколько раз.

Смогла ли буржуазная Европа разрешить хоть один из перечисленных выше конфликтов и противоречий? Нет. Лига Наций оказалась скомпрометированной как раз на этих конфликтах и противоречиях.

Единственная сила, способная разрешить все эти противоречия—пролетарская революция в Европе. Не буржуазия, а пролетариат могут собрать растерзанную Европу воедино и превратить ее в Соединенные Социалистические Штаты Европы. VI расширенный пленум ИККИ, происходивший в марте 1926 года, дал директиву противопоставить пацифистскому буржуазному лозунгу «Соединенные Штаты Европы» лозунг «Соединенных Штатов Рабоче-Крестьянских Республик Европы» или «Соединенных Социалистических Штатов Европы» — это противопоставление должно разоблачить буржуазную фальшь в этом вопросе и дать правильную ориентировку европейскому пролетариату о тех путях, по которым должна идти современная Европа для своего спасения.

Если теперь мы пытаемся суммировать политическую обстановку сегодняшнего и завтрашнего дня, то она может быть выражена следующей формулой: Америка — СССР — Европа. Это три огромных силы, которые взаимно конкурируют на мировой арене, борьбе за будущее.

Как относится Америка к Европе и Европа к Америке—мы видели выше. Что касается вопроса об отношениях Америки к СССР, то оно рисуется примерно в следующем виде. Американский капитал, воздерживающийся от признания СССР, видит примерно следующую перспективу: «Америка и СССР противостоят друг другу как два на смерть враждебных мира. Америка, это — как бы сконцентрированный «здоровый» мировой капитализм, СССР—сконцентрированный «разрушительный» мировой большевизм. Америка

стремится к мировой гегемонии. Этапами к этой цели должны служить дауэсизация Европы, как западная половина, и нажим на Китай, как восточная половина тех тисков, в которые Соедин. Штаты собираются зажать европейско-азиатский материк для водворения в нем «порядка». Но между «дауэсизируемой» Западной Европой и постоянно терроризируемым Китаем лежит в плоскости обхвата этих тисков, как стальной клин, великан-СССР—огромная сила противодействия сам по себе и организатор противодействия сотен миллионов китайцев и других полуколониальных и колониальных народов. И пока живет этот революционный гигант, мировой гегемонии американского капитала не бывать». Так заключает свою работу т. Танин и он прав.

Как бы ни шел быстро вперед рост американского империализма с его исключительной концентрацией капитала, законы капиталистического развития предопределяют тот неизбежный конфликт между производительными силами и формами присвоения, который должен привести американский империализм к пределу, дальше которого он вряд ли сумеет двинуться. Мы не беремся сейчас гадать, когда этот предел наступит, но что он наступит, в этом, конечно, не приходится сомневаться, порокой тому общие законы мирового развития, предопределяющие гибель капитализма и торжество социализма.

Надо полагать, что законным наследником обреченных на гибель капиталистических государств, как в Европе, так и Америке будет не кто иной, как носитель идеи мировой революции—Союз Советских Социалистических Республик, который знаменует собою систему новых социальных отношений, направленных в сторону устранения эксплуатации трудящихся капиталом.

У. ЗАГОВЕНЬЕ

(Сельские очерки)

Борис Губер

Наше село лежит на перекрестке двух старинных почтовых трактов и издавна сльвет бойким торговым местом. Десять раз в году с'езжаются на его тесноватую площадь веселые, обильные базары и на них бывает не только вся наша волость, но заглядывают продавцы и покупатели из ближних уездов и даже из соседней Череповецкой губернии.

В *заговенье*, последнее воскресенье перед масленицей, был один из таких базаров, первый в нынешнем году.

Готовиться к нему начали еще накануне с вечера.

Небо обнаженное, и медно-красное лишь на западе, полно было лиловыми клубами туч, грозилось метелью; ветер неся с поля, волоча проулками вороха снега, сухого и легкого, как летняя дорожная пыль,—раскачивая грациные гнезда, свистел он между голыми ветвями берез, и под его порывами вечерний дым срывался с труб и поникал к земле... Угрюмый, изнывающий от зубной боли, председатель сельсовета, придерживая все время рукой щеку, раздутую флюсом, отомкнул *ряды*, наш сельский гостинный двор, огороженные и обычно запертые навесики, разделенные на крохотные клетушки; заранее приехавшие торговцы, уплатив ему все нужные сборы, долго приводили ряды в порядок, без счету всаживая гвозди в ветхое, из'еденное червями дерево, чинили полки и прилавки. Снаружи, на площади, тоже суетились, хлопотали, кто, торопясь загодя выбрать себе удобное местечко, утапывал на нем снег, кто собирал из горбылей и слег скелет для будущей палатки... Плотный, коренастый черепянин в бордово-коричневой чуйке, приехавший сюда закупать лен, устанавливал высокую, самодельную треногу, к которой прикрепит он завтра старинные чашечные весы... Готовилась на завтрашний день и *казенка*—агентство Госспирта: на двух под-

водах привезли туда свежий запас вина, занесенные снегом мужики—подводчики таскали через неудобные тесные сени тяжелые ящики, сколоченные наподобие клеток, и в клетках этих нежно звякали, позванивали полные бутылки.

Тучи густели, темнели, незаметно заполняли алую закатную полоску. Синий вечер окутал село... И скоро все спало крепким зимним сном, только в чайной, в обеих ее этажах, всю ночь горел огонь, визжала ржавой пружиной расхлябанная дверь, и облепленные снегом люди вваливались в ее распаренное, прокуренное нутро, чтобы чайник за чайником тянуть жидкую водицу, а затем, свалившись головою на мокрый, залитый остывшими лужицами столик, в сторожном сне дожидаться рассвета...

К утру небо светлеет. Застланное ровной, белесо-серой пеленой, так и не опорожнило оно снежных своих утроб: только редкие, колючие, как занозы, снежинки мелькают по ветру

Светает. Сквозь темные окна изоб видны пляшущие в печах оранжевые языки пламени. Бабы выходят за водой, со скрипом наклоняет колодезный журавль свою долгую шею, деревянная бадейка, гремя, пр'валивается в низенький сруб, обросший льдом, и, когда появляется она вновь наверх, от воды на морозе вздымается пар, точно в колодце полно крутого кипятку... Село медленно, только сейчас, просыпается—а площадь давно уже пришла в движение, ожила. В лавчонках рядов распаковывали уже тюки с мануфактурой, и полки прогибаются под тяжестью ситцев, сатина, грубого дешевого сукна. Горшечники выложили свой товар, прямо по снегу расставив крынки и рукомойники, огромные пивные горшки, пятнистые, как шкура змей, палевые, шершавые на ощупь лотки и кашники... Даже кооператив,

обычно начинающий торговать с девяти утра распахнул широкие ворота своего лабаза, и сам председатель правления, Иван Семенович Вернослов, помог приказчикам вытащить на улицу новенькие десятичные весы... И по большакам, и по проселкам, извилисто сбегающим к селу, вереницами тянутся розвальни, санки с молодыми... И вот, вместе с первыми ударами церковного благовеста, открывается, наконец, торжище.

Над селом плещется не стихающий гул и рокот. Площадь, проулки и весь низ улицы, вплоть до реки, на которой уже третий месяц собираются чинить мост, затоплены движущейся взад-назад толпою. Редкими цветными пятнышками всплывают над чернотой ее яркие платки баб и девок или малиновые шапки милиционеров, а палатки, брезент которых выпукло плещется под ветром, будто на парусах плывут по этой сплошной черноте....

Гуще всего в том углу, где принимают лен. Здесь невозможно протолкаться сквозь плотную толчею — в мешках, кошелях, а то и просто на руках, тащат сюда сырое, рыжее и дымчатое волокно. Большинство тянется к черепяину, еще на рассвете подвесившему к треноге свои весы, и рядом с ним постепенно вырастает высокая пушистая гора. Редко-редко кто подойдет к приемщику кооператива, и вывалит перед ним свой запас...

Председатель правления сердито смотрит из-под нескладной заячьей шапки на тесное кольцо, обступившее конкурента — и, не удержавшись, ловит за плечо какого-то шуплого, изящного старичка, тщетно пытающегося пробиться к весам.

— Чего ж это ты в кооператив не сдаешь? — грозно спрашивает он, — или мы дешевле всех платим? а?

Старик испуганно прижимает к груди пучок короткого, плохо-отделанного волокна и торопливо снимает шапку.

— Здравствуй, Иван Семенович, здорово, дорогой, — смущенно говорит он, отводя в сторону слезящиеся на ветру глаза... — Почему тебе не сдаем? — мнется он, — да уж прости ты нас, дураков, неспособно нам к тебе итти-то...

Вес у тебя больно чудной — тебе пуд кладешь, а гирька у тебя махонькая, с фунт, небось, не больше... А у него, у Федора-то Ильича, — чашки, что льну, что гирь, одинаково, никакого обману нет.

— А у меня обман? — раздраженно кричит Иван Семенович, — да у меня-то как раз вес правильный, дурья ты голова! У нас весы новые, Фербенкс... А у него гири и те сто лет уже не клейменные.

— Господи, Иван Семенович, — то-скует старичок, — да разве я что говорю? Разве я тебе обвиняю? Да и льну-то у меня, сам погляди, на полтинник, не наживешься ты с него... Маленько захватил, соли купить нужно...

Он томится, не знает куда девать себя, пятится, пятится — и скрывается за чьи-то спины... Гора подле черепяина, между тем, все растет. Работник его с голодным, почти голубым, лицом и светлой в'ерошенной бородкой, в слишком коротком шубном пиджачке, кончает уже третий воз, точно снопы комлями наружу, укладывая связки льна и утаптывая ногами середку; ему жарко, болезненный пот выступает у него на лбу и на щеках, и он утирается жестким, заскорузлым рукавом, сдвигая на затылок измятую, зеленовато-серую фуражку, вынесенную, должно быть, еще из германской войны. Другой работник, почти подросток, возится с весами, с трудом вскидывает на качающуюся чашку тяжелые ржавые гири... Сам хозяин, заложив руки в карманы бобриковой своей чуйки, ни к чему не прикасается, и только искоса, одним взглядом проверяет вес или оглядывает протянутый ему образчик. Берет он не только лен, но и сырье, — коровьи и лошадиные кожи, заячьи и хорьковые шкурки, оставшиеся от прошлого года холсты... Его скуластое, до блеска выбритое лицо, его сухие, тесно сжатые губы и твердые, белые, как серебряные грибенники, глаза ничего не выражают. Отрывисто назначает он цену, не торгуется и никому не прибавит ни копейки. Из большой кожаной сумки, повешенной через плечо, как у трамвайного кондуктора, он, не глядя, на ощупь отсыпает в протя-

нутую руку мелочь—и давешний щуплый старичок зажимает ее в кулак, поспешно отходит в сторону, долго перебирает монеты, считая их и близко приглядываясь к отчеканенным цифрам.

И базар все разрастается, все новые и новые прибывают подводы, все гуще становится толпа, все громче гудит и рокошет она—и нужно погружаться в самую глубину, чтобы все это распалось на части, чтобы можно было отличить друг от дружки лица, бороды и шубы, чтобы можно было разобратся в отдельных выкриках, прибаутках торговцев, в обрывках разговоров, во всем этом веселом, оглушительном шуме. —Почем?—Эй, тетка, не задерживайся!—Давай, давай...—Отвесь-ка фунтика три...—Ну тебя к фигу,—ходором носится над толпой, и ветер, налетая непонятно с какой стороны, прямо с застывших губ срывает слова и отшвыривает их в сторону..

На краю площади примостился рыбный ряд. Боченки с сельдями и с солеными; крепко пахнущими сазанами в крупной серой чешуе, сдвинуты здесь близко, вплотную один к другому. Груды вяленых и мороженных судаков вывалены наземь небрежно, словно это не рыба, а поленья дров; снятки попросту, как песок, насыпаны в розвальни, наполняют их до краев, и продают их меркой, как подсолнухи... Чуть подальше торгуют мясом. Розовые, голые, с гроздьями жира в пустом брюхе лежат не початые туши,—разнятые на части и разрезанные на куски положены отдельно, на новой, золотистой рогоже, вместе с ливером, требухой и головами. Молодой парень, в финке с опущенным задком, теревит за рукав мясника или, как их у нас называют, *гусятника*—и тщетно кричит ему в самое ухо:—Почем студень? Почем студень?—гусятник не слышит; высоко, со всего плеча, замахнувшись топором, он метится на-двое рассечь ободранный, раскоряченный бычий зад...

Клином врезываясь между мясниками, не на месте расположился со своим товаром гончар. Древняя коричневая старушка, веером распустив по снегу хвост своей мелко собранной юбки из цветастой материи, какую обычно оби-

вают диваны, выбирает горшок и подозрительно стучит по его выгнутому бочку коричневым пальцем, сухим, как сучок. Горшок звенит чистым глиняным алтом, и гончар ухмыляется, подмигивает соседям:

—Бери, бабушка, бери, лучше колокола гудит.

Глиняной посуды много, идет она дешево и ее охотно раскупают. Но в одном месте есть и городская посуда—продает ее молодая приезжая мещаночка, форсисто наряженная в богатый сак с кенгуровым воротником. Она разложила на цоколе церковной ограды целые стопы тарелок и мисок, выстроила целые шеренги рюмок и стаканчиков из дрянного, мутного стекла; тут же, на перевернутых кверху дном ящичках, навалены луженые поварешки, цеделки для молока с медными ситочками, мутовки, горелки для ламп... Покупателей у ней маловато—она самоуверенно дерзка на язык, да и цены на все высокие—и ее худощавое, бледное, очень красивое лицо насуплено. Рыжебородый мужик, не скинувший с плеч тяжелого, вонючего тулупа, который он надел в дороге, стоит перед ней, разглядывая пестро-расписанное хлебальное блюдо.

—Сколько? Рупь двадцать?—негодующе переспрашивает он.—Да ты что, дамочка, очумела?.. Не-ет уж спасибо, пускай полежит, авось, остынет малость.

Дамочка мгновенно разгорается. Пятнами проступает на щеках ее румянец, прекрасные грифельно-серые глаза в непостижимо длинных ресницах темнеют, и длинные, насурмленные брови сходятся в одну неразрывную полоску.

—Что?.. Очумела?—кричит она низким певучим голосом.—Клади! Клади! Не пролежит, не бойся... Мы таких как ты знаешь куда посылает?—И ловкая, мужская брань градом сыпется на изумленного, ошарашенного мужика, почти восхищенного этим неожиданным искусством. Шлейфом волоча по истоптанному снегу слишком долгие полы тулупа, он уходит от нее, и долго еще качает головой, разводя руками и восторженно бормоча в бороду:—Ну и ну!.. Ну и ну!—Только

подле палаток с подсолнухами и сладостями приходит он в себя и вспоминает, что нужно купить гостинцев ребятишкам.

Ветер пощиплет плохо натянутый латанный брезент, почти не защищающий прилавка от налетающих порою пригоршней колкого снега. В аккуратных отвороченных сверху мешках пудами таятся конфеты—леденцы, раковые шейки и те, длинные как палки, в бумажках с бахромой по концам, от каких не могут оторваться жадные взгляды целой стайки детей... В ящиках ряды пряников, коврижек, вызолоченных лебедей и коров... Светливая тетка, глухо повязанная шалью, протягивает над ними засаленную рублевку.

— А мне то что же? Ждешь, ждешь,—обиженно кричит она, стараясь перекричать наплывающий со всех сторон шум.

— Сию минутку!—отмахивается от нее продавец в чистом белом фартуке, с ловкими, ярославскими, глазами; он отвешивает рыжему мужику пакетик розовых пряников, совершенно ядовитых на вид.—Успеем еще, казенка до четырех открыта, пропьем твои денежки, не беспокойся!—небрежно шутит он и, сразу вдруг меняя тон, круто поворачивается:—А вы, граждане, положите конфетку обратно, заллатить нужно сначала, а потом хватать.

Пойманный на месте преступления, совсем взрослый паренек наливается багровой краской, деланно хихикает и над ним громко хохочут окружающие.

— Влип!

— Ты что, для Верки своей припал, что ли?

— Не на такого напал, а то можно и в морду...

— Вот тебе и конфетка.

Посреди площади, вокруг деревянной трибуны, более напоминающей эшафот, устроились возы с хмелем; насыпан он в большущие, с постельник величиной, мешки, испортытые во всю свою саженную длину и его светло-желтенькие головки похожи на сухих выпцветших шмелей. Сразу за этими возами, спускаясь под горку вниз по улице, выставлены уже серьезные му-

жицкие товары, и здесь почти сплошь мужики. На переносной вешалке с многими длинными отводами, торчащими по сторонам, как ветви мертвого дерева, навешены седелки, лиловые, чудесно пахнущие дегтем, хомуты, подбитые белым войлоком, висят шлейки,—дешевые, сыромятные, сиреневые на цвет, и дорогие—обильно прочерненные, с сияющим медным набором... Подле больших ивовых корзин, с откинутыми крышками, полных сапожного товара, мужики, тут же, нога об ногу разуваясь, примеряют сапоги... Ларьки со скобяным товаром загромождены топорами, втулками, ящиками гвоздей, пачками кровельного железа, новенького, отливающего блеском, голубым, как спиртовое пламя... Рядом с кузовами телег в кучу навалены неошпигенные колеса с черными от смолы ступицами... Старик, до самых глаз заросший зеленой, седой бородой, огромный, косопалый и уже сильно выпивший, продает плетеные из драни короба, корзинки и кошельки, с какими у нас мужики ходят в сараи за сеном. Ладная, крепкая молодуха в шубе с сильно оттопыренными на задку борами, торгует у него такую же драночную зыбку.

— Нет, нет, дедушка, не возьму, ей-богу, не возьму,—скороговоркой, застенчиво сыпет она, быстро помахиная руками.—Куда мне ее, маленьку такую? Моему-то уже одиннадцатый месяц пошел, разве его сюды уложишь...

Старик хохочет, широко распахивая свою жаркую пасть, полным-полнехонькую совсем молодых зубов, пьшит свежим запахом недавно выпитой водки...

— Мала?—гремит и раскатывается его хриповатый голос,—мала? Да что ты? Да хощь—я сам в ее уляжусь? Да и с тобой впридачу, да так тебя раскачаю, ого-го! Хо-хо-хо! Ложись-ка, ложись...

— Ты, дедушка, не мели лишнего,—совсем пропадает, стораает молодуха,—ты, пожалуйста, без картинок...

Она торопится прочь, старик хохочет ей вслед, потом вытаскивает из кармана бутылку, единым махом, без остатка, выливает ее в глотку.

— Ишь пьет!—завистливо крикает мужик, расположившийся по соседству

среди кадочек и шаек.—Совсем забывает она, горькая, пиву-то наше, деревенское... Вот всего-то четыре штуки привез,—огорченно продолжает он, неизвестно к кому обращаясь, показывая на боченки с дырами, прорезанными в днищах,—всего четыре привез, и стоят. Скажи ты, пожалуйста! Сколько ведер одних было,—все разобрали, а эти стоят... Вот она, горькая, что делает.

В самом низу улицы, совсем на берегу, где штабелями сложен лес, приготовленный для нового моста, и висится копер, остановился валяльщик. Он совсем без почину сегодня—сезон валенкам прошел, да и валенок у него всего несколько пар, и завернул он сюда видно так, на шалую. Черный мужик, лицом похожий на священника, обутий в сырые растоптанные туни и низко подпоясанный по рваному кафтанчику из пегой, домотканки, вылезает из-под моста и подходит к нему. Его наняли жечь под мостом костры, чтобы оттаять землю на берегу, под первые сваи, и лицо его, и без того смуглое, как у перса, черно от сажи.

— С праздничком вас,—говорит он, протирая грязным корявым пальцем воспаленный, припухший глаз.

Валяга молча кивает головой... Мужик, не зная с чего начать, небрежно берет в руки твердый, будто из дерева выдолбленный, сапог и подносит его к носу, нюхая опаленное и затертое голенище.

— Хорошие валенцы—говорит он, набиваясь на разговор, и, засовывая руку в голенище, прощупывает подошву.—Ничего валенцы,—повторяет он,—да не ко времени, кто их теперь возьмет? А редко такие попадают—купишь и сам не рад, с коровьей шерстью пополам сработанные... Закурить не найдется ли?

Валяга молчит, отворачивается и не желает поддерживать разговора.

— Та-ак.. Нету, значит?—насмешливо говорит мужик после короткой паузы.—Не наторговал еще? Чудно!.. Очень даже непонятно. Торгуешь, торгуешь, а табаку и того запasti не мог... Слишком вы несправедливо поступаете, да!—неожиданно озлобясь, почти кри-

чит он и швыряет сапог обратно в кузовок саней.—Нам, небось, денежки тоже не даром достаются, за всякое дерьмо платить.

— Кто же это дерьмом торгует?—презрительно спрашивает валяга, нехотя, через плечо оглядываясь на него.

— Кто? А хоть бы и ты!.. Сидишь себе, посиживаешь, слова сказать не жалаешь, а я для твоего мосту старайся, как сукин сын какой, весь праздник грудок разжигай, да? Пожалуйте, ваше степенство, ездйте... У-у, кореляк проклятый!..

Продолжая ругаться, он возвращается было к мосту и вдруг, словно сразу решившись, круто поворачивает назад, огромными шагами поднимается вверх по улице, к базару.

— Буду я тебе сидеть, руки жечь, как же,—бормочет он,—посиди-ка сам, сволочь...

Он тонет в толпе—на площади по-прежнему тесная, густая толкотня, ярый торг, говор, шум, от которого у многих уже звенит, пустеет голова и рябит в глазах. Кое-кто уже уезжает—под уздцы проводит хозяин сквозь толпу свою лошадь, приговаривая: «Ну-ка, берегись, ну-ка, ребятки, подайся»... Домой возвращается председатель сельсовета повязанный через распухшую щеку черным старушечьим платком, несет в руке драночный кошель... Зеваки, собравшиеся сюда не за делом, а просто посмотреть да послушать, еще недавно стояли кучками, весело балагуря, сразу запуская пальцы в один чей-нибудь кисет и неторопливо сворачивая папироски,—а сейчас базар уже надоел им и все они понемногу перебираются на верхний конец улицы.

Там новая предстоит забава: по здешнему обычаю в заговенье со всей округи собираются в наше село молодые пары, поженившиеся нынешним мясом; они гуляют верхом, мимо вика, библиотеки и казенки, как бы показываясь впервые в своем новом положении всему белому свету—и каждый, кому только не лень, безнаказанно вслух может говорить о них все, что думает, не стесняясь также отпускать такие шуточки, что многим становится тошно.

Гулянье в полном разгаре.

Не сразу приходишь в себя, выбравшись сюда из базарных недр, настолько здесь покажется просторно, настолько, после однообразной черноты, все здесь цветисто и пестро.

Вдоль изб, головами к окнам, в ряд стоят расседланные, разнузданные лошади, подбирающие со снегу сено; санки, в которые запряжены они—расписные, нарядные, с посеребренными железными частями и с ковровыми задками, а на потные конские спины и крупы накинута *одежда*—небольшие коврики из холста с нашитыми на нем разноцветными лоскутками. Коврик этот, как некий лоскутный стандарт, везде сопутствует молодым в первые месяцы после свадьбы, как бы отличая их от простых, обыкновенных людей; с ним едут в вик «расписываться», с ним отправляются—как сегодня—на гулянье, он участвует в свадебной церемонии... его развешивают по задку саней, им, вместо попоны, накрывают лошадь и его же подкладывают молодым под постель в брачную ночь.

Гуляют посреди улицы, друг за дружкой парами, группами, сливаясь в два непрерывных встречных потока. Жены ходят зачастую отдельно от мужей, к ним иногда пристают девки и их бывшие подружки—они разговаривают шепотком, хихикают. Почти все, непрерывно сплевывая шелуху, грызут семечки... Одеты жены в лучшее, в самое нарядное, что только есть. Кашемировые, кремовые с цветочками по краям, платки перемежаются с шелковыми, атласными всех цветов, а у некоторых—а это уже высший шик—поверх шелковых платков накинута еще черные, кружевные кофты и шарфики—туманно проглядывает сквозь вязаный узор зеленый или фиолетовый низ. Плюшевые шубки, саки, жакеты «гейши» и у всех перекинуты через согнутую в локте руку шали с длинной бахромой... Большинство в валенках, но кое-кто нарядился и в боты, обильно отороченные мехом, которые у нас почему-то называют *козьиими ножками*, хотя нога в них напоминает скорее ногу тяжеловоза с огром-

ными копытами и густой щеткой—какого-нибудь битюга или шайра.

Мужья держатся свободней и даже с некоторым вызовом. Ни одного из них нет в валенках—высокие хромовые сапоги сияют неизмеримо наведенным глянцем, на штiblеты низко спадают штаны, испещренные складками, многие в галошах. Они громко хохочут, переругиваются с зеваками, давно уже накурившись до ломоты в висках, курят не затягиваясь, а лишь сжигая на ветру папирсы, одну за другой. Среди них есть два гармониста—у одного двухрядка с нежно зелеными мехами, у другого—с серебряными, и этот, холостой, окружен холостой, полупьяной компанией; поддевая своего женатого соперника, он затягивает подходящие к случаю песни, и товарищи деловито подхватывают:

Эх ты, Юрка, друг товарищ,
Давай горе горевать:
Твоя Шурка скоро родит
И моей не миновать.

Юркой зовут второго, женатого гармониста. Он крепится, делает вид, что не слышит, сильно разводит гармонь, и двухрядка его ревет, визжит и охает. Однако холостежь не унимается, выждав, когда Юрка сходится с ними вплотную, затягивает:

С неба звездочка скатилась,
Осветила облака.
Наша Шурка отелилась—
Похлебаем молока.

Тпру-се!

Юрка, высокий франт в бобровой шапке и галстукe, пускает витиеватую брань, через семь гробов в мутный глаз—и гармонисты снова расходятся. Зрители хохочут.

— Ловко!—восхищается один.

— Да, уж он не подгадит,—безразлично соглашается другой.

— А что тут, спрашивается, ловкого?—вмешивается третий,—циничные слова и больше ничего.

Шуплый старичок, продававший уром лен, так, должно быть, и не купил соли—с довольным изыбшим лицом, расталкивая гуляющих, он догоняет гармониста и кричит не своим, бабьим каким-то голосом:

— Заводи шарманку—плясать хочу!

Гармонист, ни слова не говоря, начинает барыню. Старикашка взвизгивает, пьяно обегает заплетающимися ногами полкруга и падает в снег...

— Нализался дед!—слышится со стороны зрителей.

— Налижешься!..

— А скучно, замечаю, гуляют сегодня.

— Да что гулять-то зря? Сегодня женился—завтра разводись...

— Да, брат, насчет этого удобно.

— С Петькой Власовым, небось, скоро разведется, его-то, Танька-то...

— С каким?

— Да вон стоит, подля лошади.

Сопливый паренек в долгополом пальто с барашковым воротником, все время почти не отходивший от своей кобылы, мнетя, испуганно озирается, точно чувствуя, что про него говорят. Его жена большая, немолодая уже, сердито отворачивается от него, проходя мимо.

— Ишь, отворачивается,—продолжают говорить в толпе.

— А какая в нем сласть—киляк да и робкой в придачу.

— Он, говорят, и от жены-то под кровать прячется, с чайником своим...

— От такой и ты, пожалуй, спрячешься! Кого хошь загоняет.

В толпе зрителей, отдельно, стоит группа «начальств»—виковцы, секретарь волкома, участковый агроном.

— Эх, Стуков,—говорит один из них секретарю,—все бы хорошо, кабы не ты,—весь базар видом своим испортил.

— Это он принципиально,—смеется председатель вика, горбоносый, в финке, в перелицованной черной бекешке. Секретарь, весь обросший седеющей уже щетиной, самодовольно улыбается, он, видно, не прочь, чтобы даже небритость его сочли принципиальной и долго разглядывает свои подшитые валенки с кожаными латками на задниках, не вынимая рук из карманов, приподнимает полы пиджака, чтобы видны стали его латанные-прелатанные штаны.

— Ну, это что,—говорит агроном,—у него должность такая, в показательно-дырявых портках ходить... Ты луч-

ше на себя погляди—давно ли в председатели попал, а бекешу себе уже перешил.

Все смеются. Горбоносый председатель чутьчку краснеет. Ему едва минуло двадцать два года, а в волости около ста селений...

Время давно уже перевалило за полдень.

Метель усиливается, снег режет и колет лицо, повисает в воздухе мелкой сеткой и, ярусами уходящие, дали задержаны ею... Начинается раз'езд,—тают ряды гуляющих, редет базар. Торговцы собирают и укладывают, увязывают в возы остатки непроданных товаров. Гармонист, растягивая серебряные меха гармошки, усаживается в санки. С ним вместе садится еще один парень в расстегнутом пальто, сквозь меховые отвороты которого виден воротничек рубахи цвета клюквенного киселя, со сбившимся на сторону белым галстуком. Оба пьяны, пускают лошадь с места шалой рысью—остатки гуляющих разбегаются во все стороны и сани несутся толчками, налетая отводами на углы изб, на стволы берез, и гармонист, валясь из стороны в сторону, едва удерживаясь на сиденьи и поминутно сплевывая на собственную ногу в коричневом ботинке, выставленную вон из саней, без перерыва перебирает лады гармоники, изрыгающей дикие, несуразные звуки.

Толпа продолжает таять... По всем дорогам, прочь от села, к далеким ленточкам лесов, млечно голубым сквозь сетку снега, вереницами тянутся розвальни и санки.

Площадь опустела. Вот уже всего несколько человек остается на улице. Село принимает свой обычный, будничный, вид, и только истоптанный, из'езженный снег, загрязненный конским навозом и запорошенный остатками сена, напоминает о недавнем множестве людей, целый день толкавшихся здесь... Бабы уже выходят к колодцам—рассказывают, что сегодня кому-то в драке отрезали ухо... Предсельсовета с подвязанной щекой, закинув на спину новенькую, кушлен-

ную давеча плетнушку, идет по занесенной тропочке в сарай за сеном.

Метет—и, как вчера, густеет, темнеет близкое к вечеру небо, переполненное лиловыми клубами туч. Вечер близок—стайки воробьев, на место людей опустившиеся на площадь, уже перелетают к неприветливым березам, к крышам человеческих жилищ... По пустынной улице идет черепапин, поднявший воротник своей бордовой чуйки. Скуластое лицо его кажется сейчас, в предсумеречное время, сизым, белые глаза ничего не выражают... Подле чайной его ждет целый обоз, нагруженный кипами льна.

— Трогай!—кричит он еще издали.— С богом!

Обоз вытягивается цепочкой, осторожно спускается к реке. Черепапин широким шагом догоняет его и идет в упор за последними санями... Черный мужик вылезает из-под моста. Он долго смотрит вслед черепапину, злобно кривит свой дохматый рот и говорит дрожащим от ярости голосом:

— Пожалуйте!.. Езжайте, ваше степенство...

Ветер прямо с губ срывает его слова и несет их прочь, в поле, где в густые лиловые сумерки сгущается пьяная, пьяная, снежная заметь.

с. Любегощи,
март 27 г.

Книжное обозрение

1 а) В. С. ИВАНОВ. „Тайное тайных“; б) ЕГО ЖЕ „Дыхание пустыни“. Н. К. Смирнова.—2. В. Л. ЛИДИН. „Пути и версты“. Н. С.—3. Н. ЛЯШКО. „В разлом“. В. Красильникова.—4. Г. ВЕНУС. „Самоубийство попугая“. В. Красильникова.—5. М. КАРПОВ. „Пятая любовь“. Арк. Глаголева.—6. С. ВАШЕНЦЕВ. „Поединок“. В. Дынник.—7. М. СВЕТЛОВ. „Ночные встречи“. С. Пакентрейгера.—8. П. АНТОКОЛЬСКИЙ. „Третья книга“. И. Поступальского.—9. „РУССКИЙ РОМАНТИЗМ“. В. Переверзева.—10. С. В. ШУВАЛОВ. „Семь поэтов“. Г. Лелевича.—В. ДЕГОТЬ. „Под знаменем большевизма“.

Ф. Кона.

Вс. Иванов.—«Тайное тайных». Рассказы. ГИЗ. 1927 г. Стр. 191.

Его же.—«Дыхание пустыни». Рассказы. «Прибой». 1927 г. Стр. 169.

«Жизнь, как слово,—горче и слабее всего».—О человеческой жизни, о сокровенных ее тайнах рассказывают две последние книги Вс. Иванова—одного из особенно талантливых писателей в молодой по-октябрьской художественной литературе. Эти книги, будучи показателем несомненного роста писателя, в то же время подтверждают, что Вс. Иванов, как и большинство современных прозаиков, переживает полосу глубокого творческого перелома. Они, две рецензируемые книги, являются, прежде всего, книгами противоречий.

В позднейших произведениях Вс. Иванова нет того, что привлекало и радовало в его ранних, партизански-боевых повестях: нет ни тематической широты, ни великолепной героики, умело сочетающей плакатность с художественностью, ни сверкающего, удивляющего богатством изобразительности, образа. Внешняя красочность образа тускнеет,—образ становится органичным, употребляется лишь в силу

художественной необходимости, а словесная вязь уточняется и утончается, приобретая четкую, строгую полноценность. Основное достоинство последних повестей и рассказов Вс. Иванова—их законченность, отточенность и сжатость.

В этих рассказах рассыпано не мало превосходных, незабывающихся жанровых сценок—много в них и вдумчивости—человечной, интимной, глубокой. Целый ряд рассказов: «Поле», «Смерть Сапеги», «Яицкие притчи», «Пустыня Тууб-Коя» («Тайное тайных»); «Крысы», «Зверье», («Дыхание пустыни») —отголоски и отблески прежнего творчества Иванова: они навеяны пожаром, громом и сталью гражданской войны, но они уже не характерны и не показательны для Иванова сегодняшнего дня. Запах и цвет этих двух книг составляют другие, более поздние, рассказы писателя—«Жизнь Смокотинина», «Плодородие», «Полынья», «Ночь», «Петел», «Старик», «На покой», «Оазис Шехр-и-Себе» и т. д. Их неразрывно объединяет общность темы, ее разрешение.

Тема новых рассказов Вс. Иванова—«вечная» тема: человек, его внутренний

мир, его радости и горести (горести особенно), глубочайшая трагедия человеческой жизни, всегда и неизменно приходящая к своему обидному и горькому концу—смерти. В рассказе «Ночь» далеко не случайно сказано:

— Любовь да тоска на крови стоят.

Любовь и смерть, вернее—любовь, зовущая смерть—общий, постоянно развивающийся мотив «новых» рассказов Иванова. Любовь героев Иванова—тяжкая, надрывная, глубинная; смерть—блаженная, легкая, искупительная... Его герои ищут смерти.—Плотник Смокотинин («Жизнь Смокотинина») идет навстречу ей,—через грабежи, пьянство и убийство!—с какой-то рассчитанно-бесшабашной решительностью; Богдан Шестаков («Полынья»), едва не замерзнув около реки, на которой плавал некий символический селезень,—«селезень напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику»,—не испытал ни страха, ни содрогания: «он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно»...

Все поздние рассказы Вс. Иванова переполнены страхом, ужасом, смятением и кровью. Драки, насилия, убийства,—и все с радостью, с удовольствием!—повторяются почти в каждом рассказе («Ночь», «Плодородие», «На покой»). Мир, открывающийся в этих рассказах—мир реальных призраков с искаженными лицами и безумными глазами... Художественная сила рассказов (не всегда равномерная) только резче оттеняет их внутреннюю мрачность и скорбь. Конечно, мрачная их глубина—не беспросветна: в них можно отыскать и ощутить теплую и грустную боль за человека, прошедшего раскаленно-кровавый путь жесточайших войн,—но, все-таки, общее впечатление от новых книг талантливого писателя—впечатление духоты, напряженной безысходности и неразрешенности загадок человеческого бытия на земле. Это впечатление не освещается и «восточными» рассказами («Шестнадцатое наслаждение Эмира», «Шехр-и-Себе»). Они, правда, свежее и светлее, но и в них пробивается древне-мистическая струя обреченности, фатализма, предопределения.

Золотистые пески заносят, затопляют пустыни, недвижно стоит над вечными их равнинами великое безмолвие тысячелетий, библейски-одиноко идут по равнинам караваны верблюдов,—от верблюдов оставались следы, но тотчас же песок засасывал их,—и люди, подавленные вековой тишиной, приносят дикому богу человеческие жертвоприношения («Шехр-и-Себе»), живут по законам предков—в смятении, в покорности, в молчании...

«Восточные»—экзотические—рассказы также не случайны в творчестве Иванова: они логически дополняют, дорисовывают человеческий образ, данный писателем в его последних книгах,—образ «ветхого Адама», бессильного перед «тайнами» природы и пола (герой Иванова поистине «ушиблен» женщиной).

Женщина, любовь, смерть,—все это вопросы, на которых никогда не перестанет останавливаться глаз подлинного художника. Следует приветствовать и переход Иванова к этим глубочайшим темам, но, приветствуя, —дважды, трижды подчеркнуть их одностороннее разрешение, их «половинчатую» разработку. «Ветхий Адам», привлекающий внимание писателя, не есть явление сегодняшнего дня: он—тень дня вчерашнего, его мутный отблеск. Перед художником нашего времени, особенно перед художником крупным, стоит великая задача—соединения «вечных», непреходящих тем с современностью, с ее благотворным дыханием,—относью не «дыханием пустыни»,—с ее необъятными творческими силами, которыми движет величайшая энергия и жизнерадостность. Большой художник, человек своей эпохи не может пройти мимо этой задачи. А Вс. Иванов, как уже отмечалось, настоящий художник, конечно, далеко еще не оформившийся, и не раскрывший целиком своих возможностей.—В частности, нельзя не отметить влияний, чувствуемых в двух последних книгах,—влияний Ив. Бунина, заметных не только в литье словесного орнамента, но и в тематике. Последнее явствует из сравнений: «Жизни Смокотинина»—с «Я все молчу», «Ночи»,—с «Преступлением» и т. д.

Ник. Смирнов

Вл. Лидин.— «Пути и версты». Рабочее изд-во «Прибой». 1927 г. Стр. 187.

«Пути и версты»—одна из лучших книг Вл. Лидина. Писатель довольно узкого охвата, Лидин—неподражаемый мастер художественного очерка или небольшого, всегда свежего, изобразительно-тонкого, рассказа. В этой книге—настоящий, беспримесный Лидин,—путешественник, наблюдатель, жадный до жизни и солнца, умеющий передать и цвет морской волны, и скандинавский-древний вскрик кружащейся над нею чайки.

«Пути и версты»—книга большой и уверенной жизнерадостности и бодрости, книга, каждой своей строчкой убеждающая, что земной мир—благословен и прекрасен. Уже одно это делает ее близкой современному человеку, получившему от революции большой и крепкий дар—радость жизни и сознания.

Но, и за всем тем, книга прочитывается с интересом: она раскрывает перед читателем новые (пореволюционные) земли и страны, показывает—и в какой прекрасной художественной оправе!—неведомые пласты быта и—людей: мореплавателей, звероловов, странников, от которых веет крепким малиновым загаром, солью моря, плотной и уверенной отвагой. Особенно хороши очерки Поморья, Севера, его серебряных просторов и путей—древних путей норманнов, его тихих и грозных городов, и пустынной тундры.

Но наблюдения писателя далеко не ограничиваются Севером. С той же тонкостью, с той же душистой свежестью, и тем же звенящим и отточенным языком даны им и другие картины—голубых итальянских побережий, Капри, Флоренции... А наряду с ними, писатель мастерски воспроизводит «осенний поход» Балтфлота и—открытие Волховстроя, находя для этих описаний новые, более сухие, твердые и строгие слова.

Книгу заканчивают листки из дневника—статьи о Вл. Ильиче Ленине, Пушкине, М. Гершензоне. Эти статьи могут служить настоящим образцом художественной публицистики.

Н. С.

Н. Ляшко.— «В разлом». Повесть. Изд. «Зиф». М. 1927. Собрание сочинений, том IV. Стр. 128. Ц. 1 р. 20 к.

«В разлом» и, прибавим еще в скобках, «С отарой»—лучшие повести рабочего писателя Н. Ляшко: в них мастерство прозаика, умного последователя В. Короленко, тонкого психолога и лирика достигло высоты, не превзойденной ни в «Доменной печи», ни в сборниках рассказов «Никон из займки» и «Радуга». В повести «В разлом» рассказывается о детстве и юности Шурки, дочери врача—политического ссыльного Крымова. Сам Крымов, когда-то работая в мастерских, «под ласковые ухмылки отца и опасливые взгляды матери», одолел аттестат зрелости, ушел в Москву и добился окончания университета; помощь рабочим—для него отработка долга, но жена его Аделаида Аполлоновна, с первого дня величавшая мужа «Пьером», стоит за семью, за покойную жизнь. Дети растут без отца, считающего томительные дни на поселении в Сибири, они все «в барыню-мать», кроме Шурки. «Шурка не похожа на мальчиков, те худы, томны, она приземиста, крепка, непоседлива. Всегда в вёрте, в суеде, а при других бука. Станет, ко рту палец поднесет и косит глазами, Заговаривает с кухарками, с бабами». Отец-ссыльный имеет право радоваться—рабочая кровь сказалась.

Февральская и Октябрьская революции разрывают узы заточения Крымова. Между работой на фронтах он урывками бывает дома, пока, наконец, не возвращается туда тяжело раненый, приговоренный к смерти. Раньше отец только при случае мог защищать свою демократически настроенную Шурку, теперь же вдвоем они образуют отдельную семью среди маминых сынков, спекулянтов и контр-революционеров. Крымов даже отказывается взять на поруки «белого сына»... Повесть кончается его смертью и отъездом Шурки в Москву на рабфак.

Наиболее ответственными являются главы, рассказывающие о борьбе Шурки с тем гнетом традиционных требований, которые пред'являются к ней, как к девочке из хорошего дома.

Ей 10—12 лет, и она совсем одна, отец далеко в Сибири. Маленькая протестантка не сумеет даже об'яснить, почему ей дома «скучно и неприятно», но она не может, как брат Костя, кричать горничной: «башмаки подай». И только, когда отец рассказывает ей о деде-машинисте, понимает она, почему Таню—дочку кухарки—любит она больше своей мамы. Образ юной революционерки—единый, цельный образ; каждая новая глава раскрывает его тайники более и более рельефно. В 1924 году, когда критика еще не говорила о психологизме, Ляшко внес свою часть—повесть «В разлом»—в строящееся здание литературы о живом человеке.

Виктор Красильников

Георгий Венус.— «Самоубийство попугая». Рассказы. ГИЗ. 1927. Стр. 196. Ц. 1 р. 75 к.

«Самоубийство попугая» — сборник рассказов о молодой революционно-настроенной Германии и о русской эмиграции. Немецкая (главным образом, берлинская) жизнь автором изображается обязательно как столкновение двух сил—обнаглевшего мещанства и Красного Союза Фронтовиков. Столкновения эффектно драматичны, всегда кончаются кровью (рассказы: «Машинистка № 6», «Папа Пуффель» и др.) и удивляют одним странным свойством природы берлинского мещанина-обывателя: если исключить его любовь к пиву, он—копия уездных героев А. Чехова. Так же и «юноши в зеленых брезентовых куртках» почему-то катастрофически напоминают комсомольцев в кожаных куртках из пьесы Ромашева «Конец Криворыльска». Неужели уж так сильно немецкая молодежь советской подобна?

Рассказы об эмиграции («Лотерея на «Страсбурге», «Щели», «Неврастения», «Весталка») в сотый раз повторяют избитые истины очерков о бессодержательности и никчемности заграничного существования псевдо-героев армии Деникина и Колчака. Бывший поручик—теперь повар парохода «Страсбург», неврастеник Волков, доктор Лазарев, сбежавший от красных к меннонитам

в Америку,—все они горят единственной страстью: вернуться в Россию, «стать красными, потому что Россию любить не перестали», а пока—пьянствуют, живут с судомойками и т. д. Жизнь оставляет их за бортом советского корабля, а у прозаика Георгия Венуса не хватает умения углубить психологические рисунки действующих лиц рассказов—они словно выхолощены жестокой рукой писателя.

Язык рассказов иногда очень напоминает плохие переводы: «только случай может привести... к бессознательной гармонии... всех наших проблем, так мучительно пытающихся в нас материализоваться» (стр. 12); «Как странно,—кладя затылок на ствол (дерева.— В. К.) думает доктор» (стр. 193) и т. д. Примитивна кино-сценарная композиция названия некоторых рассказов (напр., «Возвращение Томаса или день п е т у х а») и особенно глав—подделка под остроумие. Из всего сборника можно выделить лишь два рассказа «Самоубийство попугая» и «Весталка», они прочтятся во всяком случае с интересом.

Виктор Красильников

Михаил Карпов.— «Пятая любовь». Роман. Изд. «Пролетарий». Год не указан (1927). Стр. 481. Ц. 3 р. 75 к.

Михаил Карпов—писатель еще очень молодой. Хотя данный роман и лучше других его вещей, однако, и он не свободен от ряда недостатков, типичных для начинающего беллетриста. Основной дефект «Пятой любви» в том, что автор еще не вполне справляется с материалом. Последний тяготеет над романистом. Не всегда жизненный бытовой материал подвергается им художественному преобразованию, примитивный бытовизм, даже фотографизм еще далеко не чужд «Пятой любви». Далее, автор еще не умеет вложить весь накопленный им запас бытовых наблюдений над жизнью современной деревни в четкие и строгие рамки художественного повествования. Мелкие подробности, мелко-бытовые детали отягощают роман, придают ему статический характер. Особенно страдает

этим первая половина разбираемой вещи. Главный герой романа, краском-отпускник Сергей Медведев, не лишенный некоторой схематизации в начале романа, начинает освобождаться от таковой к концу повествования.

При литературно-формальных дефектах роман по своему содержанию обладает известной социальной значимостью, как отображение бытового строительства советской деревни и тех довольно трудных условий, в коих она иногда протекает. Краском-отпускник энергично развивает в своей родной деревне широкую общественную деятельность. Хотя автор и уделяет—как было выше нами подчеркнуто—очень много места статическому бытоописанию, он, все же, внес в судьбу главного героя и некий драматизм и тем оживил его. Основной конфликт возникает между ним и селькором Ельниковым. Селькор неправильно понимает смысл вовлечения Сергеем девушек в общественную работу, неверно истолковывает факт дальнего родства Сергея с кулаком Савохиным и т. д. Селькорские заметки о Сергее поэтому не отражают истинной действительности. В момент случайного убийства селькора в чаду самогона на его свадьбе, заподозренным оказывается Сергей. Он предстает перед судом. Интрига романтически разрешается лвкой настоящего убийцы. Губком перебрасывает Сергея на работу в другое место.

Общий драматизм положения Сергея осложняется еще его неладами с отцом, случайностью его связи с учительницей, и некоторыми другими обстоятельствами. В смысле психологическом, повторяем, это избавляет облик Сергея от схематизма, опасность коего грозила в начале романа. Свободен от последнего и интересно задуман его «соперник»—селькор. Это—стихийная натура с проблесками талантливости и заткками революционного сознания. Все остальные персонажи романа довольно трафаретны, за исключением учителя Романа Петровича—уездного романтика, обрисованного в общем довольно бегло.

Роман, несомненно, более бы выиграл, если бы не был так сильно растянут.

Арт. Глаголев

Сергей Вашенцев.—«Поединок». Изд. «Сегодня». М. 1927 г. Стр. 156. Ц. 1 р.

Произведения литературной молодежи, естественно, должны быть признаны излюбленной пищей для журнальной критики: еще невыработанный писательский «почерк» нагляднее выдает и более существенные недочеты поэтического воссоздания, — но, зато, достоинства, буде они имеются, выступают свежее и убедительней, именно благодаря некоторой художественной наивности автора. Для рецензента есть, где проявить и техническую выскательность, и даже, при желании, художественную прозорливость.

Однако с этой стороны своей книга С. Вашенцева разочаровывает. Вашенцев мало похож на молодого писателя. Напротив, он скорее проявляет заметное знакомство с распространенными «приёмами» письма: так, телега в его рассказе катится не просто, а непременно «подпрыгивая», у испуганных мужиков «оловянные, застывшие глаза». Но эти литературные штампы механически переносятся в текст, иногда—минимально не обрабатываются автором, и в результате телега «подпрыгивает по глади камней», а мужики «оловянными, застывшими глазами обегают друг друга». Подобные промахи не столь многочисленны у Вашенцева, и благожелательный рецензент мог бы, не кривя душой, о них умолчать, если б здесь не заострялся уже более злостный недостаток: общая несвежесть, как бы подержанность речи.

И все-таки, надо сознаться, книжку читаешь с интересом, пускай, с примитивным интересом к фабуле, к событиям,—вне их стилистического оформления,—но интерес налицо. Это уже немало для читателя, особенно на фоне нашей бессюжетной литературы. Книжка, должно быть, найдет своего потребителя.

Но для художника (если, конечно, автор хочет быть художником) этого мало. С. Вашенцев, как-то, не только не нашел своего стиля, но, словно, и не ищет его. Поэтому, например, его рассказ «Ля в пятой» лишен художественного правдоподобия, и не из-за героя

своего, глухого к голосу современности, жадно прислушивающегося лишь к звону стекла, в надежде уловить редчайшее ля в пятой октаве,—такие люди, при всей фантастичности своей, и были и есть.—Неубедителен не сам материал, но его обработка, смешение гофмановской манеры с установившейся у нас манерой бытового рассказа. Другие герои у Вашенцева, в большинстве своем, схематичны, упрощены: селькор Ивашка, по окончании спектакля, занят лишь размышлениями по поводу смысла пьесы, решает вопрос о совместимости любви со званием селькора и проч.,—точно не сам он тут выступает на деревенской сцене, точно не на него устремлены десятки глаз, точно уж совершенно свободен он от актерского самолюбия; бывшего губернатора, а ныне делопроизводителя советского учреждения, автор слишком уж старается унижить, слишком уж педантично его наделяет дряблостью походкой, заячьими искательными глазами, подхалимской аккуратностью,—политическая идиосинкразия есть факт общеизвестный, но надо же было хоть какой-нибудь одной черточкой показать, что перед нами бывший губернатор, а не гоголевский Бальмачин.

Все рассказы «Поединка» повествуют о нашей эпохе—здесь и революционный город, и деревенское, темное восстание, и рабочий быт окраины, здесь и «бывшие» люди, и люди настоящего. Тематическая связь с современностью могла бы послужить предлогом к тому, чтобы закончить рецензию оговоркой о «социальной значимости» книги, если бы только сама «социальная значимость» что-либо значила на фоне обескровленной автором жизни. Голос эпохи приобретает в воспроизведении Вашенцева мертвенный призывок фонографа, от книги слишком явно пахнет литературщиной.

Для молодого писателя такая литературщина страшнее технической неопытности. Будет лучше для автора, если ему удастся ее преодолеть.

Валентина Дынник

М. Светлов. — «Ночные встречи». Изд. «Молодая Гвардия». 1927 г. Стр. 62. Ц. 1 р.

«Поэзия, прости господи, должна быть глуповатой»—говорил Пушкин. Очевидно, он шутил. Очевидно, он исходил из неких живых впечатлений от глупости иных поэтов. Марке выражался несколько осторожней и называл поэтов чудаками, которых надо хвалить и которым порой не вредно польстить.

У нас есть поэты захваленные, засахаренные, как плоды, не только похвалой, но порой и бесплодной лестью, от которой им самим подчас становится немотогу. Но есть у нас поэты, работы которых не нуждаются в особой похвале, откуда бы она не исходила. К таким поэтам относится Михаил Светлов. Небольшой его сборник «Ночные встречи» опрокидывает и шутку Пушкина и снисходительную иронию Маркса и обнаруживает в Светлове медленно вызревающего лирика ума.

Это определение может показаться парадоксальным. Есть тертые и ходячие представления о многих вещах, в том числе и о лирике. Она должна раскрывать всяческие чувства. Все остальное от лукавого. Но приходит свежий человек и опрокидывает трафареты и каноны. Конечно, Светлов не реформатор. Но он не из тех, которые тянут залежавшиеся «резюмации» из «складов поэзии». Не в пример многим совершенным поэтам он потратил не мало усилий, чтобы найти и высказать самого себя. У него нет ни одного слова, сказанного с чужого голоса.

Наделенный большими чувствами, он переплавляет их в дальнзоркие мысли. Не претендуя на преждевременную мудрость, он напряженную тетику чувств оснащает острыми стрелами мысли то серьезной, то лукавой, то иронической.

Как из дула винтовки после выстрела вьется дымок, так над стихами Светлова вьется пороховой дымок острой мысли.

Всякую тему, всякий мотив, даже самый интимный, он берет либо в перспективе прошлого, либо в поле зрения будущего. И потому от его стихов

остается аромат историзма, сдобренного то мстительной, то иронической мыслью. Это сказывается не только в трактовке тем и мотивов, но подчас и в подборе форм. То в старинную форму он вливает современный мотив, то в новую форму вливает мотив прошлого.

Есть у него и своя поэтическая родословная. Он оттачивает свой ум, свое восприятие, свои подходы к жизни на уме самого гениального конспиратора и революционера иронии—на уме Гейне. У него есть данные, чтобы стать учеником этого родоначальника лирики ума. Обыкновенно критики извиняются в том, что приводят слишком длинные цитаты из авторов. Мы извиняемся, что не приводим ни одной цитаты, ибо почти всю книжку пришлось бы процитировать.

В «Ночных встречах» Светлов нашел меткие, звенящие стальные формулы для передачи романтизма гражданских битв, стиля и души эпохи, поставившей ставку на жестокую силу («Гренада», «Двое», «Песня»), конспиративного лица врага («Нэпман»), гнева зарубежных собратьев («Легенда»), будничного героизма учебы («Рабфаковка») и, наконец, монументальной лирической сказки, облитой горечью и болью потери вождя и сияющей верой в начатое им дело («Медный интеллигент»).

С. Пакентрейгер.

Павел Антокольский.— «Третья книга». Изд. Московского цеха Поэтов. М. 1927. Тираж 1.250 экз. Стр. 48. Ц. 75 к.

Новые стихотворения П. Антокольского не изменяют у читателя уже сложившегося представления о поэте. В «Третьей книге» П. Антокольский остается тем же уверенным мастером. Тот же театральные пафос, иногда переходящий в риторику, та же книжность, та же, наконец, несамостоятельность в иных стихотворениях (Пастернак виден во весь рост в «Неве»...).

Традиций акмеизма П. Антокольский преодолевать не хочет. Он только пытается осветить их некоторым формальным сближением с литературной современностью. Но тематика его це-

ликом акмеистична: история, театр, книжные образы. Нынешний читатель старой акмеистической трактовкой таких тем не может быть удовлетворен. Поэтому в лучшем смысле современен П. Антокольский только в немногих стихотворениях разбираемой книги, в тех, где несколько видоизмененные приемы акмеиста заслоняются удачно схваченной темой. Таковы «Старик» и «Санкюлот». Совершенно очевидна значительность вот этого сильного отрывака:

Был в Париже голод. По-над глубиью
Узких улиц мчался перекат
Ярости. Гремела канонада.
Стекла били. Жуть была,—что надо!
О свободе в якобинском клубе
Распинался рыжий адвокат.
Я пришел к нему, сказал:
— Довольно.
— Сударь! Равенство полно красы.
— Только по какой линейке школьной
Нам равнять горбы или носы?
— Так пускай торчат хоть в беспорядке
Головы на пиках!

(«Санкюлот».)

Лирические стихи П. Антокольского, к сожалению, не всегда свободны от условной и сугубо-индивидуалистической разработки. Книжный холодок П. Антокольского часто замораживает насквозь эмоциональный замысел. Не случайно он упоминает о своем «сухом уме». П. Антокольский-лирик хорошо виден только в некоторых стихотворениях цикла «Обручение во сне» («Слушал я детский твой голос», «И если судоржного спуска», «Я думал, что так начинается век», «Дебель—Ю»), в последнем стих. цикла «Гамлет», да еще, пожалуй, в «Ремесле».

...И если звон последних медных денег
Знаком тебе, и вышел твой табак,
И если так пошло твое паденье,
Так мешкотно и незаметно так,
Тогда не спи всю ночь! Крепись, товарищ!
Еще не все потеряно. Еще
На собственной золе ты песню сваришь,
Чтобы другим дышалось горячо...

(«Ремесло»)

«Третью книгу» П. Антокольского следует рассматривать только как очередную этап. Будем думать, что в дальнейшем этот, безусловно одаренный, поэт сумеет более тесно сблизить свое мастерство с темами наших дней. Традиции безусловно тесны для него.

И. Поступальский

«Русский романтизм». Сборник статей под ред. А. И. Белецкого, материалы и исследования по истории русской литературы XIX в., I, изд. «Academia», Л. 1927. Стр. 150. Ц. 1 р. 50 к.

Научная разработка русской литературы твердо становится на новые пути, наметившиеся в результате радикального пересмотра методологических позиций традиционной истории литературы. Мы уже имеем ряд трудов, применивших новые методы к исследованию отдельных моментов из истории нашей литературы. К разряду таких трудов относится и сборник под редакцией проф. Белецкого «Русский романтизм».

Методологические предпосылки сборника изложены во вступительной статье его редактора. Отвергнувши старый взгляд на историю литературы как на историю мысли, участники редактируемого сборника понимают ее как историю стилей.

Романтизм они изучают не как мировоззрение, а как стиль, не как систему идей, а как систему изобразительных средств.

Это чрезвычайно ценный принцип, ставящий в центр исследовательского внимания специфически литературный материал. Изучая романтизм как стиль, авторы сборника имеют дело исключительно с явлениями и фактами литературной жизни. В поле их исследования не входит ни жизнь идей, ни жизнь писателей, не входит и ряд других вещей, по существу не являющихся фактами литературы, изучением которых загромождались работы по романтизму в прошлом. Зато в поле их изучения вовлекается большое количество нового литературного материала, ранее ускользавшего от внимания исследователей. Они изучают не «писателей, а произведения, и притом не только как продукт индивидуального творчества, но как создания той или иной группы, как продукт известного течения». Их интересует не Лермонтов, а его драма «Маскарад» в окружении массовой драматической продукции того же стиля, не Тургенев, а его повесть «Три встречи» в окружении массовой повествовательной литературы в

романтическом роде. Дюжинные произведения забытых писателей, как Вельтман, доселе игнорировавшиеся литературоведами, внимательно изучаются в сборнике. В качестве специального объекта изучения здесь избирается не автор, а тот или иной вопрос поэтики изучаемого стиля, та или иная стилистическая частность. Так, в сборнике есть статья о женском портрете у романтиков первой половины XIX века.

Новая книга бесспорно лучше служит уяснению романтизма, чем делалось это в работах традиционной истории литературы. Говорить об особенностях построения драмы у романтиков, о романтической манере повествования, о словесном портрете у романтиков — это во всяком случае значит говорить о более специфических и конкретно определительных для романтизма вещах, чем разговоры об идеализме, порывах в потусторонний мир, индивидуализме, ничего специфически литературного в себе не заключающих.

Но если методологические принципы авторов сборника помогают им четко определить специфику романтизма, как литературного явления, то они оказываются недостаточными там, где дело идет об определении специфики многочисленных филиаций романтического стиля. Об'ясняется это тем, что, понимая под стилем «совокупность художественных приемов», авторы сборника упускают из виду внутреннее единство этой «совокупности», сводящееся к общей социологической направленности художественного произведения. Они считают возможным трактовать о приеме независимо от осуществляемой им социологической функции, объединяющей его с «совокупностью приемов», из которых складывается данный стиль. Соглашаясь, что нельзя об'яснить стиль независимо от раскрытия его социальной значимости, Белецкий полагает, что вполне возможно описание стиля без социологических интерпретаций его. Это существенная методологическая ошибка: функциональная направленность вещи важнейший момент ее описания. Без раскрытия социальной

телеологии «совокупности художественных приемов» всегда есть опасность большой путаницы в описаниях. Такой путаницей кажется нам описание как стилистически родственных «Трем встречам» Тургенева «Лунатика» Вельтмана или «Маскарада» Павлова; едва ли оправдано об'единение вокруг лермонтовского «Маскарада» указанных в статье Ефимовой драматических вещей Строева, Беклемишева, Ап. Григорьева и пр. Отправляясь от приема, взятого безотносительно к его функциональной роли или иначе социальной его значимости, авторы статей оперируют столь аморфными и расплывчатыми категориями, что открывается широкий простор для произвольных сближений и теряется возможность точной спецификации разветвлений романтического стиля.

В. Переверзев

С. В. Шувалов. — «Семь поэтов». Историко-литературные и критические статьи. Изд. «Никитинские субботники». М. 1927 г. Стр. 209. Ц. 2 р.

С. Шувалов, автор монографий о Лермонтове и (совместно с Е. Никитиной) о Блоке, собрал под одной обложкой свои статьи о Рылееве, Пушкине, Лермонтове, Некрасове, Блоке, Брюсове и Герасимове. Заглавие книги шире ее содержания: книга содержит не общие характеристики перечисленных поэтов, как можно предполагать на основании заглавия, а лишь наблюдения над отдельными сторонами и моментами творчества разбираемых художников. Вследствие этого, книга теряется в целостности, но выигрывает в детальности исследования.

Методологические принципы автора сформулированы им в статье «Ритмика поэмы Пушкина «Кавказский пленник»». Автор утверждает, что следует начать со статистического «формально-описательного» изучения, и лишь затем «для окончательной обработки накопленного таким образом материала, для построения широких обобщений нужен другой метод, являющийся основным в искусствоведческих дисциплинах—социологический (и вытекающий из него—пси-

хологический)» (стр. 46). Читатель видит, что С. Шувалов разделяет методологические взгляды П. Н. Сакулина и выдвигает первоочередность «имманентного» формального исследования. Эти воззрения встретили в свое время убедительные возражения со стороны П. И. Лебедева-Полянского (см. его статьи о Сакулине в «Воинствующем Материалисте» и о Келтуяле в «Печати и Революции») и др.

Книга С. В. Шувалова, при безусловной вдумчивости и серьезности, наглядно вскрывает пороки сакулинской методологии, обнаруженные революционно-марксистской критикой. Во-первых, автор, детально исследуя идеологию, композицию и ритмику, очень мало внимания уделяет идейному содержанию творчества разбираемых писателей. Это—понятно, ибо «имманентное» изучение идеологии затруднительно. Во-вторых, автор сплошь и рядом делает социологические обобщения только на основании формальных наблюдений, минуя идейное содержание. Отсюда ясно, что социологический анализ автора не может не быть слабее его формального анализа.

В этом отношении характерна высокоинтересная и ценная статья—«Сравнения в поэзии Некрасова». Уже давно Г. В. Плеханов дал блестящую социологическую характеристику творчества великого поэта разночинцев, но не сумел выбраться из-под гнета оарского эстетизма в вопросе о художественной оценке некрасовской поэзии. Несколько лет назад К. Чуковский и Б. Эйхенбаум нашли ключ к пониманию художественного значения Некрасова и разработали материал, превосходно увязывающийся с выводами Плеханова и дополняющий их. Статья С. Шувалова прибавляет важную страницу к этим исследованиям. Читатель убеждается, что сравнения Некрасова вполне соответствуют идеологии и тематике последнего и что стиль Некрасова изумительно целостен и последователен. Но, когда автор, только на основании раз-

бора сравнений, провозглашает, что «за словесной тканью аналогических образов скрывается поэт-народник», — этот вывод представляется не обоснованным. Изучение сравнений и т. п. необходимо для уточнения и дополнения результатов социологического изучения идейного содержания и тематики, но анализ сравнений сам по себе не дает права на социологическое обобщение. Как быть, например, с локальными сравнениями конструктивистов? У Сельвинского сравнения поэмы «Рысь» заставят отнести автора к представителям охотничьих племен, а сравнения поэмы «Бриг богородицы морей» приведут к выводу о том, что автор — матрос, либо рыбак!?

То же следует сказать и о ценнейшей статье «Образы в поэзии Герасимова». Это — одна из первых статей, действительно научно разрабатывающих главу из истории пролетарской поэзии. Ряд наблюдений, сделанных автором в этой статье, пригодится как ждому, интересующемуся не только творчеством Герасимова, но и всей пролетарской литературой периода «Кузницы». Но мимоходом отмеченная деиндустриализация образов Герасимова в позднейших книгах (стр. 199) совершенно не объяснена. Тягчайший идеологическо-художественный кризис Герасимова в связи с нэп'ом (а им и объясняется это деиндустриализация) даже не упоминают. Объясняется это все тем же игнорированием идейного содержания.

Особо злободневное значение сейчас имеют статьи «Думы и поэмы Рылеева» и «Блок и Лермонтов», разрабатывающие на конкретном историко-литературном материале проблемы повторяемости стилей и создания новых жанров путем трансформации старых. В то время, когда литература рабочего класса вплотную подошла к задаче разработки своего стиля и своих жанров, соответствующий опыт прошлого должен быть тщательно изучен, и статьи С. Шувалова тут очень и очень пригодятся.

В книге встречаются спорные заключения. Так нам представляется неверным утверждение автора: «Нет сомнения, идейное содержание дум Рылеева (и вообще его поэзии) не отличается радикальным характером (еще менее революционным)» (стр. 14). Это вряд ли справедливо по отношению к автору царевубийственного «Временщика», «Исповеди Наливайки» и агитационных песен («Ах, и тошно же мне» и др.). Трудно согласиться также с утверждением, что Лермонтов был по основным своим устремлениям индивидуалистом и романтиком и лишь «на некоторое время приобрел другой лик поэта — общественного и гражданина» (стр. 139—140). Не правильной ли предполагать, что, наоборот, николаевская эпоха толкнула гражданина и общественного Лермонтова на путь индивидуализма? И уж совершенно напрасно С. Шувалов стремится затушевать отрицательные стороны «космизма» пролетарских времен «Кузницы» и оправдать религиозные образы тех же поэтов.

Книга Шувалова разочарует читателя, ищущего знакомства с общим творческим обликом перечисленных на обложке поэтов, но она даст много ценного читателю, серьезно интересующемуся литературой, а равно историком литературы и критику.

Г. Лелевич

В. Деготь. — «Под знаменем большевизма». Записки подпольщика. Изд. Об-ва политкаторжан. М. 1927 г. Стр. 165.

«Записки» г. Деготя до некоторой степени восполняют весьма опутительный пробел в нашей мемуарной литературе.

Десять лет прошло со времени революции — со времени, когда «подполье» окончательно стало «сказкой прошлого» и, несмотря на это, а, может быть, именно поэтому эта «сказка» современному поколению весьма и весьма мало знакома. Ему непонятно, а поэтому чуждо душевное состояние человека, не знающего утром, где склонит он голову вечером — под открытым небом, или в хоробах «сочувствующего революции» радикальствующего либерала.

в ночном кафе или в убогой квартире рабочего... Незнакомы современному поколению и условия борьбы того времени—борьбы на всех фронтах: внутри организации—борьбы с проникавшим во все партийные щели оппортунизмом, а на ряду с этим борьбы с классовыми врагами пролетариата, поддерживаемыми всем государственным аппаратом самодержавия. Не знает, не может знать современное поколение того душевного состояния революционеров, когда они гибли с энтузиазмом на виселицах, на каторге и в тундрах Сибири. Незнакома современному поколению эта дивная, чудная сказка о жизни подпольщика.

Тов. Деготь знакомит с этой сказкой.

В 1905 году — Деготь — активный член одесской большевистской организации, борющейся с меньшевизмом, избравшей В. И. Ленина своим делегатом на III партийный съезд.

Деготь приводит по этому вопросу целый ряд весьма ценных документов, а вслед за этим переходит к «Потемкинским дням». Он описывает их, как очевидец и участник. И прошлое воскресает перед читателем в сменяющихся, как в калейдоскопе, живых, ярких, навсегда запечатлевающих в памяти, картинах.

Мы не останавливаемся на внутрипартийной борьбе, которую рисуют приводимые т. Деготь письма и документы того времени. Все это более или менее известно и не документальные данные придадут колорит «запискам», а те картины борьбы, которые отображает Деготь. Одна из этих картин — «Погром и революционная организация» в Одессе после издания Николаем

II пресловутого манифеста 17 (30) октября 1905 года.

Два года еще продержался т. Деготь в Одессе. Потом он с большим трудом пробирается за границу, в Париж. Там жил Ленин. Когда на собрании председатель сказал, что «слово предоставляется т. Ленину,—и тот начал говорить, я,—пишет Деготь,—буквально впилился в него глазами». В Париже Деготь попал в крохотную, организованную ЦК, школу, в которой Ленин знакомил группу рабочих с аграрным вопросом, а некоторое время спустя, получив от Ленина указания, он вновь возвращается в Одессу. Здесь его арестуют, судят, приговаривают на каторгу и ссылают. Во всех этих главах автор дает картины быта, типы революционеров и их тюремщиков. Затем следует живое описание побега с места ссылки, отъезда за границу, ареста в Румынии и в Австрии и благополучного приезда в Париж, где его застала мировая война.

Автор, как и другие, когда вспыхнула февральская революция, пробрался в Россию, отсюда переехал в Одессу, пережил оккупацию, вновь окупнулся в подпольную работу, сначала в оккупированной части Союза, затем за границей, пережил все прелести французской тюрьмы, пережил многое...

И все пережитое описано искренно, ярко, живо и читается с захватывающим интересом.

Остается лишь пожелать, чтобы эта книга попала в рабочие клубы, чтобы она читалась нашей молодежью, весьма нуждающейся именно в такой литературе.

Феликс Кон